

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

6

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

" НА У К А "

МОСКВА - 2005

СО Д Е Р Ж А Н И Е

К.Г. Красухин (Москва). Аспекты и времена праиндоевропейского глагола (часть I).....	3
Н.А. О'Шей (Дублин). Галльские и лепонтийские формы претерита – традиции, инновации и вопрос диалектного распределения	31
О.В. Фёдорова (Москва). <i>Перед</i> или <i>после</i> : что проще? (понимание сложноподчиненных предложений с придаточными времени)	44
Ф.Ш. Нуриева (Казань). Общий взгляд на формирование и функционирование золотоордынского литературного языка.....	59
Г.П. Нещименко (Москва). Некоторые раздумья над книгой “Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)”	67

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Г.Ф. Благова (Москва). Николай Иванович Ильминский как исследователь туркменских диалектов.....	97
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

А.Г. Сонин (Москва). Экспериментальное исследование поликодовых текстов: основные направления	115
---	-----

Рецензии

В. Вермеер (Нидерланды, Лейден). А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект	124
М.В. Русакова (Санкт-Петербург). <i>T. Givón. Bio-linguistics: The Santa Barbara lectures</i>	129
Т.А. Майсак (Москва). What makes grammaticalization?: A look from its fringes and its components / W. Bisang, N. Himmelmann, B. Wiemer (eds.)	136
К.В. Антонян (Москва). <i>M.-C. Paris. Linguistique chinoise et linguistique générale</i>	142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	149
Указатель статей, опубликованных в журнале “Вопросы языкознания” в 2005 г.	158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,
В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Г.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,
Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован,
Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала “Вопросы языкознания”
Тел. 201-25-16

© 2005 г. К.Г. КРАСУХИН

АСПЕКТЫ И ВРЕМЕНА ПРАИНДООЕВРОПЕЙСКОГО ГЛАГОЛА (ЧАСТЬ I)

Светлой памяти Адольфа Эрхарта (1926–2003)

В статье исследуются морфологические способы выражения аспектов и времен в праиндоевропейском глаголе. Вопрос о взаимоотношении этих категорий однозначно не решен: одни ученые считают, что формирование аспектуальных оппозиций (длительность/недлительность, завершенность/незавершенность) предшествовало появлению временных граммем, другие же утверждают, что время – это исконная общеиндоевропейская категория, а аспект развился в предьстории отдельных языков. Автор рассматривает все морфемы, выполнявшие аспектуальную функцию в индоевропейском, и приходит к следующим выводам: 1) Все они указывают на видоизменение протекания события, обозначаемого глаголом, но у них нет жесткой связи с определенным аспектным значением; 2) Большинство глагольных аспектуальных аффиксов находят параллель в именных; 3) Вся их система показывает, что в праиндоевропейском существовала категория образа действия (нем. Aktionsart), которая еще не была тесно связана со временем. Развитая категория аспекта появляется там, где различные способы действия закрепляются за определенными временами (совершенный вид – за претеритом).

0. Проблема аспектов и времен в праиндоевропейском языковом состоянии относится к числу наиболее сложно разрешаемых. Дело в том, что в данном случае, в отличие от других грамматических подсистем, у нас нет полной уверенности в наличии самого предмета для реконструкции. Никто не сомневается в наличии праиндоевропейской системы залогов или падежей; существование же аспектуальной оппозиции в тот же период у многих ученых вызывает сомнение. С одной стороны, во многих архаических языках (древнеиндийском, древнегреческом, латыни, церковнославянском, древнеирландском) существует довольно сложная система аспектов и времен, причем формы с определенными функциями (например, сигматические аористы) нередко обнаруживают формальную и семантическую близость, свидетельствующую об общем происхождении (ср. др.-инд. форму 1 л. ед. ч. *avākṣam* = ц.-слав. *вѣсъ* “я вез”, др.-инд. 3 л. *vakṣat* = лат. *vexit*). Важным аргументом в пользу архаичности аспекта является то обстоятельство, что неличные формы различных времен (причастия, инфинитивы), а также императив выражают отнюдь не временные, а аспектные значения (не предшествование/одновременность/следование, а завершенность/незавершенность/намерение). С другой стороны, в самых древних по времени фиксации индоевропейских языках – анатолийских – временная система глагола очень проста: презенс и претерит¹. Но и в других языках грам-

¹ Из этого не следует, что в анатолийских языках нет аспектов. Хеттский глагольный суффикс *-sk-* (лувийск. *-ss-*) придает корню значение повторяющегося действия (итеративности) [Bechtel 1936; Dressler 1968]; правда, реальная картина сложнее (см. из последних работ [Сидельцев 1999]). Суффикс *-ē-* в хеттском придает глаголам (как правило, деадъективным) значение достигнутого состояния (*idalus* “злой” – *idalueszi* “гневаться”), простой суффикс *-ē-* имеет стативное значение [Watkins 1973]. Суффиксы *-nu-* и *-nin-* в хеттском языке каузативны (ср. *artari* “стоять” – *arnuzi* “поднимать”, *harakzi* “умирать” – *harnikzi* “убивать”), но они восходят к общеиндоевропейским суффиксам, образующим презенс (ср. др.-инд. *ṛnoti*, греч. ῥνυμι “поднимать”). Таким образом, зачатки аспектуальной системы в хеттском есть, но в цельную грамматическую подсистему они не складываются. Являются ли они следами праиндоевропейской парадигмы, пока не до конца ясно.

матические времена не всегда выражают аспектуальные функции. Так, О. Семереньи [Szemerényi 1986] и Р. Шмитт-Брандт [Schmitt-Brandt 1987], анализируя систему глагола в различных индоевропейских языках, пришли к выводу о том, что аспектуальные оппозиции имеются только в славянских и древнегреческом языках. Однако этот вывод представляется слишком категоричным. Так, перфект в латыни некоторыми нюансами в своем значении отличается от славянского прошедшего времени совершенного вида, но в целом эти категории близки: обе они означают, что действие завершено к какому-то моменту. Затем на базе завершенных времен развиваются значения актуального действия (действие переднего плана), а на базе незавершенных – значение действия заднего плана, как это произошло в романских языках [Weinrich 1964; Красухин 2000]. С точки зрения одних исследователей, это и есть основная линия развития аспектно-временной системы в индоевропейских языках – от чисто аспектуальной системы оппозиций к чисто временной. Другие же считают аспект новшеством греческого и славянских языков [Drinka 1999].

0.1. Попробуем взглянуть на этот вопрос с несколько иной стороны: какие именно глагольные формы можно считать аспектуальными, и что они могли обозначать? В индоиранском и древнегреческом противопоставлены три глагольные основы: презенс, аорист и перфект. В других языках презенсу противостоит единая категория претерита, в котором слились древние аорист и перфект. Но согласно давней и устойчивой традиции, самая архаичская оппозиция разделяет презенс и аорист, с одной стороны, и перфект – с другой. В основе первых двух категорий лежал “примитив”, или древнейшая агентивная форма, в основе второй – статив [Schwyzer 1939: 591]. По-видимому, первичный стативный глагол был не собственно глаголом, а рассогласованным прилагательным, отглагольным наречием [Kuryłowicz 1964; Степанов 1989]; аргументацию этого положения с указанием на реальные следы такого наречия см. [Красухин 2004]. Поэтому первичный перфект стоял вне временных оппозиций. Его противопоставление “примитиву” носило не столько аспектуальный, сколько диатезный характер. Действие немислимо без понятия о времени, поэтому в “примитиве” явно противопоставлялись презенс и претерит². Разделение “примитива” на презенс и аорист – явно более позднее явление.

0.2. Закономерен и такой вопрос: чем различаются презенс и аорист? Не вдаваясь в тонкости семантического описания (они будут рассмотрены нами позже), приведем определение А. Мейе: презенс – это основа глагола, способная соединяться как с первичными, так и со вторичными окончаниями, аорист допускает при себе только вторичные окончания [Meillet 1908: 81]³. Из этого определения выводится следующее: 1) аспектуальная оппозиция вторична по отношению к временной; 2) образование аориста – процесс, который мог протекать по-разному в различных глагольных корнях; единообразного способа здесь не может быть. Правда, на статус общеиндоевропейского претендует сигматический суффикс. Однако, по мнению Мейе, он явно вторичен по происхождению. Обосновывается это следующим. Во-первых, сигматический суффикс не принимает участие в вокалических альтернативах (этот суффикс представлен по сути только вариантом *-s-*, тогда как остальные индоевропейские суффиксы, как правило,

² Древнейшим грамматическим способом этого противопоставления служило, по-видимому, наличие/отсутствие дейктической частицы **i*, родственной указательному местоимению **ei-/i-* и обозначающей *hic et nunc*. Есть все основания предполагать, что в такой оппозиции морфологически и семантически маркированным был именно презенс. Непрезентное же время обозначало не прошлое, а лишь указывало на то, что некое событие произошло. В ведическом и авестийском осталась пережиточная форма именно с таким значением – инъюнктив, т.е. глагол без аугмента и презентной частицы. Как показал К. Хофман в своей обобщающей работе, инъюнктив обозначал воспоминание (Erwähnung) о событии [Hoffmann 1967: 351].

³ “On nomme présent un thème, qui, à l’indicatif, admet à la fois les désinences primaires et les désinences secondaires, ainsi $\lambda\epsilon\acute{\iota}\pi\omega, \acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota\pi\omega$; on nomme aoriste un thème, qui à l’indicatif n’admet que les désinences secondaires, ainsi $\acute{\epsilon}\lambda\iota\pi\omega$ [Meillet 1908: 81].

имеют варианты с полной ступенью вокализма: ср. назальный суффикс **-neC-/nC*, где под *C* подразумевается согласный, сонорный или ларингал). Во-вторых, наличествующие в аористе чередования гласных (например, в оппозиции актива и медиа) касаются только преаффиксальных частей основы [*ayān* < **ayam-s-t* “он простер (руки)” – *ayamsta* то же]. В-третьих, сигматический аорист крайне неравномерно распространен в индоевропейских языках: он представлен в греческом, индоиранском и славянских языках; его следы известны в латыни, но отсутствуют в осско-умбрском и балтийских. Иными словами, распространение сигматического аориста никак не связано с диалектным членением индоевропейской языковой общности. По мнению Мейе, сигматический суффикс – это не что иное, как глайд, возникший вначале на стыке согласных. Подтверждением этого, по его мнению, может служить то, что в форме 1 л. медиа в древнеиндийском аористе часто появляется сигматический суффикс, отсутствующий в активе: *ávidat* “он нашел” – *ávisi*, *ádiśat* “он указал” – *ádiḥsi*, *ánijat* “он умыл (ся)” – *ániḥsi* и т.д.

Справедливости ради следует отметить, что не все аргументы А. Мейе получили всеобщее признание. Так, Ф.Б.И. Кёйпер показал, что сигматический аффикс был свойствен не только аористу, но и презенсу [Kuiper 1934]. При формировании глагольной основы могла произойти переогласовка вокализма: **ter-* “двигать (ся)” + **-és-* > презентный корень **trés-* “трясти (сь), дрожать” (др.-инд. *trasate*) → аористный корень **tér-s-* (греч. ἔτερσεν ἑφοῖσεν: Гезихий). Что же касается распространения сигматического аориста в различных индоевропейских языках, то следует учесть, что в осско-умбрском и балтийских языках имеется сигматический футурум⁴. Кроме того, в литовском языке постулируются следы сигматического аориста: так, сопоставление слав. *вѣсь* и лит. *vėdė* выявляет такую важную общую черту этой категории, как удлинение корневого гласного. Это можно объяснить общим процессом заменительного удлинения: и.-е. **ued-* + *-s* > **ueds-* > **uēs* (славянские языки); **uēts-* / **uēs* > **uēdē* (балтийские языки, с заменой сигматического суффикса и восстановлением последнего согласного под влиянием презенса [Степанов 1989: 251]). Подобно славянским сигматическим аористам, балтийские претериты с долготой корневого гласного и суффиксом **-ē-* образовывались от переходных глаголов в оппозиции непереходным с суффиксом **-ā-*. Ср. лит. *kėlė* “он поднял” – *kilo* “(ветер) поднялся”, *bėrė* “он насыпал” – *biro* “(горох) просыпался”, слав. *блѣуць* “я увидел” – *бѣде* “он проснулся” и т.д.⁵ Таким образом, ареал сигматического аориста мог быть шире в доисторические времена. Но, к примеру, в анатолийских языках следов сигматического аориста нет. Происхождение сигматического аффикса многие исследователи также описывали иначе, чем А. Мейе. П. Кречмер [Kretschmer 1949] полагал, что сигматический аорист был показателем переходности действия (ср. греч. ἔστησα “я поставил” – ἔστην “я встал”, ἔβησα “я отправил” – ἔβην “я пошел”). По мнению же К. Уоткинса, сигматический суффикс есть не что иное, как распространившаяся на всю парадигму форма 3 л. ед. ч. Флексия 3 л. ед. ч. *-s* представлена в анатолийском претерите

⁴ Интересно, что в славянских языках широко представлен сигматический аорист, но отсутствует соответствующий футурум (единственный след – церк.-слав. причастие *быцѣлице*, параллельное лит. *būsiąs*, др.-инд. *bhaviṣyant-*). Напротив, в балтийских языках нет сигматического аориста, но есть футурум [Откупщиков 1967: гл. 3].

⁵ Приведенная реконструкция Ю. С. Степанова, на наш взгляд, очень удачно объясняет долготу балтийского претерита. Хр. Станг [Stang 1942: 191–192] отмечает, что эта черта может быть объяснена из разных источников: влияние корней с исконно долгой гласной, образующих корневой аорист (**dhē-* > лит. *dėjo*, **stā-* > *stójo* и т. д.), влиянием перфекта типа др.-инд. *āsa*, греч. ἦε “он был”. Вместе с тем долгота может развиться и в презентных основах (лит. *sėrgmi* “я слежу”, *sėda* “он сидит”); многие долготы в претеритах относятся явно к позднему периоду, так как имеют циркумфлексную интонацию. Дополнительный источник долготы, указанный Ю.С. Степановым, выглядит убедительно именно потому, что он опирается на системно-функциональные характеристики данных претеритов. Что же касается удлинения гласного в презенсе, то ему посвящена большая литература [Narten 1968; LIV 2001]. Мои соображения изложены в [Красухин 1998; 2004: Приложение 2].

спряжения на *-hi* (хет. *dās* “он взял”, *dais* “он положил”), древнеперсидском имперфекте (*akunaus* “он сделал”), в некоторых ведических корневых аористах (*áprās* “он наполнил”). Таким образом, сигматический суффикс может претендовать на статус общиндоевропейского.

1. Однако не всякий общиндоевропейский формант должен быть непременно архаичным. В настоящее время лингвистическая реконструкция позволяет установить различные временные пласты в праязыковом состоянии. По данным К. Бругмана [Brugmann 1892], в праиндоевропейском языковом состоянии насчитывалось 32 класса презентов. Перечислим их, по возможности комментируя. 1) Атематический презенс (типа **ésti* “быть”). 2) Тематический презенс (с двумя подклассами: ударный корень с полной ступенью вокализма – тип др.-инд. *bhárati*; ударная тематическая гласная, 0 ступень корневого вокализма – тип, который сам Бругман называет *sphuráti*, в современной же лингвистике принято наименование *tudáti*). 3) Атематический презенс с редупликацией (тип др.-инд. III класса – *bibhēti* “бояться”). 4) Тематические глаголы с редупликацией и редупликационным слогом на *i/u*: сюда Бругман относит варианты класса 3: др.-инд. *abibhayanta* (медий, 3 л. мн. ч. от *bibheti*), *atītarat* – имперфект от *titarti* “достигать”). Аналогичные глаголы с нулевой ступенью корня: и.-е. **si-sd-* “сажать; садиться” (др.-инд. *sīdāti*, греч. ἵζω, лат. *sido*). 5) Атематические глаголы с редуплицирующим слогом на *-e-* (др.-инд. *bābhasti* “ударять”). 6) Аналогичные тематические глаголы. Сюда Бругман, вопреки заявленным принципам классификации, относит тематические аористы типа греч. ἔτεφρον “я убил”, ἐσλόμην “я последовал”, а также др.-инд. вторичные глагольные формы типа причастия *jaghant-* и т.д. Наличие подобного презенса в общиндоевропейском вызывает сомнения. 7) Глаголы с редупликацией целого корня: др.-инд. *carkarmi* “размышлять”, *dardarsi* “разбивать”. Это – интенсивы, не выходящие за пределы древнеиндийского. Формы типа ἦνευκον “я принес” суть аористы, а приведенное Бругманом ἦνευκᾶ – поздняя форма, образованная по аналогии с сигматическими аористами. 8) Аналогичные тематические глаголы. Здесь Бругман упоминает только интенсивы и некоторые аористы в древнегреческом (ἦυκον) и армянском (арм. *arnel* – презенс *arnem* “делать”). 9) Глаголы с гласным *i* (< **ə*) в конце корня: др.-инд. *rodīti* “плакать”, *bravīti* “говорить”, греч. ἄρχομαι “любить” (если это не семитское заимствование!), κρέμομαι “висеть”. Этот класс, в отличие от предыдущих, действительно относится к праиндоевропейским. У него ларингальный детерминатив, а в остальном он принципиально не отличается от класса 1.

1.1. Десятый и одиннадцатый классы глаголов – это глаголы с ауслатом корня на долгий гласный. Верный своему принципу, Бругман записывает в них и аористы. Так, к 10 классу относятся как презенсы типа лат. I спряжения (*forāre* = др.-в.-нем. *borōn* “сверлить”), презенсы с корневой долгой гласной (др.-инд. *dhyāti* “думать”, где исконность **-ā-* подтверждается соответствием в греч. дор. ἔδραν “я победил”, и даже древнегреческие пассивно-стативные аористы на *-η-*. В класс 11 входят редулицированные глаголы типа др.-инд. *jigāti* = греч. βίβημι “идти”. Они отличаются от бругмановского третьего класса только качеством гласного в редулицирующем слоге.

1.2. Классы 12–18 – назальные презенсы. 12 класс – соответствие др.-инд. IX классу глаголов (с чередованием *-nā-/nī-* < **-ne-/nə-*): *krināti* = греч. πέρνωμι “покупать”. В 13 класс входят тематизированные назальные презенсы (суффикс **-no-*) типа лат. *sterno* (ср. др.-инд. *stṛnāti*), греч. πίτωω “падать” и т.д. Вообще, этот класс совершенно не производит впечатления древнего. Похоже, что в него включены основы, являющиеся результатом позднейшей тематизации. Так, в латинском языке совершенно не сохранились атематические назальные глаголы; в греческом, наряду с поздним и малораспространенным πίτωω присутствует архаическое πίτημι. То же можно сказать и о бругмановском классе 14 – греческих глаголах на *-άνω*, *-άνω* < **n-/n-ni-*, др.-инд. *iṣanyāti* “двигать, толкать”. Классы 15–16 содержат назальный инфикс (они аналогичны др.-инд. VII классу) и его тематизированный вариант: др.-инд. *yunākti/yuñjāti* “соединять” при причастии *yuktāh* без инфикса. Аналогично 17–18 классы репрезентируют др.-инд.

V класс: глаголы с суффиксом *nó-/nu-* (< *néu-/nu-*): др.-инд. *ṛnóti/ṛnvāti* “двигать”. Эти презенсы, бесспорно, имеют индоевропейские прототипы.

1.3. Классы 19–21 включают в себя варианты глаголов с сигматическим суффиксом. Класс 19 – атематические глаголы (др.-инд. *dvesti* “ненавидеть”, ср. греч. $\delta\epsilon\acute{\iota}\delta\omega$ < $\delta\Phi\epsilon\iota\delta\omega$ “бояться”, *vaste* “одеваться”; тот же корень без сигматического суффикса – лат. *exio* “снимать”). Класс 20 – тематизированные глаголы (др.-инд. *bhāsati* “сиять” наряду с *bhāti* то же). В классе 21 наличествует редупликация. За этим определением скрываются дедеративы: др.-инд. *jighasati* “жаждать убить” и т.д.

1.4. Классы 22–23 – глаголы с суффиксом *-sko-*, первый из них – нередулицированный, второй – редулицированный. Ср., с одной стороны, др.-инд. *gachati*, греч. $\beta\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$, $\phi\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ (арм. *baci* “я сообщил”), с другой – греч. $\delta\acute{\iota}\delta\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ “учить”, $\beta\iota\beta\rho\acute{\omega}\sigma\kappa\omega$ “пожирать” и т.д. Бругман [Brugmann 1892: 1029] с полным основанием замечает, что суффикс **-sk-* – это распространенный вариант **-s-*: $\delta\acute{\iota}\delta\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ – авест. *daxšat* “он учил”, $\gamma\nu\acute{\omega}\sigma\kappa\omega$, $\gamma\gamma\nu\acute{\omega}\sigma\kappa\omega$, лат. *gnoritur* “становиться известным”, др.-инд. *jijñāsate* “стремиться узнать”, *ṛchati* “направлять” – *ṛṣati*, *aṛṣati* “двигаться”, авест. *yāsa’ti* “идти” – церк.-слав. *axamu* (простой корень – в др.-инд. *yāti* “идти”), др.-инд. *śroṣati* “слушать”, др.-в.-нем. *hlošen* “вслушиваться” – др.-в.-нем. *lūschen* “подслушивать”. Это открытие Бругмана, как мы увидим в дальнейшем, сыграло большую роль в изучении аспектно-временной системы праиндоевропейского глагола.

Класс 24 – глаголы с суффиксом **-t-*. Класс 25 включает в себя глаголы с **-d-/*-dh-*. Класс 26 – глаголы с суффиксом *-io-* (= др.-инд. IV класс). Класс 27 – глаголы на *-io-* с редупликацией. Класс 28 – с ауслаутом основы на долгий гласный + суффикс **-io-*. Класс 29 – назальные глаголы на **-io-*. Класс 30 – сигматические глаголы на **-io-* (куда Бругман отнес и футурумы). Класс 31 – деноминативы с суффиксом **-eie-* (др.-инд. *devayāti* “читать” < *deváh* “бог”, *apasyāti* “быть деятельным” < *ápas* “дело”, *apás* “деятельный”). Класс 32 – каузативы, итеративы и др.-инд. X класс глаголов с суффиксом **-éie-*.

1.5. Как видим, модель Бругмана весьма сложна. К презентным классам он, по-видимому, относит любой глагол, о котором можно сказать, что он морфологически первичен. Так целые классы корневых аористов оказались в составе классов презенса. В этой классификации вполне проявляется эклектизм младограмматиков, их стремление возвести к праиндоевропейскому любой факт греческого и древнеиндийского языков. У Бругмана зачастую отсутствуют попытки как-то объяснить функциональную значимость глагольных суффиксов, описать их системные взаимоотношения. Но не осуждения ради мы ее воспроизводим (пусть и с критическими замечаниями). Каковы бы ни были недостатки бругмановской классификации, нельзя не видеть ее неоспоримого достоинства – попытки проинвентаризировать все индоевропейское глагольное словообразование, представить по возможности полный каталог глагольных формантов. Показательно, что почти никто из авторов обобщающих работ по индоевропейистике не попытался проделать подобную работу. Правда, Г. Хирт [Hirt 1928] тоже описал различные типы глагольных основ. В его свод вошли “легкие” и “тяжелые” базы (под последними он понимал прежде всего корни на **-ə*), основы на **-exei* (т.е. с чередованием *-i/-ē-*: лит. *mini*, *minėti* “помнить” = греч. $\mu\acute{\alpha}\iota\nu\omicron\mu\alpha\iota$, аорист $\epsilon\acute{\mu}\acute{\omicron}\nu\eta\nu$ “безумствовать”⁶), на **-exeu-* (др.-инд. VIII класс: *karóti* “делать” – медий *akuruta*) сигматические и назальные презенсы, а также редулицированные презенсы и основы на долгий гласный. Дентальные глаголы у Хирта не упоминаются. В работе [Adrados 1963] приводятся типы глагольных основ, в общем соответствующие тем бругмановским классам, которые возводимы к праиндоевропейским. А в [Гамкрелидзе–Иванов 1984] эта проблема даже не поставлена.

2. Подробная классификация, сопоставимая с бругмановской, имеется только в [LIV 2001]. В предисловии к “Лексикону индоевропейских глаголов” Г. Рикс дает наиболее

⁶ О германских параллелях и индоевропейских истоках см. блестящую работу [Jasanoff 1973]. К этому вопросу мы вернемся в п. 3.

полную со времен К. Бругмана и подробную классификацию глагольных типов. Он справедливо отмечает, что все глагольные корни надо разделить на первичные и вторичные. Первичные корни служат для выражения времен и аспектов (их наличие в праиндоевропейском для Рикса бесспорно!), к ним относятся презенс, аорист, перфект, а также каузатив-итератив, дезидератив, интенсив, фиентив (глагол, обозначающий становление), эссив. Вторичные корни выражают время и модус: претерит, паронтив (т.е. действие, происходящее в момент речи)⁷, конъюнктив, оптатив, инъюнктив, императив. К вторичному корню присоединяются окончания и иные грамматические средства (например, оппозиция в аблауте), выражающие число, лицо и залог, в некоторых случаях также модус (к примеру, императив) и аспект (например, редупликация) [Rix 2001: 10].

2.1. Таким образом, разграничение первичных и вторичных основ здесь носит не исторический, а грамматический характер: основа презенса или аориста первична по отношению к залоговой оппозиции потому, что выражающие ее флексии присоединяются к основе, выражающей презенс и аорист; соответственно к таким же основам присоединяется суффикс конъюнктива, оптатива и т.д.⁸ Проще говоря, вторичные формы суть производные. Но Рикс решительно утверждает, что аспектуальные оппозиции сформировались на базе более архаических, выражающих то, что в немецкой лингвистике называется Aktionsart “способ действия”⁹. Именно этим обстоятельством объясняется обилие классов презенсов: они выражали различные способы действия. Итак, какие же классы глаголов выделили Рикс и его сотрудники?

2.2. Презенс состоит из следующих классов: А. амфидинамический корневой презенс – класс с наиболее простой структурой корня. “Сильные” формы (т.е. формы актива ед. ч.) несут ударение на корне и имеют полную ступень корневого вокализма, “слабые” формы имеют ударение на флексии (нулевая ступень корня). Пример – и.-е. *g^hen-/g^hhn- “бить, ударять” (др.-инд. *hán-ti/ghn-ánti*, хет. *kuenzi/kunanzi*). В. “акродинамический” презенс: ударение на корне, “сильные” формы с продленной ступенью вокализма, “слабые” – с полной. Специально отмечается, что акродинамический презенс мог быть и вторичным¹⁰. В качестве примера приводится корень *dēk-/dēk- (др.-инд. *dāsti/dāsanti* “почитать”), что вряд ли можно признать удачным, ибо этот корень в действительности реконструируется как *dēHk-. Лучше привести корни из прим. 11: *kes- “резать”, также *tek- “производить” (с учетом, однако, вторичности этого корня – редупликации от *tek-, ср. греч. ἔτεκον). С. статив с нулевой ступенью корня и с ударением на флексии. Приводится и.-е. *tuk-(é) (хет. *duggari* “важно, значимо”) от *tuek- “быть видным”. По мнению Рикса, подобные глаголы воспроизводили категорию инактива, отличную от стандартного медиа, возможно, статив. Надо полагать, что главным грамматическим признаком этой категории была невозможность субъектом контролировать действие (тогда как стандартный медиум обозначал действие, производимое субъектом для самого себя).

⁷ Интересные соображения о природе паронтива и его связи с другими временами и модусами см. в работе самого Рикса [Rix 1986].

⁸ Это положение справедливо для синхронной грамматики большинства древних индоевропейских языков. Но в них обнаруживаются следы и такого состояния, когда конъюнктив и оптатив могли образоваться только от одной глагольной основы, по-видимому – от чистого корня [Schwyzer 1939: 639]. Ср. лат. *attigat, atulul* – конъюнктивы, противопоставленные как презентным *tanget, feret*, так и перфектным *tetigerit, tulerit*. Есть все основания утверждать, что подобные протоконъюнктивы характеризовались нулевой ступенью вокализма.

⁹ Так, на мой взгляд, следует переводить этот немецкий термин. Его транслитерация русскими буквами (акционсарт) представляется довольно неуклюжей и чуждой духу русской терминологии [Hoffmann 1955].

¹⁰ Пожалуй, в настоящее время в этом и не приходится сомневаться. О причинах его возникновения см. [Insler 1970; Kümmel 1998]. В [Красухин 2004: Приложение 2] рассмотрены все глагольные корни, причисленные в LIV к “акродинамическим”. В результате выяснилось, что лишь у очень немногих корней реально присутствует аблаут *-ē-/e- (вед. *śásta* “он резал для себя” – *viśāsti* (Яджурведа) “он режет”; *tāsti* “он строит” – 3 л. мн.ч. *tāksanti* и нек. др.).

D. статив с полной ступенью вокализма и корневым ударением: и.-е. **kéi*- “лежать” (вед. *śáye*). E. презенс с суффиксом *-u-*: акцент и аблаут корня таков же, как в амфидинамических корнях, суффикс всегда безударный, с нулевой ступенью; пример – **térh₂-u/trh₂-u* (др.-инд. *tarute* “достигать”). F. сигматический корень с “акродинамическим” аблаутом. Единственный пример – **gnēh₃/*gnéh₃*- представлен только хеттским *ganeszi* “узнавать”. Однако морфология этого глагола не дает оснований реконструировать его как **gnēh₃/*gnéh₃*-, скорее как **gonh-és-* (в соответствии с предложенной Кейпером [Kuiper 1934] процедурой реконструкции сигматических презенсов).

2.3. Следующие классы глаголов – редуцированные презенсы. G. редуцирующий слог с *-e-*, ударение на первом слоге, безударный корень со ступенью *o* в активе, с нулевой ступенью в конъюнктиве; ударность окончаний в мн.ч. и меди и – вторичное явление (в действительности эта черта последовательно проявляется во всех индоевропейских языках; ничто не свидетельствует о ее вторичности). Пример – и.-е. **dé-doh₁*-¹¹ “давать” (др.-инд. *dádhāti*). Напротив, класс H содержит редуцирующий слог с тембром *-i-* и с корневым ударением: *sti-stéh₂-ti* “стоять” (др.-инд. *tísthāti*, греч. ἴσθημι). У этого корня “амфидинамические” аблаут и акцент. Различие между классами G и H, по сути, заключается только в тембре редуцирующего слога. Никакой реальной разницы в аблауте и акценте не наблюдается (все глаголы этих типов в древнеиндийском и древнегреческом несут ударение на первом слоге, имеют полную ступень корневого вокализма в “сильных” формах и нулевую – в слабых). Можно, конечно, предположить, что оба они воздействовали друг на друга (этим объясняется **e*-тембр в др.-инд. *dádhāti*, *dádāti* при *i*-тембре в τίθημι, δίδωμι), но возникает вопрос о причинах и относительной хронологии такого различия. Пока он не будет обстоятельно исследован, говорить о реальном разграничении классов G и H рано. Класс I представляет по сути тематический вариант класса H; корень всегда в нулевой ступени: *si-sd-él-ó-* (примеры см. выше, п. 1; окситонеза предполагается по нулевой ступени **-sd-*, хотя все известные нам формы несут ударение на первом слоге; возможно, ударение с тематической гласной впоследствии было перенесено на первый слог).

2.4. Следующие три класса – назальные: K – инфиксальный класс (16 класс Бругмана), L – и.-е. **neu-/nu-* (17 класс Бругмана), M – и.-е. **neH-/nH-* (18 класс Бругмана). Для всех них характерны так называемые “гистеродинамические” аблаут и акцент: в “сильных” формах суффикс ударен и полнозвучен, в “слабых” – флексия. Корень всегда находится в слабой ступени вокализма и не под ударением. Следует отметить, что описание назальных презенсов не является здесь исчерпывающим. На мой взгляд, не следует противопоставлять инфиксальные суффиксальные назальные презенсы: различие классов L, M, N – материальное, но не структурное. Конечно, при сравнении др.-инд. презенса *ṛnóti* “двигать” и аориста *árta* “он поднялся” (соответственно греч. ὄρυσσι и ὄρτο, хет. *arnuzi* и *artari* “он стоит”) формант **-néu-* выступает как суффикс. Но др.-инд. *śrnóti* – *ásrot* – *śrutáh* естественно членятся как **k₁l-né-u/klu-*. Для неинфигированного варианта корня существует множество индоевропейских параллелей. Аналогично – др.-инд. *gr̥bhñáti/lágrabhit* < **gr̥bh-né-H-/grébhH-*. В действительности все элементы, стоящие за назальным аффиксом, суть детерминативы. Во-первых, к глаголам VII класса и их аналогам можно найти параллели без этих корневых элементов: др.-инд. *yunákti* (лат. *iungo*, лит. *jūngti*) – др.-инд. *yáuti* “соединять” (и.-е. **ieu-g-*: **ieu-*, ср. также лит. *jūkti* “перемешиваться” < и.-е. **ju-k-*), др.-инд. *vṛnákti* “оборачивать” – *vṛnóti*, *varati* “сжимать, покрывать” (**uerg-lurg-lureg-* “толкать; делать”, ср. греч. ἔρω < ἔρωρω “гнать”, ἔρωδω, ἔρωζω “делать”, гот. *waurkjan*, нем. *wirken*: и.-е. **uer-* “проникать, пробивать”, ср. лит.

¹¹ Если принять теорию трех ларингалов, которой придерживаются авторы LIV, то реконструкция в этом корне *h₁* выглядит спорно. Этот ларингал не меняет тембр гласных: **dheh₁*- > лат. *fēci*, хет. *tehhi*, *dhoh₁*- > др.-в.-нем. *tuon*, *dhoh₁-mō-* > греч. θωμόφ “куча”, гот. *doms* “собрание”. В корне же **doH-* *o*-ступень не засвидетельствована. Это наводит на мысль о том, что тембр гласной здесь зависит от ларингала.

vérti, церк.-слав. *за-врѣтми*, русск. диал. *верать*; как видим, у этого корня есть вариант и с *-u-*), др.-инд. *ṛdhnóti/ṛdhnāti/ṛnaddhi* “расти, процветать” (и.-е. корень **er-/r-* “поднимать(ся), появляться” + *-dh-*, *-n-*, *-u-*, *-H-*). Иногда сопоставление первичного и отягощенного детерминативом корня позволяет высказать предположение о функции детерминатива. Так, и.-е. корень **kleu-* “слышать”, скорее всего, является производным от и.-е. **kel-/kelH-* “звать” (греч. κέλομαι, ср. лат. *clārus* “яркий, ясный”). В этом случае мы можем определить значение варианта **kleu-/klu-* как результатива по отношению к **kel-*, а форму **kl-né-u* – как специальную презентную основу. Кроме того, в образовании назальных презенсов приняли участие, по-видимому, и отглагольные имена. Р. Шмитт-Брандт [Schmitt-Brandt 1987] провел ясную параллель между др.-инд. глаголом *dhr̥ṣnóti* “сметь, отваживаться” и др.-инд. прилагательным *dhr̥ṣnú* “храбрый”. К этому можно прибавить, что суффикс *-ni-* по происхождению составной, о чем свидетельствует вариант *dhr̥ṣú*. Следовательно, упомянутые выше глаголы на *-u-* (класс E) тоже могли быть отыменными по происхождению. Ср. еще др.-инд. *tanóti* (*ṭṇ-néu-ti*) “вытягивать” – *tanú* “длинный”. Аналоги этой паре представлены в греческом: ταχύω “тащить” (< *ταχυμι, с поздней тематизацией¹²) – первый член композита ταχύ-πεπλος “с длинной мантией”.

2.5. Далее следуют тематические классы: тип др.-инд. *bhárati* – класс N, тип др.-инд. *tudāti* – нулевой класс, тип на *-sko-* (нулевая ступень корня) – класс P; в отличие от Бругмана, Рикс не делает различия между редуцированным и нередуцированным классом. На наш взгляд, здесь следовало бы упомянуть о том, что подавляющее большинство этих глаголов так или иначе производны от атематических: при общендоевропейском **bhér-e-ti* существуют и атематические формы: др.-инд. *bhárti* (и *bibharti*), гомеровский императив φέρτε “несите”, лат. 2 л. *fers*, 3 л. *fert*, 2 л. мн.ч. *fertis*, императив *ferite*; тохарский А медиальный имперфект II класса *parat* воспроизводит основу с долгим гласным (и.-е. **bhōreto*), как и тох. В презенс *parām*, т.е. заставляет предположить здесь “акродинамическую” форму. Ср. еще др.-инд. *tísthati*, *dádati* при *tísthāti*, *dádāti*, лат. *sistere*, *con-dere* (**km-dhH-é*) при *dádhāti*, др.-инд. *dógdhi* – *dóhati*, *duháti* “доить” и мн. др.

2.6. С йотовым суффиксом образуются три класса глаголов: – Q с нулевой ступенью корня (**gñh₁-ié-* > др.-инд. *jāyate* “рождаться”), R с полной ступенью (**spék-₁ie-* > др.-инд. *pásyati*, лат. *specio*, греч. σκέπτομαι “смотреть”), S – с суффиксом **-éie-* и, соответственно, корнем в нулевой ступени (*ṭṛp-éie* > др.-инд. *ṭṛpyati* “поворачиваться”¹³). И здесь следует отметить производность многих корней от атематических: греч. θεῖνω “ударять, бить” – др.-инд. *hánti* “убивать”, греч. φοίνω “являть” – др.-инд. *bhāti* “сиять” и т.д.

2.7. Последние три класса презенсов образуются с помощью дентальных суффиксов; корень повсюду полногласен и ударен: класс T – **kléuH-de/o-* “очутиться где-либо” > др.-норв. *hljota* “удерживать” (< и.-е. **klāu-/kleu-* “ключ, запор”, греч. κλῆις, лат. *clavis*), U – *pléh₁-dhe/o-* > греч. πλήθω “заполнять” (сравнение с аористом ἔπλητο “наполнился” заставляет предположить каузативность суффикса *-θ-*), V – **plék-tel/o-* > лат. *plecto* “плести” (греч. πλέκω то же). Не углубляясь в проблему происхождения этих презенсов, отмечу, что они, по-видимому, имеют отыменное происхождение. Суффиксы **-tél-ó-*, **-dhél-ó-* образуют результативные причастия и отглагольные прилагательные. Первый из них хорошо известен, в качестве второго мы можем привести и.-е. **urdhóm₁/uordhóm* “слово” (лат. *verbum*, гот. *waurd*) от **uer-* “говорить”. Глаголы, образованные с помощью этих суффиксов, имеют, как правило, результативное значение: и.-е. **uél-* “хотеть” (с

¹² Время тематизации глаголов на *-vu-* в древнегреческом определяется звуком, предшествующим тематической гласной: в более древнюю эпоху он превращался в сонорный и выпадал (греч. τίνω < *τινFω, ср. др.-инд. *cinóti* “замечать”), в более позднюю – сохранял свой вокальный характер (греч. τίγνυμι – τίγνυω, οἴγνυμι – οἴγνυω). Таким образом, ταχύω, несмотря на отсутствие атематической формы, безусловно, результат поздней тематизации [Kuiper 1937: 231–232; Rausq 1947: 33].

¹³ В Ригведе известны только варианты *trpnóti*, *trmpāti*, *trpán*. Ср. также греч. τέρπομαι с полной ступенью корня.

нулевой ступенью вокализма – “выбирать”: др.-инд. *vyñāi* → и.-е. **uél-dhe/o* “владеть”, **kel-* “звать” (греч. κέλομαι) – гот. *haldan* “пасти (скот), охранять, удерживать” (нем. *halten*).

Попробуем проиллюстрировать связь глаголов и имен с дентальным суффиксом на конкретном примере. И.-е. корень **bherdh-* “резать, рубить” представлен, согласно Покорному, следующими вариантами: **bherdho-/bħredho-* “резать”, **bħrdhó-* “доска”. К первому варианту относятся др.-инд. *bardhāka-* “режущий; плотник”, вед. *śatábradhnaḥ* (RV VIII 66, 7) “имеющий сто спиц”, по-видимому, и греч. *λέρθω* < **bhérdho-* “уничтожать”. Шантрен определяет этот глагол как “индоевропейский по виду, но не имеющий прямых аналогий” [Chantraine 1974: s.v.]. Вариант *bħrdhó-* – лат. *forfex* “ножницы” (этот вариант относится к исконному и.-е. **bħrdhó*, как лат. *senex* “старик” к др.-инд. *sána*, греч. ἔνος “старый”)¹⁴, гот. *foru-baurds* “ступенька”, русск. *бёрдо* “деталь ткацкого станка”. Возможно, к тому же корню восходит и польск. *bardysz* (> русск. *бердыш*) “вид секиры”, хотя это имя может быть заимствовано из ср.-лат. *barducium* “дротик”. Бесспорно, этот корень произведен с помощью суффикса *-dh-* от **bher-* “резать, сверлить” [лат. *ferio, foro*, греч. φέρσαι σχίσαι (Гезихий) “сломать”, др.-исл. *herja*, церк.-слав. *борѣѣ, бърпати*]. “Прямыми аналогиями”, которые требовались П. Шантрелю, очевидно, являются указанные отглагольные имена. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что глагол “разрушать” происходит от имени “доска, сторона”. Но очевидно, что в основе обоих именований лежит значение “разрезать, разрубить до конца”, т. е. результатив-комплетив от “резать”. От и.-е. корня **bher-* образуется имя **bħrdho-*, которое ложится в основу нового глагольного корня. Различие же в акцентуации (окситонные имена vs. баритонные глаголы) объясняется просто: от этих глаголов образуются тематические аористы (*λέρθω – έτραθον*), с нулевой ступенью корневого вокализма и окситонезой (о причинах именно такой дифференциации презенсов и аористов см. ниже). Отметим также, что глагольный класс на *-θ-* в древнегреческом обладает некоторой продуктивностью. Ср. *τελέω – τελέθω* “завершать”, *μινύω – μινύθω* “уменьшать”, формы, подобные аористу типа *έσχεθον* (*έχω* “иметь, держать”). К тому же классу может относиться и аорист *έπλαθον* “я пострадал” с презенсом *πάσχω* (< и.-е. **pn-dh-*) [Красухин 2001]. Упомянутое греч. *πλήθω* указывает на каузативное значение; однокоренное *πλήθος* “множество, толпа” подтверждает связь суффикса **-dh-* с отглагольными именами. Отметим также аорист *έμαθον* “я научился”, производный от и.-е. **men-* “думать, мыслить”. Большинство этимологов полагает, что это – словосложение: **men-* + **dhē-*; ср. др.-инд. *medhā* “мудрость, мысль”, авест. *mazda* “мудрец”, лит. *mandrius* “бодрый, крепкий”¹⁵. Если это и так, то словосложение **men-* + **dhē-* уподобилось отглагольному имени и развилось в глагол по той же модели, что и **bħrdhó-* > *έτραθον*.

2.8. Итак, Рикс и его соавторы предложили свое решение весьма насущной и актуальной задачи: они проинвентаризировали основные типы глагольных основ в праиндоевропейском. Кое-где они попытались описать и семантику основных баз. Это не всегда возможно, так как значение суффиксов и детерминативов нередко нивелировалось. Более определенно авторы LIV высказываются о производных формах. К праиндоевропейскому они относят корневой, сигматический и тематический аористы, причем последний – почему-то только в редуцированной форме, опираясь на др.-инд. *avocam* = греч. *έλον* < **e-Fe-ul-ov* < **e-ue-uk^o-om*. В действительности нередуцированный тематический аорист, вопреки LIV, еще с большим основанием может быть выведен из праиндоевропейского источника. Правда, в диссертации Дж. Кардоны [Cardona 1963], специально посвященной этой категории утверждается, что только один (!) аорист при-

¹⁴ Фонетика имени *forfex* свидетельствует о том, что данное имя – сабелльского происхождения, ср. умбр. *furfaθ* (Игувинские таблицы I b 1) / *fwfant* (Игувинские таблицы VI b 43), глагол не вполне ясного значения (“резать”, “очищать”, “ломать”, “класть на доску”?). Ср. дублиеты в итальянском: диалектное *forfice* / литературное *forbice*, из которых последний точно воспроизводит латинскую фонетику.

¹⁵ Из новейшей литературы см. [Meyer-Brügger 2004], где приводится много композитов с **dhē-*, в том числе и **men-(s)-dhē*, но не упоминается греч. *έμαθον*.

знается праязыковым: и.-е. **uidét* > др.-инд. *ávidat* – греч. ἔϋιδε – арм. *egit*, однако в действительности таких форм больше: и.-е. **lik^dét* “покидать” > др.-инд. *áricat* – греч. ἔλιτε – арм. *elikh*; апофония лит. *liko* позволяет предположить, что литовские претериты на *-o* с нулевой ступенью вокализма тоже восходят к тематическим аористам. Следует отметить весьма тонкое замечание Рикса о том, что редупликация изначально придавала глаголу “комплексно-итеративный” характер. Из него развивалось значение каузатива. И действительно, ряд редуплицированных аористов у Гомера имеет каузативное значение (ἔλαθον “я скрылся” – λέλαθον “я скрыл”).

2.9. Перфект, по мнению LIV, мог быть только редуплицированным, со ступенью *o*, хотя в работе Ф. Бадер [Bader 1968] высказаны справедливые мысли о том, что первичный редуплицированный перфект характеризовался нулевой ступенью, а ступень *o* присутствовала в нередуплицированном перфекте. Единственный пример подобного перфекта, относимый к праязыку – др.-инд. *véda* = греч. φοῖδα = лат. *vidi* = церк.-слав. *вѣдѣ*, но Бадер путем изящной эмендации выявила еще несколько подобных же форм (например, **με Γόρυε* вместо *μ' ἔορυε* в Ил. XXI 99 и XXII 347). Не следует забывать, что и германские претерито-презентные глаголы, перфектное происхождение которых общепризнанно, имеют *o* ступень корня (нулевую ступень в инфинитиве) и не имеют следов редупликации.

2.10. Прочие производные формы суть следующие. Каузативы-итеративы двух видов – с суффиксом **-éie/o-* (**mon-éie/o-* > лат. *monere* “убеждать, наставлять”) и суффиксом **-ie/o* (*suop-ie/o-* > лат. *sopire*). В первом типе каузатива ударение стоит на суффиксе, корень в ступени *o*; во втором – корневое ударение, ступень *o* корня. Я бы прибавил к этому и славянский каузатив типа *быти* – (*изъ-)**бавити* (< **bhū-* → **bhūi-*), *плочити/плыти* – *плавити*. Оба типа очень близки друг другу. Нам, однако, не вполне ясны причины, по которым к второму типу относится греч. *πολέομαι* “часто двигаться”, возводимое авторами LIV к варианту **k^holh₁-ie/o* (при первичном **k^helh₁-* “вращаться”). В действительности, как показывает греч. *πέλω/ἔπλετο*, лат. *colo* < **quelo*, др.-инд. *carati*, первичный корень можно реконструировать без ларингала. Долгота же корневого вокализма не является отличительной чертой только этого каузатива-итератива. На общеиндоевропейский статус вполне может претендовать и итератив-каузатив с суффиксом *-ā-*. Полная ступень *o* наличествует у таких глаголов, как упоминавшиеся лат. *forāre* – др.-в.-нем. *boron* (бругмановский класс 10). Продленная же ступень засвидетельствована в греч. φορέω “носить”, *νομάω* “распределять, раздавать”, церк.-слав. *лѣтати*, *бѣгати* (ср. с полной ступенью *летѣти*, *бежати* < **бегѣти*). Долгота для всех случаев была удачно объяснена Е. Куриловичем [Kurłowicz 1964: 81]: каузативы и итеративы по сути – отыменные глаголы; они могут заимствовать свой вокализм у корневых имен, в том числе и имеющих продленную ступень (ср. греч. φόρ, церк.-слав. *бѣгъ*, *за-бава*). Причины же развития продленной ступени см. в [Sreitberg 1894; Pisani 1932]. В целом можно утверждать, что продленная ступень является возможным, но не обязательным атрибутом итеративно-каузативных глаголов. С другой стороны, можно сравнить эти формы с индоевропейскими фактитивами. Они представлены в хеттском (хет. *maniiahh-* “управлять” от и.-е. **manu-* > лат. *manus* “рука”), латыни (лат. *albare* “белить”, *pro-pagare* “сажать (саженцы), вбивать”), древневерхненемецком (глаголы II слабого класса: *richis* “царство” – *richison* “царствовать”, *ente* “конец” – *enton* “заканчивать”).

2.11. Дезидератив, по мнению авторов LIV, возможен в двух формах: 1) атематической – с “амфидинамическим” аблаутом и акцентом, всегда безударным суффиксом в нулевой ступени (**ueid-s-* > лат. *visere* “наблюдать”¹⁶), и 2) редуплицированной – с суффик-

¹⁶ Статус этого глагола как дезидеративного не общепризнан: обычно он трактуется как фрекентатив, построенный по продуктивной для латыни модели – от супина: ср. др.-лат. *horior* – классическое *hortāri* “убеждать”, *capere* “брать” – *captāre* “захватывать”. Но, возможно, здесь правы именно авторы LIV: все эти участительные глаголы образованы с суффиксом *-ā-*, тогда как тематическое спряжение *visere* можно объяснить тем, что это конъюнктив сигматического глагола.

сом **-séló-* (**ui-un-séló-* > др.-инд. *vívāsati* “стремиться достичь”, *vi-vid-séló-* > др.-инд. *vív-itsati* “искать”). В древнеиндийских дезидеративах часто удлиняется гласный корня. По мнению Рикса и его соавторов, между корнем и суффиксом появляется ларингал: **ui-un-H-séló-* (см. выше), **g^hhi-g^hhn-H-séló-* (др.-инд. *jíghāmsati* “стремиться убить”). Этот ларингал заимствован из корней *set*. Следует отметить, что существует и принципиально иная точка зрения, согласно которой исконно дезидеративный суффикс выглядел как **-Hes-/-Hsé-* [Erhart 1989: 67]; ср. др.-инд. *apnóti* “получать” → *īpsāti* “стремиться” (**ep-Hsé-*), *bhājati* “давать, наделять” → *bhikṣāti* “желать, молить” (**bhḡ-H-séló-*). Корни *ap* и *bhāj* относятся к числу *anit* (ср. хетт. *epzi* “он берет”), нередуцированность данных дезидеративов – внесистемная черта (подавляющее большинство этих древнеиндийских глагольных основ редуцировано), поэтому именно такие формы могут сохранять архаические черты [Inslter 1968]. Кроме того, латинский суффикс субъюнктива перфектных времен *-is-* (в интервокальном положении *-er-*) проще всего объяснить из суффикса *-Hs-*, а не *-s-*.

Реконструкция атематического дезидератива авторам LIV необходима для объяснения происхождения футурума и форм типа упомянутого лат. *visere*. Следует учесть, что футурум в тех языках, где он представлен как синтетическая форма, всегда имеет тематическую основу. У Гомера конъюнктив сигматического аориста (если у него краткий суффикс) и футурум различимы только в контексте:

ἀλλ' ἢ τοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεθα καὶ αὐτίς,
 νῦν ἄγε νῆα ἐρύσσομεν εἰς ἄλα διαν,
 ἄν δ' ἐρέτας ἐπιτεδῆς ἀγείρομεν, ἐς δ' ἑκατόμβην
 θείομεν, ἄν δ' αὐτῆν Χρυσήϊδα καλλιπαρεῖον
 βήσομεν... (Илиада I 140–144)

“но это мы (давай) обсудим позднее и в другой раз; сейчас же давай направим черный корабль в божественное море, соберем достаточно жрецов, совершим гекатомбу и отправим в путь самую прекраснolanитную Хрисеиду”. В данном контексте амбивалентна форма *μεταφρασόμεθα*: ее можно толковать как футуральную или конъюнктивную. Изоморфный глагол *ἐρύσσομεν* снабжен побудительной частицей *ἄγε*, которая показывает, что перед нами – *coniunctivus hortativus*, а не футурум. В этом контексте глагол *ἀγείρομεν*, омонимичный презенсу индикатива, на самом деле является конъюнктивом аориста (**αἰερ-σ-ομεν*)¹⁷, как и *θείομεν*.

Таким образом, футурум типа гомеровского – это по сути конъюнктив аориста (из-за необходимости различать две эти категории в послегомеровскую эпоху конъюнктив с долгим суффиксом вытеснил краткий). Это положение не противоречит тому, что утверждает Рикс, но вносит в его реконструкцию необходимые уточнения. “Атематический дезидератив” есть не что иное, как сигматический аорист (ср. “Аорист – это претерит дезидеративного презенса” [Откупщиков 1967: 167]). Тематизация, по-видимому, и подчеркивает дезидеративное значение. Вообще, этот вопрос требует особенно тщательного изучения всех функций сигматического аффикса, а также типологических штудий поведения перфективирующих аффиксов в различных временах. Дезидератив, аорист, сигматический презенс и футурум требуют комплексного изучения. Значительные части этой работы выполнены К. Уоткинсом [Watkins 1962] и О. Хакштейном [Hackstein 1995]; сейчас представляется насущно необходимым синтезирующее исследование. Попутно отметим, что суффикс *-séló-* – это, вне всякого сомнения, аблаутный вариант суффикса *-s-*. Естественно, присоединяясь к корню, он перетягивал ударение на себя, и в корне развивалась нулевая ступень вокализма. Об этом свидетельствуют итальяские футурумы и субъюнктивы лат. *faxo, faxim* (< **dhək-séló-* – конъюнктив, **dhək-s-iéh-/-iH-* – оптатив). Таким образом, тяга конъюнктива к нулевой ступени вокализма находит

¹⁷ Во избежание омонимии с презенсом футурум у глаголов на плавные образован с помощью суффикса **-εσ-ε/ο* < **Hs-é/ο*: *ἀγείρω* → *ἀγερῶ* < *ἀγερεσῶ*.

подтверждение и здесь. Очевидно, хотя авторы LIV этого специально не оговаривают, к дезидеративу восходят тематические сигматические презенсы.

2.12. Интенсив Рикс с соавторами определяют и реконструируют так же, как Бругман – по индоевропейскому образцу, высказывая сомнение в возможности его проекции на праиндоевропейский уровень. Вместе с тем можно отметить, что редуцированные формы с усилительным значением не чужды и другим языкам: ср. греч. *λαίφαινω* “сиять” от *φαίνω* “являть”, *λαίφασσω* “мелькать” (< **gh^hak^h* – “блестеть”, ср. *φῶψ* *φάος* (Гезихий) “свет”, лат. *fax* “факел”), хет. *kukurs-* “рубить” (*kuars-* “резать”). Но в этих языках такие глаголы весьма sporadicheski; они не сложились в грамматическую подсистему.

2.13. Две последние производные категории праиндоевропейского глагола еще не приобрели статуса общепринятых: это “фиентив” с суффиксом *-éh₁-/-h₁-* и “эссив” (и.-е. *-h₁-iéh₁-*). Первая основа обозначает достижение субъектом нового состояния, вторая – пребывания в нем (возможно, она заместила древние классы C и D первичного презенса). Их реконструкция вызывает довольно много вопросов. Так, “эссив”, очевидно, восстанавливается на базе греч. *χαίρω* “радоваться” (< **χαρω*) – аорист *ἐχάρην*, *μαίνομαι* “безумствовать” (*μαίν-10-* < *μν-10-*) – аорист *ἐμάνην*, ср. др.-инд. *manuate* “полагать, думать”. Особенно интересно почти пофонемное совпадение с лит. *mini* “он помнит” – инфинитив *minėti*. В германских языках “эссив” отражается в III классе слабых глаголов. Примечательно, что в готском сохранилась презентная основа на **-io-*, а в древневерхнемецком – на *-ē-*: гот. *haban* (3 л. ед. ч. *habaiþ*) – др.-в.-нем. *habēn* (*habēþ*) [Jananoff 1973]. Реконструкция “фиентива” опирается на многие латинские глаголы II спряжения: *manēre* “оставаться”, *albēre* “белеть”, *rubēre* “краснеть” и их балто-славянские параллели: церк.-слав. *бѣлѣти*, *зрѣти*, лит. *akmenėti* “окаменевать” и т.д. Первый тип глагольного корня восстанавливается на базе работы [Rasmussen 1993]. Й. Расмуссен отмечает, что представленный материал позволяет разграничивать презенсы, обозначающие состояние, и аористы, указывающие на достижение состояния. Презенс восстанавливается им в форме: презенс и.-е. **sene-h₁-iéh₁-ti* “он стар” (деноминатив), и.-е. *bhudh-h₁-iéh₁-ti* “он бодрствует” (девербатив) vs. аорист и.-е. **sēne-h₁-t* “он стал стар”, *bhudh-éh₁-t* “он проснулся”. Тем самым йотовый суффикс сохраняет свою презентную функцию. Аорист отличается от него тем, что ударение он несет на своем суффиксе, тогда как в йотовом презенсе ударение перетягивается на последний суффикс.

3. Вопрос о статусе “статива” и “фиентива” не получил окончательного разрешения, поэтому целесообразно остановиться на нем подробнее. Прежде всего, оппозиция **iéh₁-ē-* представлена: 1) в балтийских и славянских языках, где презенс на *-i-* противопоставлен инфинитиву на *-ē-*, 2) в древнегреческом, где презенс на *-io-* противопоставлен аористу на *-η-*. Ср. *μαίνομαι* – *ἐμάνην* “безумствовать”: *μνίμι* – *μνέμι* “вспоминать”: *мнитъ* – *мнѣти*. Но при этом надо учесть, что литовский и славянский презенс, как показал Е. Курилович [Kurjowicz 1964: 81] происходит не из йотового суффикса, а из парадигмы, которую сам Курилович именуется перфектной: **mn-éi*. С нашей точки зрения, она отражает более древнюю глагольную форму, чем перфект, – окситонный статив. Именно эта форма в древнегреческом и древнеиндийском замещена йотовым презенсом. В настоящее время можно объяснить морфологическую функцию этих замещений. Дело в том, что древнейшая форма стативного глагола представляет собой, по сути, рассогласованное прилагательное или наречие. Указанные суффиксы вводят его в собственно глагольную парадигму. Поясним это на нескольких примерах. В литовском языке хорошо известны наречия *ganà* “можно” и *gailà* “жаль”. Они находятся в прямом родстве со стативными глаголами *ganėti* “мочь” и *gailėti* “жалеть”. От первого из них образовано 3 л. ед.ч. *gānia* (*ia*-презенс), от второго – *gāli* (II спряжение). Частица *-i* имеет отчасти значение *hic et nunc*, отчасти – эмпатическое. Я. Сафаревич [Safarewicz 1965] указывал на ее наличие в древнелатинских перфектах типа *astiteit* (= *adstitit*), *fuveit*, *redieit*: окончание *-t* присоединилось к флексии **-ei*, которую мы встретили в литовском. Можно утверждать, что частица **-i* и презентный суффикс **-io-* играли роль “вербализатора”, переводящего недостаточно дифференцированную окситонную форму в разряд глаголов в презенсе. Процесс внедрения этих формантов был ступенчатым: церк.-слав. *кѣтитъ* –

кыпѣти соответствует лит. *kūpa* – *kurėti* “бежать; изобиловать, буйно расти” (с вторичной долготой корня, о чем свидетельствует циркумфлекс). Ср. еще др.-инд. *kurūati* “приходить в движение”, лат. *cupio* “страстно желать”.

3.1. Следует отметить, что йотовый суффикс в качестве пассивного сугубо ударен, тогда как у глаголов IV класса ударение стоит и на корне. Ср. др.-инд. *būdhyati* “бодрствовать”, *pūsyati* “процветать”, *tūsyati* “быть довольным”, но *diyāte* (*dādāti*) “быть данным”, *kriyāte* (*kṛnōti*) “быть сделанным”, *uyjyāte* (*yundākti*) “быть привязанным”. Ударение – единственное, что отличает статив IV класса от пассива. И глагол *jāyate* “рождаться” с синхронной точки зрения, по-видимому, рассматривался как вариант *jānati*, а не его пассив, поэтому его ударение стоит на корне¹⁸. В некоторых случаях, как указывают авторы LIV, в пассивах и стативах удлиняется гласный корня, поэтому суффикс реконструируется как ларингал: ср. др.-инд. *kṣiyate* (*kṣināti*) “разрушаться”, *tāyate* (*tanōti*) “быть натянутым”. Однако мы убедились, что это происходит не всегда. Ларингал здесь явно факультативен, возможно, он пришел от корней *set* типа **gnH-* > *jā-*. Нет сомнения, что изначально ударным в этих глаголах был суффикс. Этим и объясняется их стативное и пассивное значение.

3.2. Вызывает сомнение распределение значений *-(h₁)io-* как эссива и *-eh₁-* как фиентива. Сравним два омонимичных инфинитива: церк.-слав. *зърѣти₁* “видеть” и *зърѣти₂* “зреть”. От первого из них образуется презенс *зърѣж*, от второго – *зърѣж*. В принципе первый глагол можно рассматривать как “эссив”, но большинство глаголов этой категории обозначают неконтролируемое состояние, тогда как *зърѣти* – это нединамичный глагол восприятия, т.е. контролируемого события. Такая же морфология характерна и для других глаголов восприятия в славянских языках: церк.-слав. *видѣти* (*виждж*), *слышати* (*слышж*) < и.-е. **sluxēti/sluxio*¹⁹. Что же касается *зърѣти₂*, как и других глаголов этого класса, то они могут означать как состояние, так и становление, т.е. быть, если пользоваться терминологией LIV, эссивными и фиентивными. Попутно отметим и рефлексы глаголов на *-ē-* в древнегреческом: *ἀνθεῶ* (*ἦνθη-σα*) “цвести”, *θαυβεῶ* (*εἰθαυβη-σα*) “удивляться”, *μισεῶ* (*ἐμιση-σα*) “ненавидеть”, где в аористной основе (с вторичным *-σ-*) проявляется исконная долгота.

3.2.1. Глаголы этих классов в индоевропейских языках тоже не демонстрируют четкого разграничения обеих сем. Сравним глаголы, однокоренные с обоими славянскими: лит. *žerėti* (*žeriu*) “сиять” (статив с вторичной долготой корня, но с теми же суффиксами презенса и инфинитива, что и в славянском); др.-инд. *jiryati* “стареть” (типичный глагол становления). Следует заметить, что во многих индоевропейских языках глаголы на **i^h/j_o-* и *-ē-* не пересекаются. Если в германских языках разделение глаголов на типы гот. *habaiþ*/др.в.нем. *habēt* отражает позднее явление, то в других языках нет следов подобной корреляции. Так, однокоренные лат. *iacio* “кидать” / *iaceo* “лежать” резко различаются по семантике (второе может рассматриваться как результатив первого). В хеттском имеются два класса глаголов с суффиксом *-ē-*: инхоативные на *-ēs* (подобные латинским на *-esc-*) и стативные на *-ē-*: *nakkezzi* “быть значимым”, *danattezzi* “пустеть” и др. [Watkins 1973]. Бесспорно, что глаголы, входящие в эти два класса (*-i^h/j_o-/-ē-* и простое *-ē-*), суть неактивные; попробуем разобраться в их соотношении.

3.2.2. Прежде всего, необходимо уточнить ареал глаголов на *-i^h/j_o-/-ē-*. Ф. Шпехт, указывая на отдельные важные параллели в древнегреческом и древнеиндийском, отмечал, что полного развития этот класс достиг в германо-балто-славянском и итальянском ареале (что, по мнению исследователя, связано с культурой шнуровой керамики). Поэтому данные глаголы связаны сложной системой отношений с иными формами. Так, церк.-слав. *прильнѣти* – стативный глагол при инхоативе *льнѣти*; лит. *lipi* (*līpra*, *līpo*)

¹⁸ Почему Рикс с соавторами отделяют этот глагол от “эссива” и относят его к обычному йотовому классу – неясно.

¹⁹ Следует отметить, что все эти глаголы могут иметь и другое значение – потенции: *видеть* = “не быть слепым”, *слышать* = “не быть глухим”. Это значение ближе к эссивному.

“лезть, влезать” – статив или инхотатив, тогда как изоморфное др.-инд. *limpāti* “смазывать” – переходный глагол, а *lipyati* “липнуть” – непереходный. Ясно, что он входит в класс $-i^{\acute{e}}/_{\sigma}/-ē$ -глаголов. Соответственно многим глаголам на $-ē$ соответствуют иные формы в других языках: лит. *sėrgėti* “наблюдать” – слав. *смрѣци* (*смрѣж* < *sterg-*), слав. *лежати* (< **leg-ē*) – греч. *λέχεται* *κοιμάται* (Гезихий), слав. *горѣти*, лит. *garėti* – греч. *θέρομαι*, др.-в.-нем. *dorrēn* – др.-инд. *tr̥ṣyāti*, греч. *τέρσομαι*. Как видим, глаголы на $-i^{\acute{e}}/_{\sigma}/-ē$ корреспондируют с непереходными медиями. Особый интерес представляют наблюдения Шпехта над греческими глаголами, где $-ē$ присутствует в неперезентных временах (VII класс). Так, лит. *gulėti* (*gūli*) “лежать” Шпехт сравнивает с греч. *θέλω* “хотеть”, хотя по семантике эти глаголы далеки. Греческий глагол более убедительно сравнивается с русск. *желать*, церк.-слав. *желѣти*. Но характерно, что основа на долгий гласный в греческом глаголе появляется в неперезентных временах: футурум $(\acute{\epsilon})\theta\epsilon\lambda\acute{\eta}\sigma\omega$. Взаимоотношение $\theta\acute{\epsilon}\lambda\omega/\theta\epsilon\lambda\eta$ - напоминает лит. *kūpalkūpėti*. Безличный глагол $\mu\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota$ тоже относится к VII классу: футурум $\mu\acute{\epsilon}\lambda\lambda\eta\sigma\epsilon\iota$. На его базе сформировался личный глагол $\acute{\epsilon}\tau\tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\omega$. Подобный же процесс привел к формированию глоссового глагола $\nu\omega\rho\acute{\epsilon}\tau\ \acute{\epsilon}\nu\epsilon\rho\upsilon\acute{\epsilon}\tau\iota$ (Гезихий) “действовать, совершать”, презенс от которого соотносится с литовским инфинитивом *norėti* “желать” [Specht 1935: 36–38]. В целом, глаголы на $-i^{\acute{e}}/_{\sigma}/-ē$ и простое $-ē$ – это сравнительно поздние образования, иногда пересекающиеся друг с другом, иногда же различающиеся. В частности, второй класс образуется, как правило, от имен.

3.2.3. Помимо славянских и балтийских языков, где четко различаются оба класса, большой интерес представляют латинские глаголы на $-ē$. Некоторые стативные глаголы включены в словообразовательные ряды вместе с фактитивными и фиентивными глаголами: ср. лат. *patēre* “быть открытым” – *patefacere* “открывать” – *patefieri* “открываться”. Такие морфологические ряды проливают свет на происхождение суффикса $-ē$. На это обратил внимание Дж. Ясанов [Jasanoff 2003: 156–157]. Он отметил, что глаголы с этими суффиксами не укладываются в предложенные LIV дефиниции. Происхождение же их – отыменное. И автор сравнивает глаголы на $-ē$ с древнеиндийскими наречиями типа *gūhā* “тайно”, *mṛṣā* “тщетно, напрасно”. Суффикс $-eh_1-$, лежащий в основе этих отглагольных наречий, Ясанов считает идентичным флексии инструменталия. Для доказательства его именного характера он приводит следующие аргументы. 1) Данный суффикс чередуется с именными, что заставляет вспомнить известный закон Каланда: суффиксы $-u-$, $-i-$, $-ro-$ чередуются у одних и тех же основ. Суффикс $-ē$ можно поставить в те же ряды: лат. *rubēre*, лит. *rudėti*, церк.-слав. *рѣдохти* – и.е. *rudhrō-* (лат. *ruber*, тох. В *ratre*) *rudhī-* (др.-инд. *rudhirā*): лат. *acēre* – греч. *ἄκρος*, *ἄκις*. 2) Следы наречий на $-ē$ обнаруживаются в архаической латыни. Засвидетельствованы два примера: 1) *principio terram sol excoquit et facit are* (Лукреций. О природе вещей. VI: 962) “сперва солнце землю припекает и сушит” (*facit arē = arēfacit*), 2) *ferue bene facito* (Катон. О сельском хозяйстве. 157, 9) “помести его в хороший кипяток” (*feruē... facito*). То же наречие, по мнению Ясанова, лежит в основе латинского и славянского имперфекта: *colēbam, vidēbam* (< **vidē + bhūam*), *видѣхъ*. 3) Значение форманта $-ē$ недостаточно определено. С его помощью образуются стативные и инхотативные презенсы (лат. *rubēre* и *rubēscere*, хет. *danattezzi* “быть пустым” и *danatteszi* “делаться пустым”), стативные претериты (лит. *minėjo* “он помнил”, слав. *прилипѣхъ* “я прилип”), аористы (греч. $\acute{\epsilon}\mu\acute{\omicron}\nu\eta\nu$ “я обезумел”, лит. *gime* “родился”).

Представляется, что различные аргументы имеют и различную ценность. В частности, соотношение $-ē$ с “каландовскими” суффиксами недостаточно показательно: в принципе к этой группе можно приписать любой глагольный суффикс, если у глагола есть однокоренные имена²⁰. Наречия, на которые ссылается Ясанов, действительно

²⁰ Впрочем, это не опровергает точку зрения Ясанова: большинство суффиксов у глагола и имени общие. На тесные взаимоотношения глаголов на $-ē$ и именных основ обратил внимание еще Ф. Шпехт: ср. греч. $\acute{\alpha}\nu\theta\acute{\epsilon}\omega$ – $\acute{\alpha}\nu\theta\acute{\omicron}\varsigma$ “цветок”, $\theta\acute{\alpha}\mu\beta\acute{\epsilon}\omega$ – $\theta\acute{\alpha}\mu\beta\acute{\omicron}\varsigma$ “удивление”. Давно и хорошо известна связь латинских глаголов на $-ē$ с именами на $-i-$: *gaudeo* “веселиться” – *gaudium* “радость”, *studeo* “усердствовать” – *studium* “пристрастие” [Specht 1935: 36]. Ср. также прилагательные на $-i-$: *avidus* “жаждать” – *avidus* “жадный”, *placido* “покоиться” – *placidus* “ровный, спокойный”, а также отглагольные имена на $-i-$: *tum*: супин *placitum, habitum* (*habeo* “иметь”).

имеют тот же формант, что и инструменталь. Однако при поисках именных форм с суффиксом $-\bar{e}$ - можно вспомнить и иные формы. В частности, в литовском языке имеется довольно значительный класс имен на $-\bar{e}$ - со значением абстрактности, собирательности, производности. Ср. *akmuõ* “камень” – *akmėnė* “каменшарка (название птицы)”, *žālis* “зелень”, *žālias* “зеленый” – *žolė* “трава” (с удлинением вокализма). Заслуживает внимания то, что от них образуются глаголы на $-\bar{e}$ - второго типа: *akmenėti* “каменеть”, *žolėti* “зарасти травой”. Таким образом, удастся выявить не только наречия, гипотетически лежащие в основе глаголов на $-\bar{e}$ -, но и вполне реальные имена, образующие эти глаголы.

Аспектные же колебания, отмеченные Ясановым, свойственны различным основам, образованным от единой глагольной базы на $-\bar{e}$ -. Так, презенс во всех языках маркирован суффиксом $-io-$: церк.-слав. *рѣдѣиѣмъ*, лит. *rudėja*, лат. *rubet* < **rudhēit* > **rudhēt* (с италийским сокращением \bar{e} перед *t*). Представляется, что в данном случае морфема $*-i$ -возникла как глайд между долгим гласным основы и тематической флексией, которая восстанавливается как $*-\bar{o}$ (< $*-oHe$), $*-e(i)$, $*-e$ с возможным изменением в $*-\bar{o}$, $*-es$, $*-et$. Одним из значений такой флексии была дуративность [Georgiev 1975; Красухин 2004]. Она противостояла недлительности, связанной с окончаниями $*-m$, $*-s$, $*-t$. Исключение составляют только хеттские презенсы типа хет. *danattezzi* с их спряжением на $-mi$. Их парадигмы дефектны, они мало распространены в текстах, поэтому об их развитии можно судить по аналогии. В свое время Х. Айхнер, анализируя соотношение парадигм на $-mi$ и $-hi$ в хеттском, пришел к следующему выводу: первые из них связаны с аористическими корнями, а вторые – с перфектными [Eichner 1975]. Так, корень $*dheh_1-$ с окончанием $-mi$ означает “говорить” (*temi*), а с окончанием $-hi$ – “ставить” (*tehi*). Это объясняется тем, что значение “сказать” в этом корне выражает, как правило, аорист: церк.-слав. *дѣ* “он сказал”, алб. *thom* < $*dhē-m$ - “говорю”. Возможно, глаголы типа хет. *danattezzi* происходят от формы аористного типа, к которой присоединились окончания презенса. Инхоативное же значение глаголов на $-es-$, $-esk-$ связано с суффиксами $-s-$, $-sk-$ (о них см. ниже).

3.3. Семантику глаголов на $-\bar{e}$ - можно охарактеризовать так: момент достижения какого-либо состояния, их презентные вариации – само состояние, следующее за этим моментом. Иными словами, для их описания подходят модель трехфазового описания Ю.С. Степанова [Степанов 1989]: I фаза – устремление к состоянию (“я падаю, падаю...”), II фаза – момент достижения состояния, или критическая точка (“я упал”), III фаза – состояние после “критической точки” (“я лежу”). И вполне закономерно, что лат. *iacere* обозначает именно третью фазу. Ср. лит. *aūti* (*aūna*, *āvė*) “обувать” – *avėti* (*āvī*, *avėjo*) “носить (обувь)”, *dėti* “класть, ставить” – *dėvėti* (*dėvi*, *dėvėjo*) “носить (одежду)” (ср. к семантическому развитию русск. *о-дѣть*, *на-дѣть*), *stóti* “становиться” – *stovėti* (*stóvi*, *stovėjo*) “стоять”²¹. Праславянское $*sluxio$ – $*sluxē-ti$ подразумевает аорист $*sluxē-t$ “он услышал”, произведенный от простого корня *slou̯ti* “слыть”. Результативом же от него является $*slouxēio$ > *slou̯uai̯k*. Аналогично от лит. *lįsti* (презенс *leñda*, претерит *liñdo*) “лезть” образован результатив *lindėti* (през. *liñdi*) “торчать”. Вообще значение результативности является одной из важных характеристик глаголов на $-\bar{e}$ -.

3.4. В заключение нашего экскурса скажем несколько слов о происхождении данного суффикса. На наш взгляд, его реконструкция как $*-eh_1-$ избыточна. В действительности это, вероятно, результат так называемой “двойной тематизации”. Это явление было открыто А.А. Белецким [Белецкий 1955], чьи выводы дополнил О.С. Широков [Широков 1981]. Исследователи отмечали, что многие флексии в индоевропейских языках приводят к “тематизации” основ. Так, атематический генитив $-os$ формально идентичен тематическому номинативу $-o-s$, а атематический датив $*e_i j-$ – тематическому локативу $*e-/o-i$

²¹ Шпехт [Specht 1935: 70] полагает, что элемент $-v-$ унаследован этими глаголами от основы перфекта: др.-инд. *dadhau*, *tasthau*. Но ср. лит. *stõvas* “стояк”, который свидетельствует о том, что $-v-$ может быть и именным суффиксом, и глайдом. В этой связи ср. русск. *став*, *ставитъ* (с каузативным суффиксом), лат. *in-staurare* “восстанавливать”, греч. *σταῦρος* “столб”, *στῆω* “застывать”, где $-v-$ не может быть перфектным.

(ср. др.-инд. *padé* “для ноги”, но *grhé* “в доме”). Присоединяясь же к тематическим основам, такие флексии становятся “вдвойне тематическими”, т.е. гласный в них удлиняется: ср. греч. дат. п. $\lambda\acute{\upsilon}\kappa\omega$, др.-инд. *vṛkāy-a* “волку”. Аналогично в системе глагола соотносятся индикатив и конъюнктив: др.-инд. аорист *ákar* “он сделал”, презенс *asti* “он есть” – конъюнктивы *karat(i)*, *asat(i)*; от др.-инд. тематического индикатива *bharati* образуется “вдвойне тематический” конъюнктив *bharāti*. Долгий суффикс проникает и в атематическое спряжение: *asāti* (наряду с *asati*), ср. авест. *aṣhāti* и *aṣha'ti*. Претерит на **-ē-*, с нашей точки зрения, есть результат аналогичной “двойной тематизации” тематического аориста. Эта форма выражает неактивность и результативность, свойственную тематическому аористу. Такое предположение подтверждается тем, что древнеиндийские ставивные презенсы на *-ya-*, как правило, коррелируют с тематическими аористами: *púṣyati* “процветать” – вед. оптатив аориста *puṣema*, *kúpyati* 1) “приходить в движение”; 2) “гневаться, сердиться” – *ákrpat*, *túsyati* – *átuṣat*. Значение тематического аориста может быть различным, в том числе и переходным. “Вдвойне тематическая” глагольная форма более четко выражает свой круг значений.

3.4.1. Взаимоотношение различных основ глаголов можно представить в виде следующей таблицы:

Презенс	Аорист
* <i>kupé-</i>	* <i>kupē-</i> (<абстрактное имя/наречие * <i>kupē?</i>)
* <i>kup-ié-</i>	* <i>kupé-</i>
* <i>kup-ié-</i>	* <i>kupē-</i>
* <i>rudhēie-</i>	* <i>rudhē-</i> (<абстрактное имя/наречие * <i>rudhē</i>)

(Замечание: отглагольное имя в основе глаголов класса $i^e/{}_o/-\bar{e}$ - восстанавливается с меньшей уверенностью, чем для класса $\bar{e}ie/\bar{e}$ -.)

4. Как видим, общеиндоевропейский глагол отличается удивительным богатством основ, не меньшим, чем древнеиндийский и древнегреческий. Некоторые морфологические варианты выражают различные диатезы, другие имеют модальное значение. Но в целом все это изобилие заставляет предположить, что в праиндоевропейском глаголе была широко представлена категория способа действия. Специальные значения многих глагольных суффиксов элиминированы. Но не приходится сомневаться в том, что они могли выражать различные аспектуальные значения: длительность действия, стремление его к завершению и т.д. Во всяком случае, можно утверждать, что морфологическая система праиндоевропейского глагола на определенном этапе была очень богатой, – не менее, чем в древнегреческом и санскрите. Обилие суффиксов не позволяет допустить, что в праиндоевропейском существовала только темпоральная оппозиция. Итак, попробуем, основываясь на работах Бругмана и авторов LIV, выявить основные морфемы, образующие глагольные основы. В качестве префиксов выступают редуцирующие слоги, причем следует различать слоги с гласным *-i-*, с гласным *-e-*, и слоги, захватывающие часть корня. Первые более всего свойственны презенсам, вторые – аористам и перфектам, третьи – интенсивам. Гораздо богаче суффиксальная система, которая насчитывает следующие форманты: “смычные” суффиксы-детерминативы (**-k-*, **kʰ-*, **-g-*, **-gh-*, **-gʰ-*); в той же роли, по-видимому, могут выступать все смычные согласные. Особняком стоят дентальные: **-t-*, *-d-*, *-dh-*. Выше мы показали, что функция этих формантов вырисовывается более четко, чем у многих других. Они придают глаголу значение завершенности и/или стремления к пределу. Их происхождение – общее с суффиксами отглагольных причастий. В некоторых языках дентальные производные вошли в грамматическую систему глаголов. К ним восходит 1) оскский дентальный претерит и субъюнктив (оск. *dedikatted* = лат. *dedicavit* “посвятил”, оск. *tribarakattins* =

лат. *aedificaverint* “они бы построили”); 2) по-видимому, германский дентальный претерит²²; 3) так называемые куративные глаголы в литовском языке, обозначающие действие, к которому субъект побуждает других. Можно предположить, что дентальные детерминативы имеют общее происхождение с показателем ед. ч. глагола **-r-*: их общее значение – единичность деятеля или действия [Красухин 2004: 66–67].

4.1. Несколько особняком стоит назальный детерминатив. Он отличается от смычных тем, что стоит перед ними, образуя морфонологическую структуру **-néC/*-nC-*. Помимо смычных, к нему могут присоединяться детерминативы **-u-* и **-H-*. Поскольку новый комплекс оттягивает в “сильных” формах ударение на себя, то корень по всей парадигме находится в нулевой ступени. Он может присоединяться к глагольному корню и без других формантов: ср. приводившееся авест. *yenāti* “находить”, возможно, и греч. *δόκω* “кусать”, презенс, образованный от аориста *ἔδοκον* < и.-е. **dnk-* (ср. др.-инд. *daṣati*).

4.2. Весьма разнообразен по форме и функции сигматический аффикс: **-és-/s-/s^h/j^h/*Hs^h/_o*. Он образует презенсы, аористы, футурумы и дезидеративы. Сигматический презенс обозначает либо терминативное действие (др.-инд. *éti* “идти” – *eṣati* “приводит в движение”, *iṣnāti*, *iṣyati* “посылать”), либо интензивное, совершающееся с усилием (*bhāvati* “становиться” – *bhuṣāti* “быть сильным”²³). Значение футурума и дезидератива вполне самоочевидно. Отметим также йотовый производный суффикс **-s-io-*, видимо, изосемантический **-so-*. Он представлен в древнеиндийском и балтийском футуруме (*bhaviṣyāmi* ≈ лит. *būsiu*, ср. единственный пример такого футурума в церк.-слав.: *бъущащеie* “будущее”). Более распространен другой производный суффикс – **-sko-*. Ниже мы рассмотрим его значения более подробно. Близки к нему также суффиксы **-sto-* и **-sso-*, о которых также речь пойдет далее.

4.3. Йотовый суффикс, по-видимому, придавал глаголу значение длительности. Во всяком случае, у нас нет примеров его функционирования в презентной и аористной системе. Будучи изначально тематическим, он сочетался по преимуществу с нулевой ступенью корневого вокализма: таково большинство глаголов древнеиндийского IV класса: (*pusyati* “процветать”). По-видимому, более позднее явление – его распространение на глаголы с полной ступенью. Это – так называемое “мягкое” спряжение в литовском, противопоставленное презенсам с нулевой ступенью вокализма, суффиксом *-sta-* или инфиксом *-n-*: (*žmogùs mērķia (līnā)* “(человек) мочит (лен)” – (*līnas mīrksta* “(лен) мокнет”, (*vaikas kēlia (raūka)* “(человек) поднимает (руку)” – (*vėjas kyla* (< **ki-n-la*) “(ветер) поднимается”). Возможно, переходные глагольные формы восходят к атематическим (ср. др.-инд. *hanti* “бить, ударять”, хет. *kuenzi* то же – греч. *θείω*), от которых они и унаследовали ступень вокализма. Йотовый суффикс может также присоединяться к окситонной основе, образуя каузативы и итеративы: **bhoré-* “несущий” + *-io-* > **bhoréio-* “быть несущим > носить регулярно; побуждать нести”. Связь значений итеративности и каузативности прослежена Б.А. Серебренниковым на материале многих языков и отмечена к числу фреквенталий [Серебренников 1974]. Древнеиндийские деноминативы образовались путем позднего передвижения акцента (не приведшего к изменению вокализма). По-видимому, оно служило для различения деноминативов и итеративов, когда последние утратили свою собственно отыменную функцию.

4.4. Авторы LIV и их предшественники [Rasmussen 1993] представили интересные аргументы в пользу того, что суффикс неактивных глаголов (названных ими фиентивами) содержит в своем составе ларингал и должен восстанавливаться как *-Hi^h/_o*. Но, как мы уже отмечали, удлинение, предполагающее наличие ларингала, имеет место не во всех

²² Как известно, другие гипотезы связывают слабый претерит в германском с вспомогательным глаголом **dhe-*: гот. *habaidedun* < и.-е. **cape-* + **dhedhont* “они установили владение” [Hirt 1908: 201] или же с переразложением формы типа 2 л. ед. ч. гот. *habaida* < и.-е. **cape-thes*, где флексия подобна окончанию 2 л. медиального претерита в др.-инд. *-thas* [Krause 1953]. Но Э.А. Макаев показал, что слабый претерит в древнегерманских языках свойствен по большей части отыменным глаголам, и это делает наиболее вероятным его связь с причастием [Макаев 1977].

²³ Того же корня и общеслав. *bystrъ* < и.-е. **bhus-ro*.

корнях. Поэтому, очевидно, здесь следует предполагать наличие дублетов $*i^{\acute{e}}/_{\sigma}$: $*H^{\acute{e}}/_{\sigma}$, аналогичное дезидеративным $*s^{\acute{e}}/_{\sigma}$: $*Hs^{\acute{e}}/_{\sigma}$. Инактивное значение объясняется окситонезой основы – ударностью тематического гласного. Что же касается $*\bar{e}$ -, то, как мы отмечали, нет нужды восстанавливать ларингал для объяснения его долготы. Отметим еще один формант, возможно, связанный с йотовым суффиксом. Это показатель пассивного аориста: др.-инд. *ápādi* “он упал”, *ásrāvi* “он был услышан”, арм. *berim* “я принесен”. По мнению многих авторов [Schmidt 1985; Jasanoff 1979], в основе этих форм лежит все тот же йотовый показатель, подвергшийся редукции в результате рецессии ударения. Древнеиндийский же пассивный аорист унаследовал ступень *o* от инактивного перфекта. Согласно этой точке зрения, его развитие следует представить так: $*klu-i^{\acute{e}}/_{\sigma}$ -*klou-i^{\acute{e}}/_{\sigma} → *klou-i* (под влиянием аориста $*kleu-t$, др.-инд. *ásrot*). Впрочем, имеются и другие точки зрения. С. Инслер [Insler 1970] сравнивал форму пассивного аориста с 1 л. медиального аориста (др.-инд. *ákri* “я сделал для себя/был сделан” – *ákāri* “он был сделан”) и видел в форманте *-i* след ларингала (не объясняя, правда, каким образом показатель 1 лица $*H$ - мог перенестись на третье лицо). Т. Барроу [Barrou 1976] полагал, что в основе пассивного аориста лежит именная форма: ср. греч. τρέφω “кормить” – τρόφις “огромный < выкормленный”. Свод мнений см. в [Kümmel 1996].*

5. Теперь рассмотрим морфологические механизмы образования различных презенсов и прочих производных времен. Собственно говоря, они были достаточно четко описаны Кёйпером [Kuiper 1937]. Первичные корни имели структуру CVCV- (с редукцией безударных: CVC_v-/C_vCV-) ²⁴, суффиксы – CV-; при присоединении суффикса к корню ударение смещалось на суффикс. Схематически можно описать этот процесс так: CVC_v- + VC- → C_vCVC- (CCVC). По мнению Кёйпера, корни с подобной структурой характеризовали презенс, тогда как в аористе происходила рецессия ударения: CCVC- → CVCC-. Это положение иллюстрируется сопоставлением и.-е. $*ter$ - “двигать(ся)” → $*trés$ - “дрожать, пугаться” (др.-инд. *trásate*, греч. τρέω) → $*tér$ s- (примеры см. выше). Согласно закону правостороннего акцентного сдвига [Красухин 1998], сдвиг ударения направо придает глагольной форме значение непереходности, неконтролируемости процесса субъектом, нереальности события (потенциальности или долженствования) или пассивного результата. Иногда это значение появляется и в данной подсистеме: и.-е. $*genH$ - “рожать” (др.-инд. *janáyati*, лат. *gigno*) – $*gn^{\acute{e}}H^{\acute{e}}/_{\sigma}$ “рождаться” (др.-инд. *jāyate*, греч. γίγνομαι) – $*gn^{\acute{e}}/_{\sigma}H$ “знать” (др.-инд. *ṛvóska*); $*nek$ - “нести, двигать” (церк.-слав. *несѣ*, лит. *nešti*, ср. греч. ἵνευκον) – $*nk-\acute{e}$ - “достигать” (др.-инд. *áśnōti* < $*nk-n-\acute{e}u-ti$, аорист *ásta*). Следует заметить, что др.-инд. глагол в полной ступени *násati* не является полностью переходным: он означает “достигать, встречать”. Но, в отличие от *áśnōti*, он всегда имеет при себе указание на лицо или предмет, которого достигает субъект. В основном передвижение здесь акцента не образует диатезных различий. Оно носит уже иной характер. Его функцию можно определить так: противопоставление недетерминированных форм детерминированным, немаркированными – маркированными. Морфема, присоединяющаяся к корню справа, и носит детерминирующий характер, подчеркнутый передвижением на него ударения. При этом передвижении акцента за морфему, на тематический гласный сохраняет свое диатезное значение: так формируются тематические аористы, которые в древнегреческом и литовском нередко непереходны и указывают на неконтролируемое событие. Такое понимание детерминированной формы отличается от предложенного Я. Сафаревичем [Safarewicz 1965] как морфологическое от семантического. По мнению польского исследователя, детерминированный презенс указывает на стремление действия к завершению. Следует отметить, однако, что большинство глагольных детерминаторов придает корню именно такое значение – перфективность в претерите, терминативность в презенсе. Между маркированностью плана выражения и плана содержания существует несомненная параллель.

²⁴ C – согласный, V – полнозвучный гласный, v – редуцированный.

5.1. Очевидно, формирование диатезных оппозиций в чистых глагольных основах, составивших так называемую аблаутно-акцентную парадигму [Красухин 2004: 347–349], произошло в иное время, чем аспектуальных. Для определения их относительной хронологии целесообразно вспомнить другие примеры окситонезы, не подчиняющиеся Закону Правостороннего сдвига, к примеру, флексии множественного числа имени и глагола: и.-е. **péd-s* “нога” – мн. ч. *pódes* > **pedés/podés* (др.-инд. *pát – pádah*, греч. ποῦς – πόδες); и.-е. **éi-m-i* “идти” – 1 л. мн. ч. **i-mé-s/-n* (греч. εἶμι – ἴμεν, др.-инд. *émi – imáh*). В литературе нередко высказывалось вполне аргументированное мнение о том, что флексии мн. ч. сформировались позже, чем ед. ч. ([Тронский 1946]; некоторые дополнительные аргументы см. [Красухин 2004: 47–48]). Следовательно, детерминирующая функция ударения сформировалась после того, как закон правостороннего акцентного сдвига перестал действовать. Таким образом, период оформления аспектуальных оппозиций, когда ударение еще оставалось силовым (редукция безударных), но утратило одно из своих важных значений, непосредственно следовал за периодом аблаутно-акцентной парадигмы.

6. Теперь, рассмотрев морфологию глагольных аффиксов, вернемся к тому, с чего мы начали работу: каково было их значение. Рассмотрим основные аргументы Семеренки и Шмитт-Брандта против реконструкции аспектов в праиндоевропейском. Оба исследователя утверждают, что категория аспекта чужда большинству индоевропейских языков. Она актуальна только для древнегреческого и славянских языков, причем славянский вид – по-видимому, позднее явление. Его развитие явно связано с префиксацией, т.е. данная категория здесь не может быть архаичной²⁵. Во всех же остальных языковых группах темпоральные оппозиции не выражают аспектуальных противопоставлений. На наш взгляд, это справедливо лишь отчасти. Так, в хеттском языке налицо оппозиция, напоминающая видовую. Презенс на *-sk-*, регулярно образующийся от любой глагольной основы, выражает действие повторяющееся, длительное или привычное, в противопоставлении простому презенсу, не имеющему такого значения. В хеттском претерите противопоставлены по крайней мере три формы. Синтетический претерит (*iian-nin* “я сделал”) нейтрален в видовом отношении, он выражает общефактическое значение. Претерит, образованный с помощью так называемого супина II (отглагольного имени с суффиксом *-uan-#*) и вспомогательного глагола *da-* “ставить”/*tiia-* “делаться” обозначает начинательность: E^{MES} *SUNU karipuiuan dair* (BoTU 23 A 21 f.) “ваши дома они уничтожать стали”. Наконец, перфект, т.е. претеритальное причастие + вспомогательный глагол *har-* “иметь, держать” имеет значение завершеного действия (*iian harzi* “сделал, завершил дело”). Конечно, эта аспектуальная система не до конца грамматикализована. Так, сочетание супина с вспомогательным глаголом в настоящем времени передает презентное событие, тогда как перфект относится к сфере сугубо прошлого: связка в настоящем времени образует собственно перфект, а в прошедшем – плюсквамперфект. Трудно согласиться также с утверждением об отсутствии аспектуальных отношений в латыни. Разница между перфектом и имперфектом заключается в том, что первый указывает на действие, ограниченное во времени, второй – на неограниченное [Тронский 1960]. Из этих базовых значений развивались и иные. Так, имперфект мог обозначать повторяющееся действие (лат. *cotidie accusabam* “я обвинял каждый день”, – Ter. Neaut. 102) или событие, вошедшее в обычай (*optumi quique expectabant a me doctrinam sibi* “все самые лучшие ждали от меня урока для себя”, – Plaut. Most. 155). Л. Палмер указывал на то, что латинский имперфект может обозначать и действие, переживаемое говорящим, тогда как перфект отражает окончательно завершенное к моменту речи событие: *lacrumans tacitus auscultabat* (Plaut. Bach 983) “он молча слушал, плача”, но *fuius Troiani, fuit Ilium* “были (когда-то) мы троянцами, был (когда-то) Илион” [Palmer 2000:

²⁵ По мнению В.И. Абаева [Абаев 1965: 70], развитие перфективирующего значения в славянских префиксах связано с иранским влиянием: в древнеперсидском и авестийском языках подобное значение еще неявно, а в осетинском оно выражено так же резко, как и в славянских.

334–336]. В балтийских языках присутствует категория так называемого многократного претерита: лит. *jis dirbo* “он (по)работал” (нейтральный в видовом отношении глагол) – *jis dirbdavo* “он работал (долго и много)” [Грамматика 1985: 213–214]. Если согласиться с М.М. Маковским [Маковский 1955; 1959] и цитируемым Семереньи мнением В. Скалички о том, что германский префикс *ga-* вовсе не аспектуален, то можно прийти к выводу о том, что только в германских и, возможно, кельтских языках отсутствуют аспектуальные оппозиции в глаголе. Таким образом, главный аргумент против существования аспектных отношений в праиндоевропейском языковом состоянии оказывается недостаточно убедительным.

6.1. В отличие от двух названных исследователей, А. Эрхарт кладет аспектуальную оппозицию на основу своей реконструкции глагольной системы [Ehart 1989]. Со свойственным ему изяществом выдающийся чешский лингвист сводит всю систему аспектов к трем основным семам: перфективность (завершенность) – дуративность – итеративность²⁶. Тем самым устанавливается изоморфизм глагольного аспекта и подсистем числа в глаголе и имени: перфективность соответствует единичности, дуративность – нейтральности²⁷, итеративность – множественности. Это сопоставление тем более интуитивно, если учесть, что система окончаний чисел и глагольных детерминативов формировалась, как мы отмечали, в одно время. Большинство глагольных детерминативов, по мнению А. Эрхарта, придавали корню именно перфективное значение, но их комбинация, как правило, обращала глагол в итератив. Часть итеративов утрачивала свое специфически мультипликативное значение, превращаясь в простые дуративы. Как мы уже упоминали, именно подобным образом А. Эрхарт объясняет функционирование назальных презенсов. Это настолько важная идея, что представляется необходимым ее дополнить.

6.1.1. Суффикс **-sk-*, по блестящей догадке Бругмана, является составным по происхождению. И если сигматический суффикс широко известен и распространен, то **-k-* представлен значительно меньше. Его можно диагностировать в греческих аористах типа $\epsilon\theta\eta\kappa\alpha$, $\epsilon\delta\omega\kappa\alpha$, $\eta\kappa\alpha$. То обстоятельство, что здесь он встречается только в единственном числе, побудило некоторых исследователей видеть в нем чисто фонетический элемент: **dheH-m* > **dhēk-m*, но подобный фонетический процесс выглядит совершенно неубедительно: после ларингала сонанты в греческом не приобретают слогового качества. Подобный процесс предполагался для перфекта, где глайд мог возникнуть на стыке двух ларингалов (**dhe-dheH-He* > греч. $\tau\acute{\epsilon}\theta\eta\kappa\alpha$), но предположить влияние основы перфекта на аорист у нас нет оснований. Суффикс *-k-* встречается и в именах: греч. $\theta\acute{\eta}\kappa\eta$ “склад” = др.-инд. *dhākā*; то же можно сказать о *-sk-*: лат. *esca* = лит. *eskā* “еда” (< **ed-ska*). Основные функции данного суффикса следующие.

(1) Итеративность. Ярче всего она проявляется в греческих имперфектах с суффиксом *-sk-*: $\eta\tilde{\nu}$ “я был” – $\epsilon\sigma\kappa\omicron\nu$ “я бывал, находился”, $\epsilon\phi\epsilon\upsilon\gamma\omicron\nu$ “я бежал”, $\epsilon\phi\upsilon\gamma\omicron\nu$ “я убежал” – $\phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\sigma\kappa\omicron\nu$, $\phi\upsilon\gamma\epsilon\sigma\kappa\omicron\nu$ “я бегал”. Как мы упоминали, итеративное значение он имеет и в хеттском, но здесь картина несколько иная [Dressler 1968]. В хеттских законах он часто употребляется в хабигуальном значении: *daskir* “(обычно) брали”, *peskir* “(обычно) давали”. Ср. еще: хет. *suppalanna hannessar issit kui[ē]s ÚL memiskanzi* (KUB 30.11 + 31.135 Vs. 12) “ты принимаешь решения по судебным делам животных, которые не говорят”.

²⁶ Следует отметить, что подобные классификации были известны в русской грамматической традиции. К примеру, А.А. Потебня [Потебня 1941] различал глаголы совершенного, несовершенного и множественного видов.

²⁷ Нейтральность в имени и глаголе – особая категория, противопоставленная как единичности, так и множественности. Она означает, что предмет представлен в виде недискретной, но и не континуально всеохватывающей сущности. Ср. русск. *снег* – нейтральный предмет, *снежинка* – дискретный, *снега́* – так называемое континуальное множество, могущее быть интерпретированным так: “пространство, целиком заполненное снегом”. Аналогичный ряд образуют *песок* – *песчинка* – *пески* и некоторые другие имена, обозначающие предметы, делимые на однотипные единицы.

Иногда глагол на *-sk-* описывает единичную ситуацию, следовательно, его нужно трактовать скорее как интенсив: хет. *nu mān handān ammel DUMU.MUNUS.YA sanhiskisi* (VBoT 2 Vs. 7–8) “если ты действительно доискиваешься моей дочери”²⁸.

(2) В латыни производный от него суффикс *-esc-* придает глаголу значение начинательности: *albesco* “белеть, становиться белым” – *albeo* “быть белым” (*albus* “белый”), *rubesco* “становиться красным” – *rubeo* “быть красным” (незасвидетельствованное исконно лат. **rubus* < **roudhos* заменено сабелльским заимствованием *rufus*; ср. *ruber* “рыжий”, *rubigo* “ржавчина”). Помимо этих отыменных глаголов, имеются и производные от первичных глаголов с суффиксом *-sc-*: лат. *creare* “творить” – *crescere* “расти” (тот же корень с простым сигматическим суффиксом представлен в слав. *кресати*, *кресити* “зажигать огонь”). Примечательно, что ту же роль в хеттском выполняет суффикс *-es-*, образованный, подобно *-esc-*, из долгого *-e-* и сигматического суффикса: *danatia-* “пустой” – *danattesz-* “пустеть”, *tepu-* “маленький” – *tepuueszi* “уменьшаться”, *palhi-* “широкий” – *palheszi* “расширяться”.

(3) Суффикс **-sk-* образует презенс от аористных корней, как правило, тематических или корневых. В древнегреческом эти глаголы образуют VII класс: $\acute{\epsilon}\beta\eta\nu$ – $\beta\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ “приходить”, $\acute{\epsilon}\mu\omicron\lambda\omicron\nu$ – $\beta\lambda\acute{\omega}\sigma\kappa\omega$ то же, $\acute{\epsilon}\delta\rho\alpha\nu$ – $\delta\iota\delta\rho\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$ “убегать”, $\acute{\epsilon}\theta\alpha\nu\omicron\nu$ – $\theta\eta\acute{\eta}\sigma\kappa\omega$ “умирать”, $\acute{\epsilon}\kappa\alpha\lambda\epsilon\sigma\alpha$ – $\kappa\iota\kappa\lambda\acute{\eta}\sigma\kappa\omega$ “звать”, $\acute{\epsilon}\upsilon\rho\nu$ – $\epsilon\upsilon\rho\acute{\iota}\sigma\kappa\omega$ “находить” и др. Ср. др.-инд. *agāt* – *gachati* (= $\acute{\epsilon}\beta\eta$ – $\beta\acute{\alpha}\sigma\kappa\omega$), *arṣat* – *ṛchati* “идти” и т.д.

(4) Этот суффикс может образовывать аористы: армянский так называемый цойный аорист типа *berik'* возводится к **bher-isk-et*.

(5) В тохарском В данный суффикс образует каузативы (см. ниже).

(6) В законах XII таблиц встречается глагол *escit* “будет”. Его значение можно определить как указание на нереперентное время: он употребляется в протасисе, указывая на возможное, но не обязательно наступающее событие: лат. *si furiosus escit* (V 7) “если он будет безумным”. В этой функции употребляются также модальные формы на *-s-* (лат. *faxit* “(если) сделает”, *clepsit* “(если) украдет”) и футурумы I и II (лат. *habebit, fecerit*). Б. Дельбрюк [Delbrück 1897: 64] полагает, что в трех контекстах у Гомера глагол $\acute{\epsilon}\sigma\kappa\epsilon$ имеет значение долженствования: $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\acute{\iota}$ $\sigma\phi\iota\sigma\iota\nu$ $\acute{\epsilon}\rho\mu\alpha$ $\pi\acute{\omicron}\lambda\lambda\eta\sigma$ // $\acute{\epsilon}\sigma\kappa\epsilon$, $\kappa\alpha\acute{\iota}$ $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\delta\alpha\lambda\acute{\omicron}\varsigma$ $\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\omicron\nu$ (Ил. XVI 549–551) “ведь для них он был опорой города, даже и будучи чужим”; $\omicron\upsilon$ $\gamma\acute{\alpha}\rho$ $\mu\epsilon\acute{\iota}\lambda\iota\chi\omicron\varsigma$ $\acute{\epsilon}\sigma\kappa\epsilon$ $\pi\alpha\tau\acute{\eta}\rho$ $\tau\epsilon\acute{\omicron}\varsigma$ $\acute{\epsilon}\nu$ $\delta\alpha\acute{\iota}$ $\lambda\upsilon\gamma\rho\acute{\eta}$ (Ил. XXIV 739) “не был добрый отец на печальном пире”; $\acute{\epsilon}\nu$ $\delta\acute{\iota}$ $\gamma\upsilon\nu\acute{\eta}$ $\tau\alpha\mu\acute{\iota}\eta$ $\nu\acute{\upsilon}\kappa\tau\alpha\varsigma$ $\tau\epsilon$ $\kappa\alpha\acute{\iota}$ $\acute{\eta}\mu\alpha\rho$ // $\acute{\epsilon}\sigma\chi'$, $\acute{\eta}$ $\pi\acute{\alpha}\nu\tau'$ $\acute{\epsilon}\phi\upsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\epsilon$ $\nu\acute{\omicron}\omicron\upsilon$ $\pi\omicron\lambda\upsilon\delta\rho\epsilon\acute{\iota}\eta\sigma\iota\nu$ (Од. II 345–346) “там была дни и ночи ключница, которая все охраняла мудростью своего ума”. В случаях (1) и (3) можно видеть оттенок долженствования, а в (2) – невозможности. Дельбрюк осторожно предполагает, что эта слабая модальность и могла быть первичным значением глагола $\acute{\epsilon}\sigma\kappa\omega\nu$, так что свое итеративное значение глагол приобрел только по контрасту с $\acute{\eta}\nu$. Нам это представляется сомнительным: ведь долженствование и невозможность приписываются данным формам только исходя из контекста: на их месте могли стоять и иные глаголы. Наличие же простого индикативного имперфекта в (3) подтверждает комбинаторную обусловленность модального значения.

6.1.2. Как можно видеть, значительная часть функций суффикса **-sk-* роднит его с сигматическим суффиксом, а именно функции (2–6). Ср. сигматический презенс от асимматического аориста: греч. $\acute{\alpha}\lambda\acute{\epsilon}\xi\omega$ “защищать” (= др.-инд. *rakṣati*) – $\acute{\eta}\lambda\alpha\lambda\kappa\omicron\nu$. Каузативность же сигматического суффикса проявляется в древнегреческом: $\acute{\epsilon}\delta\upsilon\nu$ “я погрузил” – $\acute{\epsilon}\delta\upsilon\nu$ “я погрузился”, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\eta\sigma\alpha$ “я поставил” – $\acute{\epsilon}\sigma\tau\eta\nu$ “я встал”, $\acute{\epsilon}\beta\eta\sigma\alpha$ “я отправил” – $\acute{\epsilon}\beta\eta\nu$ “я пошел” и т.д. (см. также 0.2). Это дополнительное значение суффикса становилось предметом дискуссий: одни исследователи полагали, что это – исконная функция суффикса [Kretschmer 1949], другие подчеркивали ее преходящий и сугубо факультативный характер [Перельмутер 1977: 70]. Мы же отметим, что каузативная функция развивается и в итеративах: др.-греч. $\phi\omicron\rho\acute{\epsilon}\omega$ “носить” ($\phi\acute{\epsilon}\rho\omega$ “нести”), но $\tau\rho\epsilon\mu\acute{\epsilon}\omega$ “пугать” ($\tau\rho\epsilon\mu\omega$

²⁸ На некоторые из этих примеров обратил мое внимание А.В. Сидельцев.

“дрожать”). Итак, суффиксы *-s/-sk-* могут совпадать во всех значениях, кроме итеративного. Хорошо известен и их параллелизм на лексико-морфологическом уровне: лат. *pasco* “пасти”, тох. В *pask-* “охранять” – русск. *нацму*, хет. *pahsai* “наблюдать”, тох. А. *pas-*. Отметим также, что другие суффиксы, производные от *-s-*, могут выполнять сходные с ними функции. Так, суффикс *-st-* образует презенс от непереходных корней в нулевой ступени вокализма в балтийских языках (ср. лит. *mėrkia* “он сыплет”, претерит *mėrke*, но лит. *mirksta* “сыплется”, претерит *mirkō*). В лувийском языке известен итеративный презенс на *-ss-*, строго соответствующий хеттскому *-sk-*; аналогично каузатив на *-s-* в тохарском А соответствует тохарскому В каузативу на *-sk-*.

Ж.-П. Леве [Levet 1975] отмечал в этой связи, что глаголы на *-st-* встречаются и в тохарских языках: А *kārst*, В *kārst* “резать”, ср. хет. *karaszi*, греч. κείρω то же. Интересно отметить, что тохарские глаголы образуют назальный презенс: ср. форму 3 л. ед. числа презенса тох. А *kārsnās*, В *kārsnāt*. Это напоминает чередование суффикса *-st-* и назального инфикса в литовских терминативных глаголах.

6.2. Вообще, сигматический аффикс играл очень большую роль в системе тохарского глагола. С его помощью образованы презенсы VIIa и VIIb в обоих тохарских языках; а с помощью суффикса *-sk-* – IXa и IXb-классы, а также (с назальным инфиксом) – классы Xa и Xb. О. Хакштейн подчеркивает разнообразие форм презенсов VIII. Во-первых, в тохаристике принято различать презенсы VIIa и VIIb. Морфология самих презентных форм не дает оснований для четкого различия. Поэтому классификация основывается на различных валентностях: глаголы класса VIIa сочетаются с конъюнктивом I (тох. А индикатив *ersām* “звать”, конъюнктив *ertar*), а глаголы VIIb – с конъюнктивом II (тох. А индикатив *raksau* “укрывать” – конъюнктив *rāsām*)²⁹. Значительная часть этих глаголов каузативна в том смысле, что образует переходные презенсы от непереходных корней: тох. А *krāmpetār* “разрушается” – *kramsām* “он препятствует”, *pālk-* “гореть” – *pālksām* “жечь, мучить”, *rākoentār* “они бы укрылись” (презенс оптатива) – *raksau* “я укрываю”. Такое же значение может иметь и суффикс *-sk-*: *cukemar* “я скрываюсь” – *tukāstār* “он скрывает”, *rittētār* “быть связанным” – *rittāskau* “я связываю”. По большей части сигматические глаголы отражают нулевую ступень корневого вокализма. Это их отличает от таких сигматических глаголов, как греч. ἄεξω “расти”, ἔψω “варить”. Но аналог ἄεξω – тох. А презенс IXa *auksāssām* (с конъюнктивом IV *auksi-*), по мнению О. Хакштейна [Hackstein 1995: 160], – единственный пример глагола с полной ступенью вокализма. По-видимому, в конечном итоге сигматические тохарские презенсы происходят из тех же окситонных вариантов сигматической глагольной основы, что и древнеиндийские дезидеративы: суффикс *-s^h/o* в одном случае развил модальное значение, в другом – утерял собственные тематическим формам специфические черты. Некоторые авторы сравнивали их с конъюнктивами аориста; если речь идет о древнейшей форме конъюнктива с нулевой ступенью, то такая реконструкция идентична вышеприведенной.

6.2.1. Что же касается их каузативного значения, то Хакштейн полагает, что оно развилось по аналогии с претеритом. Активный тохарский претерит в 3 л. ед.ч. оканчивается на *-s*; он противопоставлен медиальным непереходным формам: *nākat* “он погиб” – *nakās* “он погубил”, *lyokāt* (“ночь вдруг) засияла” – *lyokās* “он осветил”. По аналогии сигматический аффикс и в презенсе стал транзитивирующим. Эти данные представляют немалый интерес для нахождения истоков сигматического аффикса. Дело в том, что окончание *-s* в третьем лице претерита в хеттском характеризует глаголы спряжения на *-hi*, часть которых непереходна. Ср. хет. *arais* “поднялся” – *arāt* “поднял”³⁰. Именно по-

²⁹ Различие между конъюнктивами I и II заключается в том, что первый уподобляется атематическим глаголам, второй – тематическим [Krause 1952: 117–122]. Конъюнктив, подобный тематическому презенсу, унаследовал свои функции от праиндоевропейского языкового состояния. Атематический же конъюнктив, по мысли Дж. Ясанова [Jasanoff 1992], восходит к перфекту: инактивные формы часто получают модальное значение.

³⁰ Но при желании можно найти и обратное соотношение: хет. *pais* “он взял” – *pait* “он пошел”.

этому К. Уоткинс [Watkins 1962] и Ф. Бадер [Бадер 1989] полагали, что суффикс *-s-* был связан со сферой медиа. Но этому противоречит его каузативная функция, примеры которой приведены в 6.1.2. Не углубляясь в проблему, отметим, что Д. Ринге [Ringe 1990] восстанавливает наличие суффикса *-s-* во всей парадигме тохарского претерита, т.е., с его точки зрения, здесь представлен полноценный сигматический аорист. Вопрос о связи суффикса *-s-* с диатезной оппозицией требует специального исследования.

6.3. Таким образом, из представленного материала можно сделать следующие выводы. 1. Комбинация глагольных аффиксов действительно получает значение множественности действия, которая противопоставлена единичности. 2. Данная оппозиция, как и любая другая, может нейтрализоваться. Одним из вариантов нейтрализации может быть отмеченная А. Эрхартом “деградация”, т.е. превращение итеративов в простые дуративы. 3. Однако этим изменения значений не ограничиваются. Дальнейшим сближением в семантике перфективных простых суффиксов и итеративных комбинированных является развитие у последних терминативного или инхоативного значения, т.е. указания на возможный предел действия. Оно, как мы отмечали, особенно характерно для лат. *-esc-* и параллельного ему хет. *-es-*. 4. Терминативный презенс легко переходит в футурум. Это можно считать грамматической фреквенталией. 5. Наконец, оппозиция может полностью нейтрализоваться, и составные суффиксы приобретают перфективное значение.

7. Итак, как же все-таки решается вопрос об аспектах в праиндоевропейском языковом состоянии? Думается, можно согласиться с авторами LIV в том, что перечисленные аффиксы выражали не аспектные отношения, а обозначали различные способы действия. Но следует обратить внимание на то, чем аспект отличается от способа действия. Э. Хофман [Hoffmann 1955] подчеркивал, что аспект – это принадлежность только глагольной морфологической системы, тогда как способ действия может выражаться различными средствами – как грамматическими, так и лексическими, и может характеризовать не только глаголы (сам Хофман исследовал с этой точки зрения литовские звукоподражательные и звукоизобразительные частицы). Можно сказать и так: аспект – это сугубо грамматическая категория, а способ действия – скорее лексическая и словообразовательная. В чем здесь разница? Вообще, вопрос о грамматичности той или иной категории имеет большое методологическое значение. В последние три десятилетия одной из популярнейших в исторической лингвистике стала тема грамматикализации (см. две обобщающие работы [Heine, Kuteva 2002; Hopper, Traugott 2003]: эти авторы рассматривают грамматикализацию как превращение полнозначных слов в служебные показатели, следуя традиции, заложенной А. Мейе [Meillet 1912]). Но грамматикализацию можно понимать и шире – как внедрение любого языкового элемента в грамматическую систему, придание ему грамматического значения. Грамматическое же значение определяется следующими факторами. Словоизменительная граммема должна соединяться со всеми словами определенного класса (если в языке есть склонение, то все имена соединяются с падежными граммемами, не исключая и несклоняемые³¹ и т.д.), значение словоизменительного аффикса обычно узко, он выражает не собственно значение, а грамматическое отношение. Словообразовательный аффикс присоединяется не ко всем словам того класса, где он функционирует, он указывает на модификацию лексического значения, и его семантика, как правило, довольно неопределенна. И под грамматикализацией того или иного языкового элемента можно понимать приобретение им черт словоизменительного показателя.

7.1. Вопрос о строгом различении аспекта и способа действия подробно не рассматривался в научной литературе. Примечательно, что термин “Aktionsart” даже не упомянут

³¹ Именно поэтому мы употребляем здесь термин “граммема” как указывающий на определенное отношение, а не “аффикс” – формальный показатель. Падежные окончания в русском языке не присоединяются к несклоняемым словам, но падежная форма этих слов ясна в контексте (*кофе крепко; я выпил кофе* и т.д.).

в классической работе Б. Комри [Comrie 1976]. С нашей точки зрения, критерием грамматичности является укорененность аспекта в систему времен. Имеется в виду то, что, по крайней мере, в индоевропейских языках а) каждая временная глагольная основа имеет и какое-то аспектуальное значение; б) аспектуальные значения могут проявляться не во всяком времени. Так, совершенный вид и близкие ему значения в древнегреческом и латыни возможны только в претеритальных формах. Основа совершенного вида при присоединении к ней показателей презенса указывает на наступление какого-либо события. Такое значение довольно широко распространено в церковнославянском, древнерусском и языке русского фольклора. Ср. церк.-слав. *миль ми еси народо съ ѣко юже три дъни присѣдѣть мнѣ* (Лк., Мар.ев. VIII) “милы мне эти люди, которые садятся кругом”; *Обвернется Вольх ясным соколом*, // [В]звился он высоко по поднебесью [Кирша 1977: 35]; *А и стал он татаринoм помахивати*, // *Куды ль махнет* – тут и улицы лежат, // *Куды отвернет* – с переулками... *И только Илья слово выговорил*, // *Оторвется голова ево татарская*, // *Угодила та глава по силе вдоль*, // *И бьет их, ломит, вконец губит* [Кирша 1977: 133]. Приведенные контексты показывают, что такое совершенное настоящее время указывает на наиболее драматические, значимые события. В частности, оно часто возникает при описании сражения. В современном русском языке такая семантика у этой морфологической формы сохранилась в экспрессивной речи: начинательность выражается союзом *как*: *а он как крикнет!* Однако главное значение совершенного вида в презенсе – это будущее время, что было значительно менее свойственно древнерусскому языку. Можно полагать, что перед нами – две стадии грамматикализации аспекта. На зрелой стадии терминатив превращается в отдельное грамматическое время – футурум.

7.2. Исходя из этого, попробуем определить характер глагольной системы в праиндоевропейском. Очевидно, система способов действия стала превращаться в аспектуальную тогда, когда сформировалась категория аориста как основы, соединяющейся только с вторичными окончаниями, т.е. не допускающей перехода в презенс. Является ли такая категория архаичной? С одной стороны, мы убедились в существовании специфически презентных аффиксов (назального, йотового). С другой стороны, специальных показателей, которые были бы характерны только для аориста, не существует: сигматический суффикс, как мы могли убедиться, известен и в презенсе, и в футуруме. Соотношение типа др.-инд. *váhati – avakṣam* = лат. *veho – vexi* = церк.-слав. *везж – вѣсь* = греч. *ἔρχω* – памфил. *ἔξετω* дезавуируется обратной корреляцией: *ἀλέξω – ἥλαλκον*. Не имеет специфического аспектного значения редуцирующий слог, встречающийся во всех трех временных подсистемах: презенсе, аористе и перфекте.

7.2.1. Если же мы обратимся к морфологии презенса и аориста, то можем отметить любопытное обстоятельство. Во многих корнях презенс с полной степенью противопоставлен аористу с нулевой степенью: др.-инд. *vetti* “знать” – *ávidat* “он нашел”, греч. *λείπω* “оставлять” – *ἔλιπον*, *φεύγω* “бежать” – *ἔφυγον*, *τρέπω* “поворачивать” – *ἔτραπον*, лит. *liēka* “он оставляет” – *liko*, *velka* “он тащит” – *vilkō*, слав. *берж* – *бьрахъ*, *женж* – *гънахъ* и мн. др. С другой стороны, хорошо известно и обратное соотношение: презенс в нулевой степени соответствует аористу в полной степени: церк.-слав. *за-вьрж* – *за-врѣти* “запереть”, *про-стърж* – *про-стърѣти*, *мърж* – *мрѣти* [Vaillant 1966: 187–189]. Хр. Станг вывел общий закон: славянским презенсам в нулевой степени соответствует древнеиндийский корневой атематический аорист: *(за)-вьрж* – *ávar* “он схватил”, *стърж* – *ástar* “он развернул”, *жърж* – конъюнктив *garat*, *чъмж* – *acet*, тогда как презенсам в полной степени соответствует атематические презенсы: церк.-слав. *держ* – др.-инд. *darṣi*, церк.-слав. *берж* – др.-инд. *bharti*, церк.-слав. *женж* – др.-инд. *hanti* [Stang 1942: 33–34]. В этой связи можно отметить, что от этих аористов образуются презенсы производные (как правило назальные), но при этом с нулевой степенью корневого вокализма. Нередки колебания вокализма в одной основе: греч. *τρέφω/τρέφω*, *τέμνω/τάμνω*, *ρέζω/ράζω*; аористы *ἔταμον/ἔτεμον*. С нашей точки зрения, это однозначно свидетельствует о том, что связь аблаута с презентно-аористой системой вторична. Новая (по сравнению с категориями способов действия) категория аориста формировалась как противопоставленная кате-

гории презенса. В этих условиях происходила поляризация основы: в качестве аористной выбиралась наиболее отличающаяся от презентной. К этому следует прибавить, что апофонические чередования в презенсе и аористе свойственны глаголам с терминативной семантикой [Krasukhin 2003].

7.3. Отметим в заключение еще одно обстоятельство, свидетельствующее о вторичном различии презенса и аориста. Одна и та же основа в различных языках может относиться к разным временам. Ср. греческий аорист ἐϋένητο “стал, сделался” – древнеиндийский имперфект *ajanata*, так же соотносятся аорист ἔδωκεν “я укусил” и имперфект *adaśat*. Иногда такие колебания возможны и в одном языке. Греч. κλύω “слышать” – аорист ἔκλυον; презенсу в полной ступени στείχω “шагать” соответствует аорист ἔστιχον, но у Софокла (Antig. 1128) засвидетельствована форма στίχουσι с основой, идентичной аористической. От аориста ἐλίτομην образован йотовый презенс λίσσομαι, но в гомеровских гимнах встречается презенс λίτομαι [Delbrück 1897: 99]. Свойственны такие колебания и древнеиндийскому: с аористами *ádhāt, ádāt* связаны не только редуцированные, но и простые атематические презенсы *dhāti, dāti*. Они отличаются от аористов только первичными окончаниями. От аориста *amucat* образуется презенс *mūñcāti* “оставлять, покидать”, но в Ригведе (V 62, 1) известен и презенс *vi mucānti*³². Также форма *agamat*, по мнению Дельбрюка [Delbrück 1897: 97], – аорист, но в Ригведе известен и презенс *gamanti*. Все эти данные свидетельствуют о вторичности распределения глагольных основ на презентные и аористные.

8. Таким образом, мы можем, наконец, ответить на вопрос о времени формирования аспектуальных оппозиций и правомочности их экстраполяции на праиндоевропейский уровень.

8.1. На самых ранних этапах праиндоевропейского языкового состояния система аспектов не реконструируется. В период, когда была актуальна аблаутно-акцентная парадигма и действовал Закон Правостороннего акцентного сдвига, доступна реконструкция только временная оппозиция. Оппозиция же глагольных основ носила диатезный характер.

8.2. По окончании действия этого периода в праиндоевропейском начала бурно развиваться система выражения способов действия, которая, однако, носила скорее лексико-семантический и словообразовательный, чем словоизменительный характер. В этой связи целесообразно вспомнить идею Ф.Р. Адрадоса о трех периодах праиндоевропейского. Первый период – корнеизолирующий праязык, лишенный внешних флексий. Второй период – политематический, т.е. язык с начавшей развиваться системой словоизменительных и словообразовательных показателей; отражен в анатолийских языках. Третий период – период развитой флексии [Adrados 1967]. С нашей точки зрения, первый период отличался прежде всего подвижным ударением; следующий же за ним период охарактеризован Адрадосом удивительно точно³³. Система способов действия (вернее, ее следы) богато представлена именно в хеттском.

8.3. Впоследствии произошла грамматикализация этой системы: претерит глаголов со значением завершения действия превратился в аорист, т.е. основу, не допускающую при себе презентных окончаний. Это и послужило началом формирования системы аспектов. Противопоставление презенса и аориста имеет место в греческом, индоиранских, армянском, славянских языках. Следы аористных корней обнаруживаются также в латыни, литовском и древнеирландском. Вопрос о таких же следах в хеттском и тохарских языках остается *sub iudice*. Но, думается, можно экстраполировать образование аориста на поздние этапы праиндоевропейского языкового состояния. Возможно, это был тот общеиндоевропейский период, который уже не являлся праиндоевропейским: родственные друг другу диалекты с общими тенденциями развития.

³² Если это не мн. ч. от незасвидетельствованной формы атематического глагола **mokti*.

³³ Далее мы выделяем (на базе изменения в системе акцентуации) не один, а еще три периода праиндоевропейского. Но в данном случае это не столь важно.

8.4. Наконец, – last, but not least! Изучая аспектуальные суффиксы индоевропейского глагола, мы могли убедиться в том, что большинство из них являются общими для глагола и имени. Возможно, этим может объясняться большое количество показателей аспекта. Ведь известно много различных суффиксов отглагольных имен со сходной структурой и значением: *-tó-, *-dhó-, *-mó-, *-ró-, *-ló- образуют прилагательные со значением результата действия и отношения к действию. Они и подобные им форманты в конечном итоге сформировали и показатели способа действия. Известный тезис Е. Куриловича – любой отглагольный глагол в конечном итоге является отыменным [Курилович 1964: 84] – может стать основой для дальнейших исследований в области реконструированной индоевропейской аспектологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1965 – В.И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965.
Бадер 1989 – Ф. Бадер. Флексии сигматического аориста // НЗЛ. 1989. Вып. XXI: Новое в зарубежной индоевропеистике. М., 1989.
Барроу 1976 – Т. Барроу. Санскрит. М., 1976.
Белецкий 1955 – А.А. Белецкий. Современные задачи сравнительно-исторического языкознания // ВЯ. 1955. № 4.
Гамкрелидзе–Иванов 1984 – Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I–II.
Грамматика 1985 – Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985.
Кириша 1977 – Древние российские стихотворения, собранные Кириешю Даниловым / Под ред. А.П. Евгеньевой и Б.Н. Путилова. М., 1977.
Красухин 1998 – К.Г. Красухин. Акцентология в предистории индоевропейских языков // ВЯ. 1998. № 6.
Красухин 2000 – К.Г. Красухин. Движение на оси времени и глагольное время // Вопросы филологии. 2000. № 4.
Красухин 2001 – К.Г. Красухин. К этимологии греческого ΠΑΘΟΣ // Древние языки в системе университетского образования. М., 2003.
Красухин 2004 – К.Г. Красухин. Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология. Морфология. Синтаксис. М., 2004.
Макаев 1977 – Э.А. Макаев. Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.
Маковский 1955 – М.М. Маковский. Функции и значения глагольного префикса *ga-* в готском языке. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1955.
Маковский 1959 – М.М. Маковский. К проблеме вида в готском языке // Уч. зап. I МГПИИЯ. Т. XIX. М., 1959.
Откупщиков 1967 – Ю.В. Откупщиков. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
Перельмутер 1977 – И.А. Перельмутер. Индоевропейский и греческий глагол. Л., 1977.
Потебня 1941 – А.А. Потебня. Из записок о русской грамматике. Т. IV. М., 1941.
Серебренников 1974 – Б.А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
Сидельцев 1999 – А.В. Сидельцев. Среднехеттские глаголы с суффиксом *-sk-*: Дисс... канд. филол. наук. М., 1999.
Степанов 1989 – Ю.С. Степанов. Индоевропейское предложение. М., 1989.
Тронский 1946 – И.М. Тронский. К семантике множественного числа // Уч. зап. ЛГУ. Л., 1946.
Тронский 1960 – И.М. Тронский. Видо-временная система латинского глагола // Вопросы грамматики: Сборник в честь И.И. Мещанинова. Л., 1960.
Шировков 1981 – О.С. Широков. Современные задачи сравнительно-исторического языковедения. М., 1981.
Adrados 1963 – F.R. Adrados. Estructura et evolución dal verbo indoeuropeo. Madrid, 1963.
Adrados 1967 – F.R. Adrados. Zur Typologie der Indogermanischen // IF. Bd. 72. 1967.
Bader 1968 – F. Bader. ΕΙΚΩΣ, ΕΟΙΚΩΣ et le parfait redoublé en grec // BSLP. V. 63. 1968.
Bechtel 1936 – G. Bechtel. Hittite verbs in *-sk-*: A study of verbal aspect. Ann Arbor, 1936.
Brugmann 1892 – K. Brugmann. Wortbildungslehre (Flexion und Stammbildungslehre) // K. Brugmann, V. Delbrück. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 2. Leipzig, 1892.

- Cardona 1963 – *J. Cardona*. The Indo-European sigmatic aorist. Yale PhD. Diss., 1963.
- Chantraine 1974 – *P. Chantraine*. Dictionnaire étymologique de la langue grec. V. III. Paris, 1974.
- Comrie 1976 – *B. Comrie*. Aspect. Cambridge, 1976.
- Delbrück 1897 – *B. Delbrück*. Syntaktische Forschungen // K. Brugmann, B. Delbrück. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 4. Leipzig, 1897.
- Dressler 1968 – *W. Dressler*. Studien zur verbalen Pluralität. Wien, 1968.
- Drinka 1999 – *B. Drinka*. The oldest Indo-European aspect-tense system // XIII International conference on historical linguistics / Ed. by D. Stein, M. Schmidt. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
- Eichner 1975 – *H. Eichner*. Zur Vorgeschichte des hethitischen Verbalsystems // Flexion und Wortbildung: Akten der V. Tagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wiesbaden, 1975.
- Erhart 1989 – *A. Erhart*. Das indoeuropäische Verbalsystem. Brno, 1989.
- Georgiev 1975 – *V. Georgiev*. Die Entstehung der indoeuropäischen Verbalkategorien // Linguistique balcanique. Bd. 17. 1975.
- Hackstein 1995 – *O. Hackstein*. Untersuchungen zu den sigmatischen Präsensstambildungen des Tocharischen. Göttingen, 1995.
- Heine, Kuteva 2002 – *B. Heine, T. Kuteva*. World dictionary on grammaticalization. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Hirt 1908 – *H. Hirt*. Zur Ursprung der indogermanischen Verbalkategorien // IF. Bd. 17. 1907.
- Hirt 1928 – *H. Hirt*. Indogermanische Grammatik. Bd. IV: Doppelung. Zusammenfassung. Verbum. Heidelberg, 1928.
- Hoffmann 1955 – *E. Hoffmann*. Zum Aspect und Aktionsart // Corolla linguistica: Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955.
- Hoffmann 1967 – *K. Hoffmann*. Der Injunktiv im Veda. Wiesbaden, 1967.
- Hopper, Traugott 1993 – *P. Hopper, E. Traugott*. Grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Insler 1968 – *St. Insler*. Origin of Sanskrit passive aorist // IF. Bd. 73. 1968.
- Insler 1970 – *St. Insler*. Sanskrit *ipsāti* and *irtsāti* // IF. Bd. 73. 1970.
- Jasanoff 1973 – *J. Jasanoff*. The Germanic third weak class // Language. V. 49. 1973. № 4.
- Jasanoff 1979 – *J. Jasanoff*. Notes on the Armenian personal ending // KZ. Bd. 93. 1979.
- Jasanoff 1992 – *J. Jasanoff*. Reconstructing morphology: the role of *o*-grade in Hittite and Tocharian verb inflection // Reconstructing languages and cultures / E. Polomé, W. Winter (eds.). Berlin; New York, 1992.
- Jasanoff 2003 – *J. Jasanoff*. Hittite and the Indo-European verb. Oxford, 2003.
- Krasukhin 2003 – *K.G. Krasukhin*. The Indo-European tense system and quantitative ablaut // XVI International Conference on historical linguistics. Copenhagen, 2003.
- Krause 1952 – *W. Krause*. Westtocharische Grammatik. Bd. 1: Das Verbum. Heidelberg, 1952.
- Krause 1953 – *W. Krause*. Handbuch der Gotischen. Heidelberg, 1953.
- Kretschmer 1949 – *P. Kretschmer*. Die objective Konjugation im Indogermanischen. Wien, 1949.
- Kuiper 1934 – *F.B.J. Kuiper*. Zur Geschichte der indoiranischen *s*-Präsentia // Acta Orientalia. V. 12. 1934.
- Kuiper 1937 – *F.B.J. Kuiper*. Die indogermanische Nasalpräsentien. Amsterdam, 1937.
- Kümmel 1996 – *M. Kümmel*. Stativ und Passivaorist im Indoiranischen. Göttingen, 1996.
- Kümmel 1998 – *M. Kümmel*. Wurzelpräsens neben Wurzelaorist im Indogermanischen // HS. Bd. 111. 1998.
- Kuryłowicz 1964 – *J. Kuryłowicz*. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Levet 1975 – *J.-P. Levet*. Les présents en *-st-* en indo-européen: Les données tokhariennes // BSLP. V. 70. 1975.
- LIV 2001 – Lexicon der indogermanischen Verben / Hrsg. von H. Rix. Wiesbaden, 2001.
- Meillet 1908 – *A. Meillet*. Sur l'aoriste sigmatique // Mélanges F. de Saussure, Paris, 1908.
- Meillet 1912 – *A. Meillet*. L'évolution des formes grammaticales // Scientia. 1912. № 60.
- Meyer-Brügger 2004 – *M. Meyer-Brügger*. Zur idg. Sekundärwurzel **sued^h(h₁)-/*sued^h(h₁)-* // Indo-European word formation. Copenhagen, 2004.
- Narten 1968 – *I. Narten*. Zum "proterodynamischen" Wurzelpräsens // Pratidānam. Indian, Iranian and Indo-European studies presented to F.B.J. Kuiper on his sixtieth birthday. The Hague; Paris, 1968.
- Palmer 2000 – *L. Palmer*. Die lateinische Sprache. Hamburg, 2000.
- Pisani 1932 – *V. Pisani*. L'allungamento dei nomi indoeuropei // RIGI. 1932. № 6.
- Rasmussen 1993 – *J.E. Rasmussen*. The Slavic *i*-verbs with an excursus on the Indo-European *ē*-verbs // Comparative-historical linguistics: Indo-European and Finno-Ugric: Papers in honour Oswald Szemerényi / B. Brogyani, R. Lipp (eds.). Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Raucq 1947 – *E. Raucq*. Studie van de morfologie van het Indo-Europeesch verbum. Brugge, 1947.

- Ringe 1990 – *D. Ringe*. The Tocharian active *s*-Preterite. A classical sigmatic aorist // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. Bd. 51. 1990.
- Rix 1986 – *H. Rix*. Zur Entstehung des indogermanischen Modusystems. Innsbruck, 1986.
- Rix 2001 – *H. Rix*. Vorbemerkungen und Vorwort // *LIV*. 2001.
- Safarewicz 1965 – *J. Safarewicz*. Le présent déterminé et le présent indéterminé en indo-européen // *Studia linguistica in honorem Georgii Kuryłowiczi*. Wrocław, 1965.
- Schmidt 1985 – *K.H. Schmidt*. Die indogermanischen Grundlagen der armenischen Verbalflexion // *KZ*. Bd. 98. 1985.
- Schmitt-Brandt 1987 – *R. Schmitt-Brandt*. Aspekten im Indogermanischen? // *Journal of Indo-European Studies*. V. 15. 1987.
- Schwyzler 1939 – *E. Schwyzler*. Griechische Grammatik. München, 1939.
- Specht 1935 – *F. Specht*. Zur Geschichte der Verbalklasse auf \bar{e} // *KZ*. Bd. 62. 1935.
- Stang 1942 – *Ch. Stang*. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942.
- Streitberg 1894 – *W. Streitberg*. Die Entstehung der Dehnstufe // *IF*. Bd. 3. 1894.
- Szemérenyi 1985 – *O. Szemérenyi*. The origin of aspect in Indo-European languages // *Glotta*. V. 65. 1985.
- Vaillant 1966 – *A. Vaillant*. La grammaire comparée des langues slaves. V. III: Le verbe. Paris, 1966.
- Watkins 1962 – *C. Watkins*. The Indo-European origin of Celtic verb: The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
- Watkins 1973 – *C. Watkins*. Hittite and Indo-European studies: Denominative statives in $-\bar{e}-$ // *Transactions of the philological society* 1971. Oxford, 1973.
- Weinrich 1964 – *H. Weinrich*. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1964.

© 2005 г. Н. А. О'ШЕЙ

ГАЛЛЬСКИЕ И ЛЕПОНТИЙСКИЕ ФОРМЫ ПРЕТЕРИТА – ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И ВОПРОС ДИАЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ*

В данной статье рассматриваются галльские и лепонтийские формы претерита. Проведен детальный анализ исторической морфонологии и морфологии этого гетерогенного материала, высказаны несколько гипотез о происхождении отдельных морфем, и дана классификация форм в сравнении с древнеирландским материалом.

Задачей данной статьи является обзор исторической морфологии и фонологии галльских и лепонтийских форм прошедшего времени глагола.

В связи с тем, что галльский язык нам известен по надписям, большая часть которых представляет собой надгробные или посвячительные, очевидно, что количество глагольных форм, которыми располагают на данный момент ученые, сравнительно невелико. Имеющиеся же формы (помимо двух самых распространенных, о чем ниже) в основном происходят из более развернутых надписей, таких, как заклинательные тексты из Шамальер и Ларзака, надписи на чашах из Банассака и Ла Грофесенк и некоторых других; соответственно, большинство морфологических конструкций ученым приходится восстанавливать на основании единичных примеров. Однако, несмотря на ограниченность доступного нам галльского глагольного материала, его значение сложно переоценить.

Галльский является, можно сказать, первым по значимости источником наших знаний о континентальных кельтских языках. Начнем с того, что существует три алфавита, которые использовались носителями языка для его записи, и все три – заимствованные.

В Италии существует три больших надписи из Тоди [RIG E-5; Lambert 1994 : 74], Брионы [RIG E-1; Lambert 1994 : 72] и Верчелли [RIG E-2; Lambert 1994 : 76], в которых использован полусиллабический этрусский алфавит; его принято называть алфавитом Лугано, а сам корпус надписей – галло-этрусскими. С другой стороны, ареал на юге Франции, в районе Марсея (Gallia Narbonensis) дал ученым более шестидесяти надписей, выполненных греческим алфавитом. И, наконец, территориально наиболее широко распространен более поздний по времени создания, чем два первых корпуса, корпус галло-латинских надписей; некоторые из них представляют собой смесь из галльских и латинских слов. В общей сложности временной интервал существования письменно засвидетельствованного галльского охватывает период с IV века до н. э. до IV века н.э.

В связи с галло-этрусскими надписями необходимо подробнее остановиться на лепонтийском языке и его связи с галльским. Данный язык был выделен как самостоятель-

* Посвящая это небольшое исследование памяти моего учителя и коллеги Виктора Павловича Калыгина. Виктор Павлович был первым, кто познакомил меня с галльским языком; его лекции по Введению в кельтскую филологию и Сравнительной грамматике кельтских языков, а также частные консультации для меня, студентки, были неоценимы. Позднее, уже как самостоятельный исследователь, я всегда была счастлива общаться и сотрудничать с Виктором Павловичем; он всегда умел взглянуть на проблемы лингвистического исследования с неожиданной стороны, предложить новую идею и с исключительным вниманием и пониманием относился к работе молодых ученых.

Данное исследование проводится при поддержке пост-докторального гранта Совета по Гуманитарным исследованиям правительства Ирландии (IRCHSS).

ный Ф. Леженом [Lejeune 1970; 1971] на базе ранних надписей (самая известная и древняя из которых – надпись из Престино), обнаруженных на севере Италии, в районе озер Лаго ди Комо и Лаго Маджоре. Основными фонологическими критериями выделения лепонтийского как отдельного языка считаются следующие особенности:

ассимиляция *-nd-* > *-nn-*; леп. *-uinos* vs. галл. *vindo* – “белый”;

развитие в определенных позициях слогового сонанта η > *en* в отличие от галл. *an*; леп. *siTeś* < Acc. Pl. **sēdn̥s*;

сохранение *m* в окончаниях: леп. Acc. Sg. *Pruiam, Palam, uinom našom* vs. галл. *loKan* [RIG E-5; Uhlich 1999 : 278–280]¹.

К этому необходимо добавить важный морфологический критерий сохранения индоевропейского окончания родительного падежа единственного числа *o*-основ **-osio* в лепонтийских формах *xosioiso, Plioiso* (с метатезой), в то время как в галльском, как и в островных кельтских языках, эта флексия была заменена на **-i*: *Dannotali* etc.

В том же районе, как отмечалось выше, был распространен и цизальпинский галльский. Насколько я понимаю, именно это территориальное совпадение в первую очередь побудило Кима МакКона заключить в своих работах термин “лепонтийский” в кавычки и считать этот язык одним из ранних диалектов цизальпинского галльского [McCone 1996: 68–69]. С ним также склонен согласиться и Дж. Эска [Eska, Weiss 1996]. Авторы доказывают, что различия между лепонтийскими и цизальпинскими формами можно объяснить хронологической разницей. Так, флуктуации в написании *-ml-n* в конце слова имеют место даже в позднем трансальпинском галльском, например *materem* (Ларзак); выводы о развитии слогового сонанта вообще базируются на единственной сомнительно форме и т.д.

С другой стороны, рассуждения, касающиеся окончания генитива **-oiso*, представляются своего рода “палкой о двух концах” – одинаково невозможно доказать, является расхождение только хронологическим или же генетическим. Являются ли лепонтийские надписи примером ранней фиксации цизальпинского галльского, или же мы в них имеем свидетельство языка, стоящего не на непосредственной генетической прямой по отношению к галльскому, а в какой-то момент ответвившегося от нее. Мне кажется предпочтительным второе объяснение, предполагающее консервацию определенного диалекта в определенной области в определенный момент времени. Это, как кажется, может соотноситься и с сохраняющимися в лепонтийском архаизмами типа генитива на **-oiso*, и с совместными с галльским инновациями в глагольной системе, о чем см. ниже.

Вместе с тем, ввиду очевидного близкого родства лепонтийского с галльскими диалектами, представляется неоправданным и досадным тот факт, что лепонтийским надписям не уделяется достаточного внимания в объемных работах по галльскому языку, таких как RIG и “La langue gauloise” [Lambert 1994]. Очевидно, что параллельные лексические и морфологические лепонтийские и галльские формы должны рассматриваться вместе, и в настоящей работе именно так и поступим.

Итак, непосредственным предметом исследования являются формы прошедшего времени, то есть претерита. Известно, что в кельтских языках, так же, как и в италийских, произошло слияние индоевропейских категорий аориста и перфекта в общей категории претерита. Таким образом, среди кельтских претеритных форм, унаследованных от индоевропейского состояния, обнаруживаются формы, продолжающие перфект, сигматический аорист и даже – в нескольких случаях в древнеирландском – корневой аорист.

¹ Еще один замечательный факт лепонтийской фонологии, не имеющий прямого отношения к его идентификации как самостоятельного языка, но важный с точки зрения исторической фонологии кельтских языков вообще, – это существование рефлекса индоевропейского *p* в древнейшей надписи (Престино), в форме *ivatoKozis*. Это имя раскладывается как композит типа *bahuvrihi*: **hup-ŋo-g^host-is* “имеющий высоких гостей” [Eska 1998]. Графема алфавита Лугано, транслитерируемая латиницей как *V*, очевидно обозначает фонему *φ*, в которую ослабилась индоевропейское *p* в общекельтском, прежде чем окончательно исчезнуть.

Рассмотрим древнеирландский претерит как типичную для древних кельтских языков гетерогенную систему. Выделяется три класса образования претерита: *s*-претерит, *t*-претерит и бессуффиксальный претерит [GOI: 415ff; EIV: 51ff; McCone 1994: 162–171]. Формы *s*- и *t*-претерита этимологически восходят к индикативу индоевропейского сигматического аориста [Watkins 1962; McCone 1991].

Известно, что индикатив сигматического аориста был атематическим и отличался акростатической акцентуацией с продленной ступенью аблаута в сильной основе и нормальной огласовкой в слабой. В истории развития как *t*-претерита, так и *s*-претерита ведущую роль играют процессы ассимиляции и перераспределения. Так, в диахроническом аспекте, в основе *s*-претерита лежат аористные формы от глагольных корней с исходом на ларингал, такие как **h₂énh₁-s-t* vs. **h₂énh₁-s-ŋt* от и.-е. корня **h₂en_h₁-* “дышать”. Фонологически оправданное развитие данной оппозиции в кельтском дает **ínast* vs. **anasant*. Судя по рефлексу этого образования в древнеирландском, претериту 3 Sg. *anais/-an* от глагола *anaid* “остается” и многим другим, в оппозиции генерализуется слабая основа, ср. [McCone 1994: 163]. Более того, весьма возможно, что с этой генерализацией сопряжена тематизация. Однако форму 3 Sg. внедрение тематического гласного не затрагивает, так как на ее момент кластер в конце формы претерпеваает ассимиляцию, что дает 3 Sg. **anass*, противопоставленное остальной тематизированной части парадигмы, ср. 2 Sg. **anas-esi*, 1 Pl. **anas-omosi* etc. Заметим здесь, что оппозиция первичных и вторичных флексий, различавшая презенс и аорист в индоевропейском, не имеет в этом качестве значения для кельтского, и поэтому мы можем восстанавливать исход *-i* для флексий абсолютных форм. Следующим шагом в развитии будущего *s*-претерита является осмысление формы 3 Sg. **anass* как формы с суффиксом *-ss-* и нулевым окончанием: **ana-ss-ø*. При том, что формант *-s-*, оказавшийся в остальных формах в интервокальной позиции, неминуемо подвергался лениции и, возможно, дальнейшему ослаблению до нуля, вполне естественно, что новый неленирующий суффикс распространился на всю парадигму и стал маркером *s*-претерита, ср. [Watkins 1962: 174–180]. Интересно, что в итоге весь набор окончаний *s*-претерита соответствует тематическому спряжению, кроме окончания 3 Sg., индуцировавшего всю перестройку, которое так и остается нулевым!

С другой стороны, к тому же прототипу, т.е. индикативу сигматического аориста, восходит *t*-претерит. Он, в отличие от продуктивного *s*-претерита, по модели которого образуют формы прошедшего времени все слабые глаголы, строго ограничен группой глаголов от корней с исходом на сонорные, кроме *n*, а также корней с исходом на *g/ŋ*. Для истории данного типа претерита решающее значение также имеет ассимиляция в форме 3 Sg. Так, например, оппозиция 3 Sg. Aor. **b^hér-s-t* vs. **b^hér-s-ŋt* от и.-е. корня **b^her-* “нести” логичным образом развивается в кельтском в **bír-s-t* > **birt* vs. **bersant*. Исходя из огласовки древнеирландского рефлекса, 3 Sg. Pret. *bert* от глагола *beirid* “несет”, мы можем заключить, что и здесь была генерализована огласовка слабой основы².

Морфологически темная форма 3 Sg., подобно вышерассмотренной **anass* осмысляется как форма с суффиксом *-t-*, который становится новым маркером претерита и нулевым окончанием: **bír-t-ø*. В формах множественного числа типа 3 Pl. *-bertatar* рассматриваемый тип претерита вводит новые окончания, заимствованные у системы перфекта.

Таким образом, на синхронном древнеирландском уровне основным, хотя не абсолютно надежным критерием того, почему некий глагол образует тот или иной претерит, служит исход глагольного корня; так, *t*-претерит характерен для глаголов с исходом корня на сонорные, кроме *n*, например *bert*, *melt*, *ét*, и *g/ŋ*, например *acht*, *ort*; *s*-прете-

² К. МакКон, однако, считает возможным возводить др.-ирл. *bert* непосредственно к праформе с сильной основой **b^hér-s-t*, постулируя сокращение долгого гласного по Остгоффу перед группой “сонорный + шумный” и последующее расширение этого гласного [McCone 1991: 67]. Мы, однако, не видим причин для подобного усложнения схемы эволюции *t*-претерита, если гипотеза о генерализации слабой основы вполне отвечает требованиям фонологических законов.

рит характерен для корней с исходом на гласный, например *anaís*. Необходимо отметить, что в данном случае речь идет о фонетическом облике корня на общекельтском уровне, т.е. после прояснения ларингалов в *set*-корнях; так, глаголы с назальным презенсом типа *marnaid* “предаёт” < **merh*₂-, теряя в кельтском ареале исконный корневой аорист, заменяют его *T*-претеритом по образу и подобию глаголов от *aníċ*-корней: и.-е. **b^her* > о.-к. **ber-* (Pres. др.-ирл. *beirid* “несет”): Pret. и.-е. **b^her-s-t* > о.-к. **ber-s-t* > др.-ирл. *bert* = и.-е. **merh*₂- > о.-к. **mer-* (Pres. др.-ирл. *marnaid*): Pret. и.-е. **merh*₂-t > о.-к. **mera-t* ~ о.-к. **mer-s-t* > др.-ирл. *mert* [McCone 1994: 165].

Бессуффиксальный претерит, в основном характерный для глагольных корней с исходом на смычные и *n* [GOI: 424ff; EIV: 51], имеет в своей основе индоевропейский перфект, за исключением трех супплетивных форм, предположительно восходящих к корневому аористу (*boí* “был” < **b^huH-t*, *luid* “ушел” < **h₁leud^h-t*, (*do*)-*cer* “пал” < **k^{erh}-t* [McCone 1991: 125]). Указанные формы относятся к третьему типу претерита, как видно, исключительно по формальному признаку отсутствия суффиксального маркера, но они разительно отличаются от остальных форм бессуффиксального претерита по другим признакам. Так, подавляющее большинство этих форм сохраняет редупликацию, унаследованную от индоевропейского редулицированного перфекта [McCone 1994: 167], например *geguin* “убил” < **g^{uh}e-g^{uh}ón-e*. В ряде случаев, однако, в силу фонетических или фономорфологических причин, редупликация оказывается затемнена или искажена.

Основным принципом унификации парадигм перфекта является генерализация сильной основы; так, результатом эволюции и.-е. парадигмы **g^{uh}e-g^{uh}ón-e* vs. **g^{uh}e-g^{uh}n-ér* в древнеирландском является претерит глагола *gonaid* 3 Sg. *geguin*, 3 Pl. *gegnatar*, причем отсутствие корневого гласного в последней форме является всего лишь результатом ирландской синкопы VI века, а не продолжением индоевропейской нулевой ступени.

Необходимо отметить специфический подтип *s*-претерита, характерный только для глаголов с зиянием – редулицирующий *s*-претерит. Этот удивительный гибрид существует только в древнеирландском. Дело в том, что при образовании, скажем, перфекта от и.-е. корня **g^ueh₂-* “уходить”, присутствующего в древнеирландском глаголе *baid* < **ba-e-ti* “умирает”, унаследованная форма **bebū* < **g^ue-g^uoh₂-e* заменяется на **beba-e* с вычленимым перфектным суффиксом по причинам, которые будут подробно рассмотрены ниже. В свою очередь, на гойдельском уровне получающаяся форма *bebae* со своим вокальным исходом приравнивается к конъюнктным формам *s*-претерита от слабых глаголов с зиянием, ср. *-soí* < *soċ-ess* от глагола *soid* < **sou-e-ti* “поворачивается”. В итоге в языке появляется новая абсолютная форма, маркированная не только редупликацией, но и сигматическим суффиксом – *bebais*, см. [McCone 1994: 170].

Хотя набор имеющихся галльских и лепонтийских форм в несколько раз меньше внушительного древнеирландского материала, их тоже несложно разделить на соответствующие типы. Забегая вперед, отметим, что, при формальной и принципиальной схожести, наша классификация континентальных форм будет отличаться от древнеирландской в практическом плане.

Рассмотрим первыми две формы, встречающиеся наиболее часто в силу своей семантики и, как ни странно, иллюстрирующие один и тот же тип образования претерита – а именно редулицирующий, то есть восходящий к перфекту.

Леп. 3 Sg. TETU (Престино) [Lejeune 1971: 96–111].

Галл. 3 Sg. δεδε [RIG G–27, G–28, G–203, G–206].

Не возникает больших сомнений, что эти формы со столь очевидной редупликацией восходят к индоевропейскому перфекту. Также очевидно, что лепонтийская форма должна быть транскрибирована с алфавита Лугано как [dedu].

Существует два корня, к которым могут восходить кельтские формы – это либо **deh₃-* “давать” [LIV: 89–90], либо **d^heh₁-* “помещать; делать” [LIV: 117–119]. Хотя авторы LIV поместили кельтские формы в статью о первом корне, реконструкция сильной основы индоевропейского перфекта и его предполагаемого развития показывает, что результат в любом случае получается один и тот же, и поэтому, наверное, мы никогда

не узнаем, какой именно из двух корней лежит в основе наших форм: 3 Sg. Perf. $*d^h e-d^h \acute{o}h_1-e > *d^h e d^h \acute{o}(e) >$ о.-кельт. $*ded\ddot{u}$; 3 Sg. Perf. $*de-d\acute{o}h_3-e > *ded\acute{o}(e) >$ о.-кельт. $*ded\ddot{u}$.

Таким образом, очевидно, что зафиксированная в лепонтийском форма с исходом на \ddot{u} , отражающим в кельтском индоевропейское \acute{o} , является рефлексом индоевропейской сильной основы. В данном случае мы имеем дело с формой третьего лица, однако и в первом лице единственного числа можно реконструировать ту же форму: $*d^h e d^h \acute{o}-a > *ded\ddot{u}$. Что же касается слабой основы, для первого и второго лица восстанавливаем основу $*deda-$, а форма третьего лица должна была развиваться так: $*d^h e-d^h H-\acute{r} > *dedar$ с кельтским прояснением слогового сонорного в ar , ларингал перед которым вообще не оставил по себе следа [Schumacher 2004: 73]; ср. [Kümmel 2000: 56].

Правила эволюции перфектов в кельтских языках таковы, что при появлении долгого гласного в открытом слоге в конце сильной основы он отпадает и таким образом в парадигме генерализуется слабая основа. Так, в древнеирландском для глагола *crenaid* “покупает” характерен претерит *cúir* $< *k\acute{e}r < *ke\chi r e \sim *kekr\acute{o} < *k^{\acute{e}}e-k^{\acute{e}}r\acute{o}i h_2-e$ [McCone 1994: 167], глаголу *benaid* “бьет” соответствует претерит *bí* $< *biue \sim *bi\beta\acute{o} < *b^h i-h^h \acute{o}i H-e$ [McCone 1991: 125], а глагол *lenaid* “прижимается” образует форму *lil* $< *lile \sim *lil\acute{o} < *h_1 li-h_2 l\acute{o}i h_2-e$. То же самое происходит и с галльским глаголом: при переразложении формы третьего лица множественного числа возникает основа $*de-d-$, оснащенная перфектным окончанием $*-ar$, что в итоге и приводит к появлению инновационной формы третьего лица единственного числа – $*de-d-e$ с “регулярным” окончанием $*-e$. Соответствующий процесс мы наблюдаем и в претеритах от глаголов с зиянием в древнеирландском, упомянутых выше, но те оснащаются еще и дополнительным сигматическим маркером.

В свете вышеизложенного лепонтийская форма выглядит замечательным архаизмом, и представляется весьма значимой с точки зрения относительной хронологии. Если процесс унификации глагольных парадигм затронул все кельтские языки более или менее одновременно (что кажется вероятным, ввиду идентичности этого механизма в континентальных и островных языках), то мы можем датировать хотя бы данный аспект эволюции перфектных парадигм как происшедший не раньше первой половины V века – именно этим временем принято датировать надпись из Престино. Вероятность того, что лепонтийский язык избрал иной путь развития, ничтожно мала, поскольку речь идет о фундаментальном принципе становления структуры кельтского глагола. Вероятность того, что лепонтийский законсервировал оппозицию сильной и слабой основ в то время как соседний с ним галльский двигался дальше по эволюционной шкале, также мала ввиду неизбежного давления системы³.

Следующая форма является характерной для галльских посвяtitельных надписей.

Галл. 3 Sg. *ieuru* [RIG L-3 <ieuru> L-4, L-7, L-10, L-11, L-13, L-133], *ieuru* [RIG L-9] εἰουρου [RIG G-153], 3 Pl. *iourus* [RIG L-12]. Вдобавок к этим, в принципе достаточно однотипным, формам еще имеется *ieuri* в надписи из Лезу [RIG L-67; Lejeune 1994] и соответствующая ей εἰουροι во фрагментарной надписи из Нима [RIG G-285?; Lejeune 1994]. Ср. также *tiouiuoru* (Банассак) [Lambert 1994: 63].

Семантика данных форм вполне ясна – “дал, посвятил, преподнес”; морфология же их долгое время оставалась известной проблемой и вызывала споры ученых; см. [Meid 1994: 22; Lambert 1994: 103–105; Schmidt 1986: 175–176]. Очевидно, что данная форма является исконно редулицирующей; затемнение редуликации, сопровождаемое появлением нехарактерных для кельтских языков би- и трифонемных сочетаний можно объяснить только как результат выпадения какого-то элемента – наиболее подходящим кан-

³ Необходимо упомянуть галльскую форму *TošoKoTe* из надписи из Верчелли, толкуемую как “дал” и членимую как $*to-so-kom-de$, где *de* является на самом деле редулицирующей формой *dede*, сократившейся под давлением предшествующих превербов [Eska 1990a: 4–5]. Что касается морфемы *so*, это, скорее всего, инфигированное местоимение, что в итоге дает общее значение глагольного комплекса “то, что дал”.

дидатом на эту роль, конечно, является индоевропейское *p*, а корнем, к которому можно вести галльские формы – и.-е. **perh₃-* “вручать”.

Действительно, в древнеирландском мы имеем восходящий к этому корню глагол *ernaid* “дает” с претеритом *ír*, которая является прямым продолжением и.-е. **pe-pórh₃-e* [LIV: 427]. В данном случае правило искажения редупликации действует достаточно оригинальным образом; по причине падения и.-е. *p* в кельтском ареале развитие этого претерита должно выглядеть так: и.-е. **pe-pórh₃-e* > **e-or-e* > **ēr-e* > **īre* > *ír*. Генерализована сильная основа с затемненной редупликацией, в то время как развитие слабой основы **pe-prh₃-* > **ebrā-* дает форму, сохраняющую след редупликации, но не жизнеспособную⁴.

Что касается различных вариантов вокализма рассматриваемых форм, то наиболее приемлемое объяснение их состоит в диалектном различии.

В южных диалектах индоевропейская праформа развивалась без помех: таким образом, и.-е. **pe-pórh₃-e* дает о.-к. **φe-φore*, что, после полного падения *φ* дает форму с хиатусом **e-ore*; гласный *e* в позиции зияния сужается, что и приводит нас к засвидетельствованному варианту *eiōr-* [*i-or-*].

С одной стороны, для более северных диалектов восстанавливается преверб **epi-/pi-*; развитие глагольного комплекса в кельтском дает **φi-φe-φore* и в дальнейшем трехфонемный хиатус в основе **i-e-or-*. Упрощение этой фонетически нехарактерной для кельтских языков конструкции дает нам [*ieur-*]; с другой стороны, полученный таким образом дифтонг *-ei-* оказывается также несоответствующим окружающему его языковому материалу, поскольку, как известно, индоевропейский дифтонг *ei* в кельтских языках переходил в *oi*, поэтому и в данном случае под давлением системы происходит подобный переход, что объясняет появления написания *iouris* [Schumacher 2004: 738–740].

Загадочный исход всех этих форм на *-i* является основной проблемой их анализа. Большинство исследователей предлагает интерпретировать его как перфектный показатель, развивающийся из сегмента корня в других индоевропейских языках – имеются в виду такие примеры, как вед. *jajñáu*, *dadháu* и лат. *gnōi*, *plēi* [Watkins 1969: 53; Schmidt 1986: 176; Lejeune 1994].

Однако если в латинском и санскрите расширитель корня появляется после гласных в качестве своего рода слогозакрывающего сегмента, и в обеих языковых семьях можно найти индуцирующие основы, от которых формант получил дальнейшее распространение, то в кельтском материале *-i* выглядит как окончание, присоединенное к основе вместо унаследованного *-e*. Более того, основная тенденция к оформлению перфекта, которую мы видели на примере *bedē* – это, напротив, замена нечленимого долгого гласного на перфектный показатель *-e*. К сожалению, в нашем распоряжении есть только два примера галльских редуплицирующих конструкций такого плана, и на их основе чрезвычайно сложно делать выводы. Рискнем выдвинуть соображение, что, возможно, загадочное окончание *ieuri* вызвано причинами чисто фонетического плана, а проще говоря – перегласовкой, вызванной ударным дифтонгом на *-i* в предыдущем слове. Это может объяснить галло-греческий вариант *eiōra*, в основе которого не было данного дифтонга, а, соответственно, не было и предпосылки к перегласовке. В свою очередь, окончание в форме *ieuri* вообще кажется латинизмом. Другое возможное объяснение существования окончаний *-i* и *-i* см. ниже.

Нужно отметить, что окончание третьего лица множественного числа галльского глагола является большой инновацией по сравнению с индоевропейским наследием, например, в древнеирландском. В форме *iourus* мы видим, что глагол присоединяет к форме единственного числа формант *-s*, см. [de Hoz 1995].

⁴ И.-е. *p* в позиции перед плавным дает *b*, которое впоследствии ленирует в *β*; ср. именно такое развитие редупликации в форме футурума от того же глагола *ernaid*: *ebraid* < **pi-prh₃-se-ti* (и.-е. дезидератив).

Следующим пунктом нашего исследования будет группа глагольных форм, которые объединяет определенная морфологическая черта, а именно дентальный формант, стоящий перед флексией. Эти формы, в силу напрашивающейся параллели с известным феноменом в германских языках, принято называть слабыми дентальными претеритами. Основные примеры:

Галл. 3 Sg. *KarniTu* [RIG E-5],

3 Sg. *καρνιτου* [RIG G-151],

3 Pl. *KarniTus* [RIG E-1];

Леп. 3 Sg. *KariTe* (Верджате) [Lejeune 1970: 446–449; 1971: 90–93],

3 Sg. *KaliTe* (Верджате).

На ранней стадии развития кельтологии, когда еще не был известен генезис древнеирландского *t*-претерита, естественно были попытки связать континентальные кельтские с островными [D'Arbois de Jubainville 1903: 123–124]. Исследователь предполагал, что исход *-u* галльских форм является продолжением индоевропейского окончания 1 л. ед. числа **-oh₂* > **-ō*, подобно тому, что мы наблюдали в случае *TeTu* etc. Однако при расшифровке надписей эти формы были идентифицированы как формы третьего лица, и, более того, в 1962 году К. Уоткинсом [Watkins 1962] было доказано, что островной кельтский *t*-претерит возникает только в глаголах с исходом основы на сонорный или *x/γ* и является, как уже упоминалось, продолжением индоевропейского сигматического аориста. В самом деле, если бы в основе наших форм лежал сигматический аорист, то развитие комбинации *-s-t-* после гласного дало бы *-ss-*, к чему мы вернемся немного ниже.

Другая версия происхождения галло-лепонтийский слабых претеритов предполагала наличие в них индоевропейского показателя медиопассива **-to* [Meid 1963: 81]. Однако это объяснение не выдерживает критики по меньшей мере по двум причинам: во-первых, в кельтских языках не существует перехода краткого *o* в краткое *u* (в отличие от соответствующих долгих гласных в ауслауте), и скорее можно было бы ожидать окончания *-a*; во-вторых, в любом случае лепонтийские формы с исходом на *-e* в эту гипотезу не укладываются вовсе.

М. Лежен выдвинул гипотезу о действительной связи кельтской конструкции с германским дентальным претеритом [Lejeune 1970: 452; 1971: 96]. Но германский звонкий дентальный суффикс происходит, как известно, от корня **d^heh₁-*, о чем см., например [Lühr 1984: 46–49]. В случае же кельтских форм дентальный явно глухой, и таким образом эта заманчивая идея также оказывается нежизнеспособной.

Наконец, К.Х. Шмидт ([Schmidt 1986: 177–178]; ср. [Eska 1990b]) предложил рассматривать данные формы не как унаследованные, а как собственно кельтскую инновацию. При сравнении лепонтийского *-Te* с галльским *-Tu* кажется очевидным разложение их на дентальный формант и окончание, различающееся в языках (диалектах). Далее, лепонтийское окончание *-e* легко толкуется как показатель третьего лица единственного числа перфекта, которое, как мы знаем, сохраняется в кельтских языках.

Сравнительный анализ лепонтийских и галльских претеритов – как бы ни скуден был материал – показывает, что лепонтийский выдерживает четкую тенденцию использовать флексию *-e* для слабого претерита и сохранять унаследованное *-u* в сильных перфектах от корней с вокальным исходом (ср. выше). В галльском, напротив, мы наблюдали инновационное внедрение регулярного *-e* в морфологически ясную форму *deðe*, но сохранение *-u* в очевидно более темной *ieuru*. Учитывая то, что дентальный претерит является специфическим галло-лепонтийским образованием, может ли быть так, что его окончание – каков бы ни был его генез – повлиял на оформления окончания *ieuru*?

Возвращаясь к вопросу о самостоятельном статусе лепонтийского языка, отметим, что наличие сравнительно большого числа сходных форм дентального претерита в галло-лепонтийском ареале является одним из аргументов, на основании которых К. МакКон утверждает, что лепонтийский нужно рассматривать как один из цизальпийских диалектов [McCone 1996: 69]. По мнению МакКона, дентальный претерит может принимать как окончание *-e*, так и окончание *-u* (которое он считает производным от

перфектов от корней *ultimae laryngalis* типа *TeTu*) и распределение этих окончаний не может быть критерием выделения языка. Однако, как было замечено выше, подобное происхождение данной флексии маловероятно, и распределение все же имеет место. Таким образом, если лепонтийский и цизальпинский галльский и не являются по сути одним и тем же языком, то появление в их структуре одной морфологической структуры с небольшим различием в маркировке можно легко объяснить совместной инновацией – которая, заметим, также предполагает близкое родство рассматриваемых языков и совместное проживание племен – носителей этих языков. Более того, можно предположить и собственно лепонтийскую инновацию с последующим заимствованием в галльский.

Продолжая анализ рассматриваемых форм, К.Х. Шмидт пришел к выводу, что суффикс *-i-*, предшествующий дентальному, является либо слабым презентным суффиксом **-éjelo-> *-i-* в случае *KarniTu*, либо также презентным суффиксом **-jéló-> *-i-* в *KariTe*, *KaliTe*. Комбинация основы презенса и флексий прошедшего времени дает нам имперфект. Заметим, что в результате утраты кельтским глаголом оппозиции первичных и вторичных флексий из-за ранней апокопы *-i* в определенных позициях, см. [McSone 1994: 140–141], унаследованный имперфект, оснащенный вторичными окончаниями, перестал отличаться от презенса. Именно с этим связан, как полагает Шмидт, наблюдаемый нами процесс фиксации имперфекта путем присоединения к презентной основе имеющихся претеритальных окончаний; то есть, как это часто бывает в кельтской морфологии, индоевропейский принцип сохраняется, но приводится в жизнь новыми, доступными на данном этапе средствами. Ту же картину, казалось бы, можно видеть в древнеирландском, где имперфект получил совершенно новый набор гетерогенных флексий, некоторые из которых, возможно, восходят к медиопассивным.

В рассуждениях Шмидта, однако, усматривается, на наш взгляд, существенный недостаток, состоящий собственно в допущении семантического перехода имперфекта в область претерита, то есть “эпархию” древних аористных и перфектных форм. При том, что имперфект в кельтских языках творится, как мы видели, заново и представляет собой в известной степени вторичное, но самостоятельное видо-временное образование по отношению к категории претерита, такой переход не представляется логичным.

В связи с этим важна форма *logito* из Нери-ле-Бэн [RIG L–6], которая является единственным галльским рефлексом того типа имперфекта, который развился в островных кельтских языках: **log^h-éje-to* “клал” от основы каузатива (ср. галл. *legasit* от того же корня ниже). Образование с медиальным суффиксом *-to* можно видеть в др.-ирл. *-bered* “нес” < **b^hereto*, ср.-вал. *gwudyat* “знал” [GOI: 372; Schmidt 1986: 178–179]. Мы не знаем, было ли значение данной формы строго имперфектным, поскольку надпись довольно темна по смыслу, но сам факт того, что такой тип образования имперфекта существует, наводит на мысль, что и сама категория существовала и имела именно этот способ выражения.

Еще один замечательный факт, касающийся галльского дентального претерита, – это то, что, по всей видимости, флексия *-u* распространилась на всю парадигму, что доказывает форма 3 Pl. *KarniTus*. Как и в случае с вышерассмотренным *iourus*, галльский обнаруживает весьма прогрессивный способ образования множественного числа – путем простого присоединения к фоме единственного недвусмысленного форманта *-s*.

Все вышесказанное заставляет думать, что, возможно, природу загадочного окончания *-u* стоит искать вообще не в области глагольных формантов. Нельзя ли толковать *-u* как деиктическую частицу со значением дистанции? В отношении глагола это будет, конечно, временная дистанция, и частица будет определять отдаленное действие; с другой стороны, спорадически появляющееся *-i*, как в *ieuri*, может также быть частицей – в этом случае означающей, наоборот, временную близость, недавнее прошлое.

С точки зрения морфосинтаксиса позиция частицы в ауслауте глагольной формы кажется безупречной. При оформлении в кельтских языках порядка слов “глагол–субъект–объект” вступает в силу закон Вакернагеля, и все клитики оказываются в позиции энклитик. То, что это происходило уж в галльском, доказывает известная форма *dugion-*

ti-íó “которые прославляют” с относительной частицей из надписи из Ализ. То, что окончание *-и* можно видеть по всей парадигме галльского претерита, подтверждает догадку о том, что это на самом деле не окончание, а частица, конечно же, не обладающая никакими показателями лица или числа, как это положено окончаниям.

Таким образом, нами выдвигается гипотеза, что в галльском и лепонтийском существовало окончание претерита *-e*, унаследованное от индоевропейского претерита; при оснащении глагольной формы той или иной деиктической частицей это окончание падает, оставляя ее на своем месте. С развитием языка одна из частиц, а именно *-и*, обозначающая отдаленное завершённое действие, могла закрепиться в галльском как полноценное окончание для слабых форм претерита.

Не вызывает больших сомнений, что формы типа *KarniTu* относятся к слабой глагольной основе, предположительно с итеративной семантикой, непосредственно связанной с именным корнем **karn-*, наблюдаемом в др.-ирл. *cairn* “надгробный, памятный камень”; то есть значение галльского глагола определяется как “воздвигает карн”. К.Х. Шмидт и Дж. Эска [Schmidt 1986: 177–178; Eska 1990: 86–87] предлагают следующие этимологические решения для лепонтийских форм: *KariTe* может рассматриваться как рефлекс корня **ǵ^her-* “держат, укрепляют”, ср. вед. *háraṭi* “берет” [LIV: 157]. Если так, то очевидно, что в кельтском рефлексе мы имеем нулевую ступень корня; восстанавливая развитие от атематической основы, получаем следующее: 3 Sg. **ǵ^her-ti* vs. 3 Pl. **ǵ^hṛ-énti* > **gerti* vs. **garenti* ~ **garti* (по правилу выравнивания аблаута в презентных основах генерализуется слабая ступень [Watkins 1962; McCone 1991]); далее предполагаем тематизацию с помощью суффикса **-ié/ó-*, что дает нам искомую основу *gari-*, к которой и присоединяется дентальный суффикс претерита и флексия.

Форма *KaliTe*, скорее всего, сходным образом восходит к и.-е. корню **kel-* “окружать, скрывать”.

Помимо вышерассмотренных форм, к числу дентальных претеритов в галльском можно отнести еще несколько менее ясных форм. Так, имеется плохо поддающееся интерпретации *коβριου* из надписи из Ализ [RIG G–257]. Далее, на свинцовой табличке из Лезу (которую наряду с памятниками из Шамальер и Ларзака принято относить к корпусу “магических” текстов) были обнаружены целых два интересных примера рассматриваемой конструкции [Fleuriot 1986: 66–68; Eska 1990b: 85–86; Lambert 1994: 173].

Во-первых, это форма *rincitu(s)*, которая, помимо того, что содержит знакомый нам дентальный формант и соответствующее окончание-частицу, этимологически выглядит очень похожей на др.-ирл. *ro-icc* “достигает”, вал. *rhyngru* и прочие рефлексы этой основы в кельтских языках. Речь идет об основе, ведущей свое начало от индоевропейского редуцирующего презенса **h₂i- h₂nék-* vs. **h₂i-h₂nḱ-* [LIV: 252]: **h₂i- h₂nék-ti* vs. **h₂i-h₂nḱ-énti* > **ineχ-ti* vs. **īnk-enti* > **ink-e-ti* vs. **ink-o-nti* > др.-ирл. 3 Sg. *-icc*, 3 Pl. *-ecat*. В ходе тематизации генерализуется слабая основа, причем для этого не требуется выравнивания аблаута, так как “корневой” вокализм на кельтском уровне в обеих основах оказывается одинаков.

Как и в случае *KaliTe*, *KaliTe*, тематизация в галльском оснащает глагольную основу йот-презентным суффиксом: **ink-ié-*; так же, как и островные формы, галльский глагол имеет преверб *ro-*.

В той же надписи имеется даже более интересная форма – *gabxsitu*. Графема *xs* в галльском обычно обозначает *s*, ср. *Dexsiva* – *Dessobriga*, *Buxsus* – *Bussus* etc. Как же истолковать основу **gabs-*, предшествующую показателю слабого претерита в этом случае? Достаточно очевидно, что мы имеем дело с кельтским корнем **gab-* “держат, хватать” (каков бы ни был его индоевропейский прототип!), представленный в древнеирландском глаголе *gaibid*. В свою очередь, для *-s-* в этой позиции напрашивается сравнение с древнеирландским *s*-претеритом.

В самом деле, сильный глагол *gaibid* образует в древнеирландском *s*-претерит. В основе этого лежат причины морфонологического характера. В соответствии с законами

кельтской исторической фонологии развитие сигматического аориста **gab-s-t* неминуемо дало бы аномальную форму **gax(s)t*, поскольку недентальный смычный перед *s*, *t* в кельтском ослабляется во фрикативный *x*, ср. др.-ирл. *secht* “семь” < **sept-ŋ̊* [McCone 1991: 109; 1996: 44]. Поэтому в языке конструируется новый, морфологически ясно членимый претерит путем присоединения продуктивного суффикса *-Vss-* к презентной основе: **gab-Vss-i* > *gabais*.

Вернемся теперь к галльскому глаголу. Поскольку ослабление смычных в указанной позиции является общекельтским феноменом, и комбинация *-bs-* не могла сохраниться, ясно, что в галльском имеет место практически та же замена суффикса с целью сохранения фонетического облика основы, что и в древнеирландском. Различие заключается в том, что, видимо, континентальный *s*-претерит имеет тенденцию к присоединению еще одного форманта – загадочного *-it-*. На данный момент нельзя с уверенностью сказать, что он собой представляет; существуют две версии. Возможно его толкование как тематического аористного окончания (с переходом *e* > *i* перед *t* в конце слова); тогда приходится предположить, что континентальные формы, восходящие к аористу, имели тенденцию к тематизации до того, как кластер *-st-* упростился в *-ss-*, что кажется не слишком вероятным [Schmidt 1986: 168]. Второй вариант кажется мне более предпочтительным – он также предполагает тематизацию, но в этом случае после упрощения кластера и, таким образом, исчезновения флексии третьего лица единственного числа эта флексия, оснащенная тематическим гласным, появляется вновь.

Наконец, формант *-u* в исходе этой сложной формы появляется как еще один маркер, на этот раз чтобы избежать омоформии претерита с конъюнктивом: **gab-ie-se-ti* > **gab-i-se-t(i)* > **gabisit*. В итоге получается четырехсложная конструкция, где первый ударный слог подвергается характерной для кельтских языков синкопе: **gabVsetu* > *gabisitu*.

Еще один пример *s*-претерита с присоединенным к нему тематическим окончанием – это форма *legasit* (Серокур-Бурж [Lambert 1994: 63; Schmidt 1986: 168]). Эта глагольная основа, восходящая к корню **leg^h-* “класть”, ср. др.-ирл. *laigid*, была истолкована К.Х. Шмидтом как фактив, что объясняет наличие в ней суффикса *-ā-*. Существование *s*-претерита от заведомо слабой основы доказывает, что этот тип претерита был продуктивен как в островных, так и в континентальных языках. Более того, отметим, что *s*-претериты появляются в корпусе галло-латинских надписей, то есть их фиксация относится к более позднему хронологическому срезу, чем фиксация рассмотренных выше дентальных претеритов, найденных в лепонтийских, галло-этрусских и галло-греческих памятниках. Это означает не только существование двух способов образования слабого претерита в галльском, но и, возможно, вытеснение с течением времени специфического галло-лепонтского образования новой обще “галло-островной” конструкцией.

На эту тенденцию косвенным образом указывает следующий пример *s*-претерита в галльском – форма *prinas* (Ла Грофенек) [Lambert 1994: 63]. В отличие от вышерассмотренных форм, у этой отсутствует дополнительная флексия, и она выглядит замечательно похожей на древнеирландские *s*-претериты. В ней ясно видна основа назального презенса **k^hri-ne-h₂-*, ср. др.-ирл. *crenaid* “покупает”, от и.-е. корня **k^hreih₂-* [LIV: 354–355]. Интересен также тот факт, что если древнеирландский сильный глагол сохраняет индоевропейский перфект в качестве претерита (претерит *cúir* < **kēr* < **ke^hre* ~ **kekrō* < **k^he-k^hróih₂-e* [McCone 1994: 167]), то его галльское соответствие образует претерит по слабому типу. Значит ли это, что в галльском категория назального презенса была утрачена и они адаптировались к слабому типу спряжения? К сожалению, у нас слишком мало сведений о назальном презенсе в континентальных кельтских языках вообще, чтобы выносить какое-либо суждение на этот счет.

Последняя форма, которую можно отнести к числу галльских *s*-претеритов – это форма *readdas* (Аржантон-на-Крез) [RIG: L–78; Schumacher 2004: 727–728]. В ней вычлениются следующие компоненты: перфективный преверб *ro-*, преверб *ad-* “к” и глаголь-

ный корень **dā-* < **deh₃-* “давать” (см. выше о *TeTu* etc.). Обращает на себя внимание полное соответствие этого компаунда древнеирландскому супплетивному перфекту от *do-beir* “приносит” – *do-rat* “принес, дал” < **to + ro-ad-dā*. Однако если за древнеирландской формой закреплено перфектное значение, то, очевидно, галльская основа является презентной; более того, слабой – и поэтому, так же, как и *prinas*, образует претерит с помощью суффикса *-s-*.

Следующий тип образования претерита – также имеющий соответствие в древнеирландском – это *t*-претерит. Мы имеем только один настоящий пример подобного образования, но он достаточно весом. Это форма *toberte* с таблички из Лезу, которая, как мы видим, богата интересными морфологическими конструкциями. Она непосредственно соотносится, конечно, с древнеирландским претеритом (*do*)-*bert* от глагола *do-beir* “приносит”, и соответственно, восходит к индоевропейскому сигматическому аористу **b^her-s-t* [Meid 1963: 84; Eska 1990a: 87–88]. Окончание *-e*, по-видимому, играет ту же роль, что и *-i* в случае вышерассмотренного *gabxsitu*, то есть нового показателя третьего лица единственного числа для несигматических претеритальных форм. Как указывалось раньше, диалектная дистрибуция того или иного окончания в галльском не совсем ясна, но можно отметить, что за исключением морфологически темной формы *ieurgi* окончание *-i* имеет тенденцию встречаться в слабых претеритах, а *-e* (напомним, унаследованное от перфекта) – в сильных.

Наконец, последняя форма, которую мы рассмотрим в данной статье, также, по сути является *t*-претеритом, но при этом гибридным. Форма *siöxti* (Ла Грофенеск) на первый взгляд очень напоминает др.-ирл. *siächt*, форму претерита от глагола *saigid* “ищет, следует”; в его основе лежит корень **seh₂g-* [LIV: 471]. Древнеирландский претерит в свою очередь является единственным случаем гибридного *t*-претерита в этом языке; он происходит от основы перфекта **se-soh₂g-e* vs. **se-sh₂g-*, к которой на морфологически темной стадии **si-a₇e* присоединяется суффикс *t*-претерита. Дж. Эска полагает, что в данном случае речь идет о генерализации слабой основы с кратким гласным *-a-*, получающимся в результате прояснения ларингала [Eska 1994: 207]. Это вполне вероятно с учетом того, что лениция и последующее выпадение интервокального *-s-* происходило уже на уровне галльского. Ср. *SVOIREBE* “сестрам” [RIG L–6] < **suisoribis* ~ **suisribis* < **suesr^hb^his* (Instr. Pl.).

Однако даже если в основе нашей формы лежит сильная основа, это по существу не меняет дела. В самом деле, развитие сильной основы **sesā₇* + *-t* на первый взгляд дает **siächt*, но дело в том, что в позиции зияния долгота гласного элиминируется, что можно наблюдать, например, в глаголах с хиатусом в презенсе.

В любом случае, несмотря на внешнее сходство, галльская и древнеирландская формы не имеют между собой ничего общего, на что указывает и формант *-o-* в континентальной форме, никак не объяснимый с точки зрения корня **seh₂g-*, и смысл самой надписи:

sioxt=i Albanos pannas extra tuθon ccc

...Альбанос помимо (общего) числа 300 сосудов.

Альбанос, о котором идет речь, – это гончар, который, как следует из другой части надписи, уже произвел 1300 сосудов, так что значение “искать” для глагольной формы, как кажется, совсем не подходит; см. [Marichal 1988: 186].

Вокализм галльской формы указывает на то, что мы имеем дело с трифонемным корнем типа **seK-*, где *K* – любой недентальный смычный. Дж. Эска [Eska 1994: 208]; ср. [Schumacher 2004: 745–747] предложил идентифицировать этот корень как **seg-* “присоединять, касаться” [LIV: 468], ср. санскр. *sājati* “закрепляет, присоединяет”. Действительно, развитие перфектной основы представляется безупречным – **se-sog-e* > **sio₇e*; как в древнеирландском, поскольку получающаяся форма не несет выраженного претеритального маркера, она им оснащается. В свою очередь, так как глагольные основы на *ʃ/x* образуют *t*-претерит, именно этот формант присоединяется к основе и в данном слу-

чае. Таким образом, общий смысл надписи примерно таков: “Альбанос добавил еще 300 сосудов к общему числу”.

Итак, подведем итоги. В галло-лепонтийском ареале в общей сложности имеются следующие способы образования форм претерита:

- 1) редуцирующий, восходящий к индоевропейскому перфекту, для сильных глагольных основ;
- 2) t-претерит, восходящий к сигматическому аористу, для сильных основ; также способен образовывать гибрид с редуцирующим типом;
- 3) s-претерит, также восходящий к сигматическому аористу и, видимо, продуктивный как для сильных, так и для слабых основ; способен присоединять дополнительные флексии.

Эти типы претерита практически точно соответствуют древнеирландским. В дополнение к ним имеется

- 4) слабый дентальный претерит, существующий как самостоятельно, так и создающий гибриды с другими типами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- D'Arbois de Jubainville 1903 – *H. D'Arbois de Jubainville. Eléments de la grammaire celtique. Déclinaison, conjugaison.* Paris, 1903.
- de Hoz 1995 – *J. de Hoz. Is -s the mark of the plural of the preterite if the Gaulish verb?* // J.F. Eska, R.G. Gruffydd, N. Jacobs (eds.). *Hispano-Gallo-Britonica. Essays in honour of Professor D. Ellis Evans on the occasion of his sixty-fifth birthday.* Cardiff, 1995.
- EIV 1997 – *K. McCone. The early Irish verb.* Maynooth, 1997.
- Eska 1990a – *J.F. Eska. Some proleptic pronouns in Gaulish* // A.T.E. Matonis, D.F. Melia (eds.). *Celtic language. Celtic culture: A Festschrift for Eric P. Hamp.* California, 1990.
- Eska 1990b – *J.F. Eska. The so-called weak or dental preterite in Continental Celtic, Watkins' Law and related matters* // HS (KZ). 1990. № 103.
- Eska 1994 – *J.F. Eska. More on Gaulish *siöxt=i** // *ÉC.* 1994. № 30.
- Eska 1998 – *J.F. Eska. PIE *p/ > Ø in proto-Celtic* // MSS. 1998. № 58.
- Eska, Weiss 1996 – *J.F. Eska, M. Weiss. Segmenting Gaul. *tomedclai** // SC. 1996. № 30.
- Fleuriout 1986 – *L. Fleuriout. Inscription gauloise sur plomb provenant de Lezoux* // *ÉC.* 1986. № 23.
- GOI – *R. Thurneysen. A grammar of Old Irish. Revised and enlarged edition.* Dublin, 1946.
- Kümmel 2000 – *M. Kümmel. Das Perfekt in Indoiranischen. Eine Untersuchung der Form und Funktion einer ererbte Kategorie des Verbums und ihrer Weiterentwicklung in den altindoiranischen Sprachen.* Wiesbaden, 2000.
- Lambert 1994 – *P.-Y. Lambert. La langue gauloise.* Paris, 1994.
- Lejeune 1970 – *M. Lejeune. Documents gaulois et para-gaulois de Cisalpine* // *ÉC.* 1970. № 12.
- Lejeune 1971 – *M. Lejeune. Lepontica.* Paris, 1971.
- Lejeune 1994 – *M. Lejeune. Notes d'étymologie gauloise XII Un verbe de dédicace *εἰωρατῖ*?* // *EC.* 1994. № 30.
- LIV – *H. Rix, M. Kümmel, T. Zehnder, R. Lipp, B. Schirmer. Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen.* Wiesbaden, 2001.
- Lühr 1984 – *R. Lühr. Reste der athematischen Konjugation in den germanischen Sprachen* // J. Untermann, B. Brogyanyi (eds.). *Das Germanische und die Rekonstruktion der indogermanischen Grundsprache. Aketen des Freiburger Kolloquiums der indogermanischen Gesellschaft (Freiburg, 26–27 Februar 1981).* Amsterdam, 1984.
- Marichal 1988 – *R. Marichal. Les graffites de La Graufenesque.* Paris, 1988.
- McCone 1991 – *K. McCone. The Indo-European origins of the Old Irish nasal presents, subjunctives and futures.* Innsbruck, 1991.
- McCone 1994 – *K. McCone. An tSean-Ghaeilge agus a réamhstair* // K.R. McCon, D. McManus (eds.). *Stair na Gaeilge in ómós do Phádraig Ó Fiannachta.* Maynooth, 1994.
- McCone 1996 – *K. McCone. Towards a relative chronology of ancient and medieval Celtic sound change.* Maynooth, 1996.
- Meid 1963 – *W. Meid. Die indogermanischen Grundlagen der altirischen absoluten und konjuknten Verbalflexion.* Wiesbaden, 1963.

- Meid 1964 – *W. Meid*. Gaulish inscriptions. Their interpretation in the light of archaeological evidence and their value as a source of linguistic and sociological information. Budapest, 1994.
- RIG – *M. Lejeune*. Recueil des inscriptions gauloises. V. I: Textes gallo-grecs. Paris, 1985; 1988; V. II.1: Textes gallo-étrusques; Textes gallo-latins sur Pierre. Paris, 1988. *P.-Y. Lambert*. V. II.2: Textes gallo-latins sur instrumentum. Paris, 2002; *P.-M. Duval, G. Pinau*. V. III: Les calendriers (Coligny, Villards d'Héria). Paris, 1986; *J.-B. Colbert de Beaulieu, B. Fischer*. V. IV: Les légendes monétaires. Paris, 1998.
- Schmidt 1986 – *K.H. Schmidt*. Zur Rekonstruktion des Keltischen. Festlandkeltisches und inselkeltisches Verbum // ZCP. 1986. № 41.
- Schumacher 2004 – *S. Schumacher*. Die keltischen Primärverben. Ein vergleichendes, etymologisches und morphologisches Lexicon. Innsbruck, 2004.
- Uhlich 1999 – *J. Uhlich*. Zum sprachlichen Einordnung des Lepontischen // S. Zimmer, R. Ködderitzsch, A. Wigger (eds.). Akten des zweiten deutschen Keltologensymposiums (Bonn, 2–4 April 1997). Tübingen, 1999.
- Watkins 1962 – *C. Watkins*. The Indo-European origins of the Celtic verb I. The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
- Watkins 1969 – *C. Watkins*. Indogermanische Grammatik III: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.

© 2005 г. О.В. ФЁДОРОВА

**ПЕРЕД ИЛИ ПОСЛЕ: ЧТО ПРОШЕ?
(ПОНИМАНИЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ)**

В конце 60-х годов XX в. психолингвисты заметили, что понимание сложноподчиненных предложений с придаточными времени, по-разному описывающих одну и ту же ситуацию действительности, различается с точки зрения нагрузки на когнитивный аппарат человека: например, англоговорящие испытуемые намного лучше понимают предложения типа (1) *He jumped the gate before he patted the dog*, чем предложения типа (2) *After he jumped the gate, he patted the dog*. Однако в первых экспериментах, проведенных на материале русского языка, получилась обратная картина – предложения типа (1') *Катя позвонит папе, перед тем как Маша пойдет в магазин* вызвали у испытуемых больше всего трудностей. В данной статье будут предложены гипотезы, объясняющие этот межъязыковой феномен.

1. ВВЕДЕНИЕ

Среди большого количества психолингвистических работ, так или иначе связанных с исследованием выражения в языке временных отношений, особенно выделяется направление, изучающее понимание сложноподчиненных предложений с временными союзами *перед тем, как* и *после того, как*. В конце 60-х годов XX в. было установлено, что понимание предложений (см. пример 1), по-разному описывающих одну и ту же ситуацию действительности, различается с точки зрения нагрузки на когнитивный аппарат человека.

- (1) а. 'Перед_1' Перед тем как Маша пойдет в магазин, Катя позвонит папе.
- б. 'После_1' После того как Катя позвонит папе, Маша пойдет в магазин.
- в. 'Перед_2' Катя позвонит папе, перед тем как Маша пойдет в магазин.
- г. 'После_2' Маша пойдет в магазин, после того как Катя позвонит папе.
- д. 'Сначала' Сначала Катя позвонит папе, потом Маша пойдет в магазин¹.

Пик интереса к этой проблематике пришелся на 70–80-е годы, когда появилось множество работ в области изучения усвоения языка детьми, детской патологии развития, взрослой афазиологии, в которых использовались разнообразие методики проведения экспериментов, приводились результаты, нередко вступающие в противоречие друг с

¹ В отличие от английского языка, в русском языке предложения (1) имеют два варианта прочтения: с паузой внутри союзного слова (что обычно обозначается на письме запятой: *перед тем, как* и *после того, как*) и без паузы. В первом из двух рассматриваемых в настоящей работе экспериментов в качестве стимульного материала использовались предложения с паузой внутри союзного слова: *Заяц прыгнет перед тем, как прыгнет волк*. Во втором, основном, эксперименте данного исследования предложения произносились без паузы внутри союзного слова: *А теперь коричневую ножку положите в коробку, после того как передвинете синий кораблик под самолет*.

другом; на основании полученных результатов строились различные теории, пытающиеся объяснить языковое поведение испытуемых. Как ни в какой другой области при изучении данного феномена были поставлены под сомнение незыблемые, казалось бы, принципы усвоения языка, с одной стороны (например, принцип примата понимания, согласно которому понимание некоторого языкового явления всегда предшествует возможности его самостоятельного, т. е. не путем имитации, порождения), и патологического развития, с другой (например, известная гипотеза регрессии Р. Якобсона, гласящая, что при афазиях языковая способность утрачивается в порядке, зеркально обратном тому, в котором она усваивается ребенком).

Дальнейшее изложение будет построено следующим образом. Во втором разделе будет дан обзор исследований, проведенных в основном на материале английского языка (в отличие от многих других психолингвистических областей исследования, работы на материале других, отличных от английского, языков до сих пор встречаются крайне редко). В третьем разделе будут описаны два эксперимента, посвященных пониманию сложноподчиненных предложений с придаточными времени на материале русского языка. Наконец, в четвертом разделе будут намечены направления будущих исследований. Однако прежде чем переходить к дальнейшему изложению, необходимо остановиться на аппарате описания, который будет использоваться в настоящей работе, а также кратко охарактеризовать экспериментальные методики, используемые в исследованиях данного направления.

Обратимся к предложениям (1а-г). Эти предложения отличаются друг от друга сразу по нескольким критериям. Во-первых, с точки зрения синтаксиса, возможно два порядка следования клауз сложноподчиненного предложения: главное предложение предшествует придаточному ('Main-Sub') – примеры (1в) и (1г), или следует за ним ('Sub-Main') – примеры (1а) и (1б). Во-вторых, с точки зрения семантики союзного слова, предложение с временным союзом *перед тем как* описывает ситуацию, в которой действие главного предложения предшествует действию придаточного, в то время как предложение с временным союзом *после того как* описывает ситуацию, в которой действие главного предложения следует за действием придаточного². В-третьих, с точки зрения прагматики, в предложениях (1б) и (1в) порядок упоминания событий соответствует порядку их реального протекания (т. е. сначала Катя позвонит папе, а потом Маша пойдет в магазин), а в предложениях (1а) и (1г), наоборот, не соответствует. Сложное бессоюзное предложение (1д) стоит с точки зрения этих противопоставлений несколько особняком – обе части его равноправны, а порядок упоминания событий всегда соответствует их естественному порядку. Описанные выше противопоставления суммированы в таблице 1.

Таблица 1

Различительные признаки сложноподчиненных предложений с придаточными времени

№	Схема предложения	Порядок клауз	Семантика союза	Порядок событий
а	Перед тем, как В, А	Sub-Main	предшествование	обратный
б	После того, как А, В	Sub-Main	следование	прямой
в	А перед тем, как В	Main-Sub	предшествование	прямой
г	В после того, как А	Main-Sub	следование	обратный
д	Сначала А, потом В	–	–	прямой

² Между временными союзами *before* и *after* существуют и другие важные семантические различия, которые изучаются, в частности, в области формальной семантики, см. обзор в работе [Beaver, Condoravdi 2004].

Еще одним различительным признаком, соотношенным с семантикой, является связанность или случайность описываемых в предложении событий. В приведенном выше примере (1) связь между событиями скорее случайна в отличие от предложений типа *После того как Петя ложится в кровать, мама рассказывает ему сказку*, где порядок следования событий является однозначным.

Наконец, рассмотрим экспериментальные психолингвистические методики, используемые при изучении подобных конструкций. Остановимся сначала на методиках, исследующих процессы **понимания**. Самой распространенной методикой по сей день остается методика *разыгрыш вания сцен* (Act-Out Task), разработанная Н. Хомским в конце 70-х годов: испытуемому говорят некоторое предложение, а он должен, выбрав из имеющихся в его распоряжении игрушек или иных небольших предметов подходящие, показать, как это происходит. В таких экспериментах применительно к данной проблематике прежде всего обращают внимание на правильный или неправильный порядок выполнения действий; кроме того, обычно дополнительно отмечают, если испытуемый сначала дотрагивается не до того предмета, или до нескольких одновременно; иногда эту методику дополняют *записью движений глаз* (eyetracking methodology) – кроме записи времени реакции данная аппаратура записывает минимальные движения глаз (саккады), что позволяет в режиме реального времени изучать взаимодействие между речью, вниманием и процессами восприятия. Еще одной популярной методикой, исследующей механизмы понимания высказываний, является методика *вопросов после историй* (questions after stories): сначала испытуемый рассматривает картинки, сопровождаемые небольшими пояснениями, а потом отвечает на несколько вопросов. В первых пионерских работах Е. Кларк был использован некоторый симбиоз двух вышеописанных методик: сначала экспериментатор сам разыгрывал сцену с игрушками, а потом испытуемый отвечал на вопрос о том, когда произошло одно из двух действий, разыгранных экспериментатором.

Среди методик, исследующих механизмы **порождения** высказывания, чаще всего используется методика *воспроизведения предложений* (sentence recall): испытуемый короткое время видит на экране компьютера предложение, потом выполняет некоторое отвлекающее задание и, наконец, повторяет предложение как можно ближе к оригиналу. Похожая методика – методика *направленной имитации* (elicited imitation) – часто встречается в экспериментах с детьми: ребенка просят дословно повторить высказывание, которое перед этим произнес экспериментатор.

2. СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Первыми современными исследованиями в изучении данного феномена стали работы Е. и Г. Кларков, проведенные сначала со взрослыми испытуемыми [Clark H., Clark E. 1968], а потом с трехлетними детьми [Clark E. 1971; 1973], Результаты первой подобной работы (1968), в которой была использована методика воспроизведения предложений, свидетельствовали о том, что взрослые испытуемые делают намного больше ошибок в случае, если порядок упоминания событий не соответствует их естественному порядку; так родилась гипотеза о приоритете порядка следования компонентов (order-of-mention hypothesis). Другим фактором, влияющим на запоминание и воспроизведение предложений, оказался порядок следования клауз в предложении: предложения с порядком 'Main-Sub' воспроизводились лучше, чем в обратном случае. Эти результаты были подтверждены и в эксперименте с детьми: пятилетние дети, разыгрывая сцены с игрушками, делали намного меньше ошибок, когда порядок следования клауз был 'Main-Sub'; на основании этих данных родилась гипотеза о приоритете порядка следования клауз (main-clause hypothesis).

Следующей альтернативной гипотезой стала гипотеза о том, что любое предложение с *before* понимается легче, чем предложение с *after* (гипотеза о лучшем понимании *before*). В работе [Bever 1970] автор, следуя традиции, идущей от Фреге,

сформулировал два основополагающих принципа понимания высказывания: с одной стороны, ассерция предложения составляет его основу, а пресуппозиции занимают подчиненное положение; с другой стороны, отношения в сложном предложении строятся таким образом, что первое событие превалирует над вторым. Таким образом, *before*-предложения оказываются легче, чем *after*-предложения, так как ассерция в них приходится на первое событие.

В 1971 году Е. Кларк предложила новое объяснение того факта, что предложения с *before* понимаются лучше, чем предложения с *after*. В рамках Модели семантических признаков слова (Semantic Features Model) она показала, что значение лексемы *before* проще значения лексемы *after* [Clark E. 1971]. Основное допущение ее модели состояло в том, что значение слова складывается из отдельных бинарных признаков и что в процессе своего языкового развития ребенок усваивает один признак за другим иерархически, начиная с более общих и кончая более специфическими; кроме того, положительное значение каждого признака усваивается раньше, чем его отрицательное значение (подробнее об этом см. также [Clark H. 1969]). Для рассматриваемых лексем *before* и *after* Е. Кларк постулировала три таких признака: +Time, –Simultaneous и +/–Prior. *Before* имеет значение признаков + Time, –Simultaneous и + Prior; *after*: + Time, –Simultaneous и –Prior. Согласно идее Е. Кларк, на пути постижения сложноподчиненных временных предложений ребенок последовательно проходит три стадии. На первой стадии, когда он еще не постиг отрицательного значения признака Simultaneous, он придерживается тактики приоритета порядка следования компонентов – в каком линейном порядке события описаны, в таком они и воспроизводятся. На второй стадии ребенок уже освоил положительное значение признака Prior, но еще не освоил отрицательного: в таком случае он, правильно выполняя задания с лексемой *before*, в случае предложений с *after* продолжает придерживаться тактики приоритета порядка следования компонентов или просто распространяет положительное значение признака на его отрицательное значение, т.е. как бы заменяет *after* на *before*. И только освоив отрицательное значение признака Prior, ребенок начинает выполнять задания аналогично взрослым носителям языка.

Несмотря на популярность данной модели и некоторое количество независимых ее подтверждений (например, в работах [Johnson 1975; Munro, Wales 1982] и др.), критических откликов оказалось значительно больше. Так, в работе [Tibbitts 1980] был получен противоположный результат – предложения с *before* вызывали больше трудностей, чем предложения с *after*. В большинстве же исследований (например, в [Amidon, Carey 1972; Townsend, Ravelo 1980]), последовавших за этой пионерской работой Е. Кларк, не было получено значимых данных в пользу большей простоты ни предложений с *before*, ни предложений с *after*.

Рассмотрим более подробно работу [Amidon, Carey 1972]. Авторы проверили достоверность вышеперечисленных гипотез, проведя эксперимент, в котором 50 детей в возрасте от пяти до шести лет играли в настольную игру, переставляя на игровом поле каждый раз два из четырех разноцветных самолетиков в соответствии с инструкциями, например, *Move a blue plane before you move a red plane*. Результаты работы, во-первых, показали, что понимание сложноподчиненного предложения с придаточными времени в первую очередь зависит от типа связи между клаузами: в случае *Move a blue plane first; move a red plane last* ошибок почти нет, в то время как выполнение задания со словами *before* или *after* вызывает серьезные трудности. Если рассматривать значение лексемы *first* как набор признаков + Time, –Simultaneous и + Prior, то оказывается, что он ничем не отличается от набора признаков лексемы *before* – таким образом, при анализе сложноподчиненных предложений нельзя ограничиваться подобными чисто семантическими критериями. Во-вторых, оказалось, что даже пятилетние дети часто опускают одно из действий, описываемых в сложном предложении, при этом случаев опущения главного предложения было значительно меньше, чем случаев опущения придаточного предложения. В целом, авторы пришли к выводу, что для пятилетних англоговорящих детей ведущей стратегией является стратегия приоритета порядка следования клауз, которую они переформулировали в таком виде: информация в главном предложении легче ин-

терпретируется, чем информация в придаточном, поэтому дети или выполняют только действие главного предложения, или, если выполняют оба действия, делают меньше ошибок в случае порядка 'Main-Sub'.

Одновременно с работами по усвоению языка продолжались исследования в области **взрослой патологии**. В работе [Sasanuma, Kamio 1976] на материале японского языка было обнаружено, что пациенты с различными типами афазий делают больше ошибок в предложениях с *before*, что противоречило гипотезе Е. Кларк. Однако возможная причина таких различий между языками могла состоять в том, что в японском языке придаточное предложение всегда предшествует главному, соответственно, *after*-предложения всегда имеют прямой порядок следования компонентов, а *before*-предложения – обратный. Таким образом, на материале японского языка не удастся развеять гипотезы о приоритете порядка следования компонентов и о лучшем понимании *before*. Однако на материале английского это сделать возможно. В работе [Ansell, Flowers 1982] авторы проверили все три основные гипотезы: (а) что испытуемые с афазиями делают меньше ошибок в случае прямого порядка следования компонентов; (б) что количество ошибок в случае *before*-предложений меньше, чем в случае с *after*; (в) что при порядке следования клауз 'Main-Sub' ошибок будет меньше. Оказалось, что подтвердилась только вторая гипотеза, а в двух других случаях значимых различий между пациентами выявить не удалось. Этот факт привел авторов к мысли о том, что несмотря на то, что и дети, и взрослые с афатическими нарушениями делают больше ошибок в случае предложений с союзом *before*, известная гипотеза Р. Якобсона о зеркальном отражении усвоения языка в его патологическом разрушении не подтверждается: в тех случаях, когда взрослые испытывают трудности в понимании слишком сложных для них конструкций, они, в отличие от детей, не прибегают ни к тактике "сначала главное предложение", ни к тактике "сначала первое предложение". Однако в эксперименте, описанном в работе [Natsopoulos et al. 1991], проведенном с греческими пациентами, страдающими болезнью Паркинсона, оказалось, что при выборе стратегии поведения испытуемые в первую очередь руководствуются порядком следования событий, почти не обращая внимания ни на синтаксис, ни на семантику. Впрочем, и в этом эксперименте понимание предложений с '*before*' оказалось лучше, чем понимание предложений с '*after*'.

В работе по **детской патологии** [Natsopoulos, Xeromeritou 1988] авторы на материале греческого языка сравнили понимание и порождение конструкций с временными союзами у нормально развивающихся детей и у детей с задержкой ментального (но не вербального) развития, которое связывается в первую очередь с ограничениями в объеме оперативной памяти. В отличие от предыдущих экспериментов большое внимание было уделено фактору случайности/связанности событий, описываемых в двух предложениях. Предполагалось, что на синтаксическом уровне дети обеих групп покажут примерно одинаковые навыки, а основные различия будут выявлены на уровне семантики (случайности/связанности) или прагматики (порядок следования клауз). Однако результаты продемонстрировали несколько иную картину: во-первых, различия между '*before*'- и '*after*'-предложениями были значимыми только до тех пор, пока не рассматривался фактор случайности/связанности – при взаимодействии факторов различий между пониманием конструкций с этими двумя союзами уже не было: любое предложение, части которого были логически связаны между собой, понималось лучше, чем предложение со случайной связью между событиями. Во-вторых, авторам не удалось выявить никаких особых стратегий поведения детей с задержкой ментального развития – различия носили скорее количественный, а не качественный характер.

В работе [Cami, French 1984] вопрос о случайности/связанности событий, описываемых сложноподчиненным предложением, был поставлен во главу угла. Данное исследование было проведено с 16 трех- и 16 четырехлетними детьми, в нем была использована методика вопросов после историй; в половине случаев истории представляли собой однозначную последовательность событий, например: *Jane and her mother went to the grocery store one day. They got a shopping cart. Then Jane sat in the little seat. Her mother pushed the cart around the store and they put food in it. Then they paid for the food. Then they carried the*

groceries home, в то время как в другой половине последовательность событий была случайной: *One day Jane's aunt came to visit. They played with Jane's new doll. Then they colored in coloring books. Jane's aunt made pancakes and they ate them. Then they sang songs. Then they walked around outside.* В результате данного исследования оказалось, что дети правильно отвечали на 82% *after*-вопросов и только на 60% *before*-вопросов, что противоречило модели семантических признаков Е. Кларк. С другой стороны, трехлетние дети успешно справлялись с заданиями в случае однозначных историй, но часто не могли правильно ответить на вопрос относительно историй со свободным порядком событий, в то время как четырехлетние дети уже справлялись и с тем, и с другим заданием. Из всего вышперечисленного авторы сделали следующие выводы: (а) даже в трехлетнем возрасте (а, возможно, и раньше) дети уже обладают как базовыми знаниями о лексическом значении *before* и *after*, так и пониманием логических отношений 'раньше' и 'позже'; единственное, что они в таком возрасте не всегда могут сделать – это применить свои знания в более сложном контексте; (б) неправильно говорить ни о более простом понимании *before*-предложений, ни о более простом понимании *after*-предложений – такие ошибки возникают вследствие того, что ребенок, не понимая слишком сложного для него предложения, выбирает ту или иную стратегию поведения – в зависимости от конкретной стратегии, преобладает тот или иной тип ошибок; (в) тот факт, что в данных исследованиях порождение опережает понимание (а по результатам исследований получается, что ребенок начинает правильно понимать их только к пяти годам, а правильно порождать – ранее трех лет), связан с тем, что при понимании высказывания ребенку нужно восстанавливать сложную ментальную репрезентацию, на что у него часто не хватает ресурсов памяти, а при порождении эта ментальная репрезентация уже имеется у него в готовом виде³.

Несмотря на то, что в 80-х XX столетия данная проблема была еще далека от своего окончательного решения, по каким-то причинам интерес к ней в западной периодике заметно ослабел. Насколько нам известно, последняя по времени серьезная работа среди работ данного направления датирована 1991 годом [Natsopoulos et al. 1991]. По нашему мнению, однако, идея вновь вернуться к этому вопросу после пятнадцатилетнего перерыва представляется весьма перспективной, так как современный уровень развития когнитивной психологии и экспериментальной психолингвистики (как с точки зрения развития теоретических представлений, так и в связи с серьезным прогрессом в области экспериментальных технологий) дает возможность во многом переосмыслить результаты предшествующих работ. Кроме того, дополнительный интерес представляет возможность сравнения результатов англоязычных исследований с результатами аналогичных экспериментов на материале русского языка, которые и будут описаны в последующих разделах настоящей работы.

3. СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ: ИЗУЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Прежде чем переходить к собственно экспериментальной части работы, рассмотрим кратко, как описываются сложноподчиненные предложения с придаточными времени в отечественной традиции. Согласно русским грамматикам, одна из двух соотносимых ситуаций сложноподчиненного предложения (та, сообщение о которой оформлено в придаточном предложении) выполняет в рамках временной конструкции роль ориентира, с помощью которого – путем указания на совпадение с ним, предшествование или следование – характеризуется временной признак другой части. Нас в данной работе будут интересовать предложения со значением *разновременности* (предшествования или следования).

³ Более полный обзор исследований на данную тему см. в работе [Beilin 1975].

Союзы, которые будут использоваться в экспериментальных предложениях, являются союзами д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х значений – в таких предложениях сам союз однозначно определяет, какова временная последовательность ситуаций, соотносенных в рамках сложноподчиненного предложения. Предложения с союзом *перед тем* (,) как входят в группу сложноподчиненных предложений со значением *предшествования* – подобные предложения содержат информацию о том, что ситуация, представленная в главной части, предшествует ситуации, представленной в придаточной части. Предложения с союзом *после того* (,) как, напротив, входят в группу сложноподчиненных предложений со значением *следования* – подобные предложения содержат информацию о том, что ситуация, представленная в главной части, следует за ситуацией, представленной в придаточной части. Между союзами *перед тем как* и *после того как* наблюдается важное различие с точки зрения конкретизации характера предшествования и следования соответственно: в то время как союз *после того как* в наименьшей степени по сравнению с аналогичными союзами конкретизирует характер следования, сам по себе не указывая на то, существует или нет интервал между ситуациями, представленными в главном и придаточном предложении, союз *перед тем как* (в отличие от немаркированного члена данной группы – союза *до того как*) выражает временную сближенность ситуаций или их непосредственное соприкосновение.

Начиная подготавливать экспериментальный материал для первых экспериментов на русском языке, мы решили проверить все три основные гипотезы, сформулированные в исследованиях, проведенных с англоязычными испытуемыми. Кроме того, в экспериментальный материал были включены бессоюзные предложения типа 'Сначала А, потом В'. Исходные гипотезы выглядели следующим образом (см. также таблицу 2):

Гипотеза 1. Предложения с порядком клауз 'Main-Sub' понимаются лучше => в примерах (в) и (г), представленных в таблице, ошибок будет меньше (выделено **полужирным** шрифтом).

Гипотеза 2. Предложения с прямым порядком событий понимаются лучше => в примерах (б) и (в) ошибок будет меньше (выделено *курсивом*).

Гипотеза 3. Предложения с лексемой *перед* понимаются лучше => в примерах (а) и (в) ошибок будет меньше (выделено подчеркиванием).

Гипотеза 4. Предложения с бессоюзной связью понимаются лучше, чем любые другие => в примере (д) будет меньше всего ошибок.

Таблица 2

Гипотетическое распределение предложений по сложности понимания

№	Предложение	Порядок клауз	Семантика союза	Порядок событий
а	<u>Перед тем, как В, А</u>	Sub-Main	<u>предшествование</u>	обратный
б	<i>После того, как А, В</i>	Sub-Main	следование	<i>прямой</i>
в	<u>А перед тем, как В</u>	Main-Sub	<u>предшествование</u>	<i>прямой</i>
г	В после того, как А	Main-Sub	следование	обратный
д	Сначала А, потом В	–	–	прямой

Как нетрудно видеть из таблицы, из четырех рассматриваемых вариантов наиболее легким для понимания мы считаем предложение (в) 'А, перед тем как В': оно оказывается проще на основании и первой, и второй и третьей гипотезы.

Кроме проверки вышеперечисленных четырех гипотез, мы также хотели определить *в л и я н и е в о з р а с т а* на количество и распределение подобного рода ошибок, поэтому в первом эксперименте были представлены четыре возрастные группы испытуемых.

Участники. В Эксперименте 1 приняли участие 80 человек, в первой из четырех возрастных групп было 20 детей от 4 до 7 лет, во второй – 20 подростков от 12 до 15 лет, в третьей – 20 студентов в возрасте от 18 до 25 лет и в четвертой – 20 людей среднего возраста от 40 до 50 лет.

Стимульный материал и процедура проведения. Все участники Эксперимента 1 выполняли задания по методике разыгрывания сцен, передвигая на игровом поле каждый раз два из трех небольших однотипных предметов. Испытуемых просили выполнять задания в быстром темпе, но одновременно стараться запоминать последовательность передвижений, чтобы в конце эксперимента быть в состоянии правильно ответить на три контрольных вопроса типа *Какая фигура первой достигла финиша?* Как для детей, так и для взрослых задания звучали в игровой форме, например, *Перед тем, как шагнет заяц, шагнет медведь.* Эксперимент 1 продолжался 3–5 минут и состоял всего из 10 заданий: два из них были бессюжного типа, остальные восемь распределялись поровну между четырьмя основными типами. Так как эксперимент не записывался на видеокамеру, при подсчете результатов учитывались только случаи “чистых” ошибок, т.е. все случаи, когда испытуемый сначала дотрагивался не до той фигуры или долго думал, при анализе в расчет не принимались. Полные результаты Эксперимента 1 приведены в таблице 3 ниже.

Результаты. Всего испытуемые в Эксперименте 1 сделали 110 ошибок – это примерно 14% от общего числа выполненных заданий; у детей этот процент наибольший – 27%, у студентов – наименьший – 6,5%. Опускание действия одного из предложений характерно для детей и нехарактерно для трех остальных групп; действие главного предложения при этом опускалось так же часто, как и действие придаточного (13 случаев против 12). В предложениях типа ‘Сначала А, потом В’ было сделано минимальное количество ошибок – 0,5%. Распределение по остальным типам в порядке возрастания таково: предложения со схемой ‘После того, как А, В’ вызвали 10% ошибок от всех предложений данного типа; предложения ‘Перед тем, как В, А’ – 15,6%; предложения ‘В после того, как А’ – 16,3% и, наконец, самыми сложными оказались предложения со схемой ‘А перед тем, как В’ – 24,3%. Приведем также отдельные данные по студентам, так как эти цифры понадобятся нам при сравнении результатов Эксперимента 1 с Экспериментом 2: 5%–5%–10%–12,5% по четырем типам в том же порядке.

Таблица 3

Результаты эксперимента 1

№	Схема предложения	Reversal		OmitMain	OmitSub	Всего по группам		Всего
а	Перед тем, как В, А	7	5	5	2	14	5	25
		2	4			2	4	
б	После того, как А, В	4	2	3	3	10	2	16
		2	2			2	2	
в	А перед тем, как В	10	8	4	2	16	8	39
		5	9			5	10	
г	В после того, как А	6	5	1	4	10	5	26
		4	6			4	7	
д	Сначала А, потом В	4				4		4
	Всего по группам	31	20	12	11	54	20	110
		13	21	1	1	13	23	
	Всего	85		13	12	110		

Пояснения к таблице 3. В каждой клетке с результатами в левом верхнем углу дается количество ошибок у детей, справа вверху – подростков, слева внизу – студентов и справа внизу – взрослых; Reversal – испытуемый выполнил оба действия, но в неправильном порядке; OmitMain – испытуемый опустил действие главного предложения; OmitSub – испытуемый опустил действие придаточного предложения.

Участники. В эксперименте 2, проведенном в июле 2003 года в Санкт-Петербурге, приняли участие 34 студента Санкт-Петербургского университета⁴.

Стимульный материал и процедура проведения. Каждый испытуемый в Эксперименте 2 перекладывал на игровом поле формата 3 × 3 картинки с изображением хорошо известных ему предметов (таких как свеча, корабль, орех, кровать). Предложения были сгруппированы тройками, всего в ходе эксперимента, продолжавшегося примерно около тридцати минут, использовалось 25 таких троек; каждая тройка [см. (2)] состояла из двух простых предложений-филлеров (отвлекающих предложений) и одного экспериментального предложения, которое, как и в Эксперименте 1, было одно из пяти типов. Экспериментальное предложение стояло в каждой тройке или на втором, или на третьем месте. В ходе Эксперимента 2 каждый испытуемый выполнял по пять заданий каждого из пяти типов. Специальное оборудование записывало движения глаз испытуемых, весь эксперимент также полностью записывался на цифровую видеокамеру. В настоящей работе будут приведены данные, полученные в результате расшифровки видеозаписи действий испытуемых, однако, как и в Эксперименте 1, мы будем рассматривать только случаи “чистых” ошибок.

- (2) филлер 8–1 Оранжевую положите свечу в пакет.
 эксперим. 8–2 А после того как положите розовую ложку в миску,
 оранжевый орех переложите в коробку.
 филлер 8–3 А теперь положите зеленый сундук справа от ложки.

Результаты. Данные о результатах Эксперимента 2 (в абсолютных цифрах и в процентах) приводятся в таблице 4. Подробному обсуждению полученных результатов двух экспериментов будет посвящен следующий раздел работы, в настоящем разделе мы лишь кратко отметим наиболее важные из них.

В Эксперименте 2 тридцать четыре испытуемых совершили в общей сложности 133 ошибки, это 16,7% от общего количества заданий. В отличие от Эксперимента 1, в Эксперименте 2 испытуемые не совершили ни одной ошибки в предложениях со схемой ‘Сначала А, потом В’; кроме того, из трех возможных типов ошибок: (а) перемещение неправильного (т.е. не входящего в экспериментальное задание) предмета, (б) перемещение только одного из двух предметов и (в) изменение порядка выполнения действий на обратный – все ошибки были только одного типа, а именно, испытуемые выполняли правильные действия в неправильном порядке.

Таблица 4

Результаты Эксперимента 2

№	Схема предложения	Абсолютное количество ошибок	Количество ошибок (%)
а	Перед тем как В, А	6	3,8
б	После того как А, В	4	2,5
в	А, перед тем как В	116	72
г	В, после того как А	7	4,4
д	Сначала А, потом В	0	0
	Всего	133	16,7

⁴ Экспериментальный материал Эксперимента 2 был использован в качестве отвлекающего материала в эксперименте, описанном в работе [Sekerina, in press].

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вернемся к четырем основным гипотезам "русских" экспериментов, описанным в начале третьего раздела, и сравним гипотетическое распределение ошибок с фактическим (см. таблицу 5). Нетрудно убедиться, что по результатам обоих экспериментов подтвердилась только последняя, четвертая, гипотеза о более легком понимании предложений с бессоюзной связью. Фактическое распределение ошибок по трем остальным гипотезам во всех случаях оказалось противоположным ожидаемому. В Эксперименте 1 этот эффект в некоторых случаях оказался слабовыраженным, однако в Эксперименте 2 он несомненен. Более того, самым удивительным является факт наличия наибольшего количества ошибок (достигающего в Эксперименте 2 72%!) в самом гипотетически простом типе предложений, а именно, в случае 'А, перед тем как В' – по нашим предварительным гипотезам, сформулированным на основе аналогичных экспериментов на материале английского языка, эти предложения должны были оказаться проще во всех трех случаях. Однако данные говорят об обратном, и нам теперь предстоит объяснить этот парадоксальный результат.

Таблица 5

Результаты Эксперимента 1 и Эксперимента 2 по исходным гипотезам

Исходные гипотезы	Гипотетическое распределение ошибок	Фактическое распределение ошибок, %	
		Эксперимент 1	Эксперимент 2
Гипотеза 1. Предложения с порядком клауз Main-Sub понимаются лучше	(Перед_2 и После_2) \gg (Перед_1 и После_1)	20,3 \ll 16	36,2 \ll 3,2
Гипотеза 2. Предложения с прямым порядком действий понимаются лучше	(Перед_2 и После_1) \gg (Перед_1 и После_2)	17,2 \ll 15,9	35,3 \ll 3,8
Гипотеза 3. Предложения с лексемой <i>перед</i> понимаются лучше	(Перед_1 и Перед_2) \gg (После_1 и После_2)	20 \ll 13,1	35,9 \ll 3,2
Гипотеза 4. Предложения с бессоюзной связью понимаются лучше, чем любые другие	(Сначала) \gg (Перед_1, Перед_2, После_1 и После_2)	0,5 \gg 16,6	(0) \gg 19,6

Пояснения к таблице 5. Символами 'А \gg В' обозначено отношение 'А понимается лучше, чем В', а символами 'А \ll В' – 'А понимается хуже, чем В'.

Рассмотрим теперь влияние фактора возраста испытуемых на количество и качество ошибок, совершенных в Эксперименте 1 (см. гистограмму на рис. 1, на которой в наглядной форме приведены результаты, представленные в таблице 3). Данные результаты оказались вполне предсказуемыми: дети делают намного больше ошибок, чем взрослые; студенты 18–25 лет – меньше всего, а количество ошибок, совершаемых подростками и людьми среднего возраста, примерно одинаково.

Теперь сравним данные обоих экспериментов для испытуемых студенческого возраста. В Эксперименте 1 в эту категорию вошли 20 испытуемых, в Эксперименте 2 – все участники (34 человека) были студентами (см. таблицу 6). Результаты этих экспериментов похожи – в обоих нет ошибок в случае бессоюзной связи, а количество ошибок в предложениях с союзными словами на первом месте невелико; в случае же, когда союзное слово *после того как* оказывается на втором месте, количество ошибок

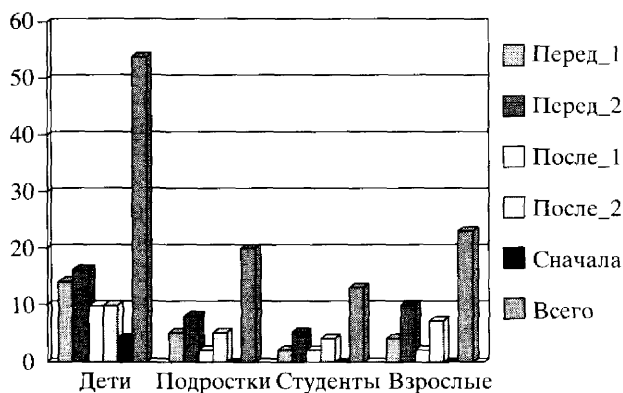


Рис. 1. Распределение ошибок в зависимости от типа предложения и возраста испытуемых (Эксперимент 1)

возрастает примерно в два раза. Однако между ними есть бросающееся в глаза различие – если в Эксперименте 1 в случае, когда союзное слово *перед тем как* оказывается на втором месте, количество ошибок увеличивается примерно в два с половиной раза (с 5% до 12,5%), то в Эксперименте 2 количество ошибок в этом случае возрастает в двадцать раз (с 3,8% до 72%).

Таблица 6

Сопоставительные результаты Экспериментов 1 и 2 со студентами 18–25 лет

№	Схема предложения	Ошибки в Эксперименте 1 (%)	Ошибки в Эксперименте 2 (%)
а	Перед тем как В, А	5	3,8
б	После того как А, В	5	2,5
в	А, перед тем как В	12,5	72
г	В, после того как А	10	4,4
д	Сначала А, потом В	0	0
	Всего	6,5	16,7

Эксперименты 1 и 2 очень похожи между собой – оба проводились в игровой форме, в обоих задания состояли в том, чтобы передвигать определенные предметы в соответствии со звуковыми инструкциями. Эксперимент 2 был значительно продолжительнее, но при этом сложные экспериментальные задания чередовались с совсем простыми отвлекающими. Но результаты говорят о том, что что-то в Эксперименте 2 вызвало у испытуемых очень серьезные затруднения. Постараемся определить, что именно. Для этого посмотрим на экспериментальные предложения: *Перед тем, как шагнет заяц, шагнет медведь* (Эксперимент 1) и *А перед тем как переставите коричневый диван под змею, положите голубую птицу в корзинку* (Эксперимент 2). Нетрудно заметить, что Эксперимент 1 был намного проще по общей нагрузке на когнитивный аппарат испытуемых: в этом первом эксперименте было всего три предмета, и каждый раз надо было переставлять два из них в правильном порядке, т.е. в каждой попытке необходимо было запомнить только, какие это две фигуры и в каком порядке надо их передвинуть. В эксперимент 2, напротив, было уже четыре стимула, разных в каждом из 25 заданий (два из них всегда были одного и того же цвета, а два других – всегда разного); более то-

го, необходимо было запомнить, не только какие два предмета надо выбрать и в каком порядке они перекладываются, но и для каждого из них нужно было еще запомнить место (один из восьми контейнеров, как то: корзинка, бочка, скамейка и под.), куда их следовало переложить. Таким образом, испытуемым приходилось тратить намного больше мыслительных ресурсов. Если принять немодулярный подход к устройству оперативной памяти человека (single-resource approach), который более распространен в современных исследованиях по когнитивной психологии, то станет понятно, что в более сложном Эксперименте 2, когда приходилось держать в голове одновременно большое количество разной информации, многим испытуемым просто не хватало ресурсов их оперативной памяти, поэтому они совершали ошибки в самых сложных, т.е. ресурсозатратных, случаях.

Однако для того, чтобы наше предположение приобрело более весомый характер, необходимо будет провести еще один аналогичный эксперимент, предварительно разбив всех испытуемых на две группы в зависимости от объема их оперативной памяти. Если успешность выполнения подобных заданий действительно напрямую связана с объемом оперативной памяти, то тогда испытуемые с большим объемом будут делать значительно меньше ошибок, чем испытуемые с небольшим объемом оперативной памяти.

Итак, мы высказали предположение о том, почему в Эксперименте 2 испытуемые совершают такое большое количество ошибок. Но теперь нам предстоит объяснить, почему подавляющее большинство таких ошибок возникает с предложениями только одного конкретного типа, а именно, типа 'А, перед тем как В'. Согласно нашему предположению, при выполнении заданий этого типа нагрузка на мыслительный аппарат человека становится чрезмерно большой, и поэтому происходит сбой; следовательно, эти предложения намного сложнее для понимания, чем остальные три. Ниже мы предложим несколько вариантов объяснения причин этого феномена. Однако стоит сразу же оговорить, что эти объяснения должны учитывать тот факт, что на материале английского языка картина получилась зеркально противоположная – таким образом, наши гипотезы должны как-то объяснять это различие в языковом поведении разноязычных испытуемых.

Самая простая гипотеза, объясняющая обнаруженный в Эксперименте 2 феномен – это так называемая Tuning-теория, согласно которой понимание тех или иных языковых конструкций основано на частотности их употребления в предыдущем языковом опыте испытуемых. Вполне возможно, что английский и русский языки сильно различаются с точки зрения распределения четырех типов сложноподчиненных предложений по их частотности в устных и письменных текстах. Для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести корпусное исследование в первую очередь устной русской речи: если окажется, что предложения с начальной позицией союзного слова, т.е. схемы 'Перед тем как В, А' и 'После того как А, В' более частотны, чем схемы с позицией союзного слова в середине сложного предложения, а среди последних двух схема 'А, перед тем как В' намного менее частотна, чем 'В, после того как А', то это будет сильным аргументом в пользу Tuning-гипотезы.

Вторую группу возможных объяснений объединяет идея неестественности предложений со схемой 'А, перед тем как В'. Сам факт подобной неестественности был установлен в результате небольшого пилотажного эксперимента, в ходе которого восемь испытуемых читали четверки предложений, описывающих одну и ту же ситуацию; среди 16 таких четверок 4 четверки состояли из предложений рассматриваемого типа, в остальных было использовано три других типа синонимических преобразований; порядок следования предложений внутри четверки каждый раз был разным. Задание для испытуемых состояло в том, чтобы выбрать одно из четырех предложений, которое показалось им максимально неестественным способом описания данной ситуации. Результаты данного эксперимента оказались весьма красноречивы – в 29 случаях из 32 испытуемые выбирали именно предложение 'А, перед тем как В'. Несмотря на такие убедительные результаты, установить причину такой неестественности очень непросто.

Две вышеизложенные гипотезы, несмотря на внешнюю правдоподобность, все же вряд ли могут полностью объяснить такое несоизмеримо большое количество ошибок (72%) в типе предложений 'А, перед тем как В'. Третья гипотеза, на наш взгляд, подходит для этого лучше. Она состоит из двух основных допущений.

Во-первых, рассмотрим более подробно вопрос о каноническом порядке следования компонентов сложноподчиненных предложений данного типа. Начиная с самых первых работ [Smith, McMahon 1970], предложения с порядком следования клауз 'Main-Sub', т.е. предложения с 'Перед_2' и 'После_2' в английском языке рассматривались как синтаксически более простые, чем предложения с порядком клауз 'Sub-Main'; данный факт подтверждается и экспериментально: предложения с порядком клауз 'Main-Sub' оказываются проще для понимания, чем предложения с порядком клауз 'Sub-Main'. В японском языке, напротив, ситуация обратная: как уже отмечалось во втором разделе настоящей работы, придаточное предложение в японском языке всегда предшествует главному. Таким образом, в японском языке разрешены только сложноподчиненные предложения с типами 'Перед_1' и 'После_1'. Мы предполагаем, что русский язык в этом смысле находится, если можно так сказать, где-то посередине между японским и английским – с одной стороны, в нем, как и в английском, разрешены все четыре типа комбинаций 'Перед_1', 'Перед_2', 'После_1' и 'После_2', однако начальное положение союзного слова, т.е. 'Перед_1' и 'После_1' является каноническим – оно намного предпочтительнее, чем 'Перед_2' и 'После_2', что сдвигает данные русского языка по направлению к японскому, где сложноподчиненные предложения с придаточным после главного просто запрещены (см. таблицу 7). Данное предположение подтверждается двумя небольшими пилотными корпусными исследованиями русских письменных текстов. Таким образом, в русском языке понимание сложноподчиненных предложений времени с начальным придаточным всегда проще понимания сложноподчиненных придаточных времени с конечным придаточным.

Во-вторых, мы предполагаем, что в Эксперименте 2 для многих испытуемых задания со сложноподчиненными предложениями с конечной позицией придаточного (как 'Перед_2', так и 'После_2') оказались слишком сложными (вполне вероятно, это связано с их индивидуальными различиями в объеме оперативной памяти), поэтому им пришлось выполнять его, не до конца понимая услышанное. На наш взгляд, в ситуации, когда испытуемые не могли запомнить информацию о правильном порядке выполнения действий, они пользовались особой стратегией, которая не совпадала ни с одной из трех уже известных, а именно: в ситуации возможности скорого переполнения оперативной памяти они сначала выполняли то действие, информацию о котором они больше боялись потерять, а потом уже, освободившись от этой информации, выполняли то действие, информация о котором хранилась в оперативной памяти устойчивее.

Таблица 7

Порядок клауз в английском, японском и русском языках

Язык	Разрешенные конструкции	Разрешенный порядок клауз	Канонический порядок клауз
английский	Before_2, After_2 Before_1, After_1	Main-Sub Sub-Main	Main-Sub
японский	'Before'_1, 'After'_1	Sub-Main	Sub-Main
русский	Перед_2, После_2 Перед_1, После_1	Main-Sub Sub-Main	Sub-Main

Теперь нам осталось определить, какая информация быстрее попадает и более устойчиво хранится в оперативной памяти. Согласно работе [Townsend, Ravelo 1980], на этот

счет существует несколько теорий: в первой утверждается, что, слушая сложное предложение, человек интерпретирует его последовательно клауза за клаузой – таким образом, информация первого предложения быстрее попадает в оперативную память и оказывается более семантически доступной, чем информация второго. Вторая теория гласит, что быстрее интерпретируется информация в главном предложении – с одной стороны, она обычно оказывается важнее, чем информация придаточного предложения (так как обычно оказывается новой и/или является ассерцией высказывания, в то время как информация в придаточном принадлежит к фону и/или является пресуппозицией высказывания); с другой стороны, главное предложение является более функционально полным, так как может служить самостоятельным высказыванием. Наконец, третья теория утверждает, что человек, слушая сложное предложение, сразу устанавливает причинно-временные связи между его частями; и так как обычно событие, описываемое в первом предложении, является причиной события, описываемого во втором, то в первую очередь интерпретируется именно информация первого предложения.

В более недавней работе [Mazuka 1998] автор еще раз подтвердила тот факт, что как взрослые носители языка, так и дети, воспринимая сложное предложение, сразу устанавливают семантическую структуру главного предложения, в то время как придаточное продолжает храниться в *verbatim* виде.

Наконец, посмотрим, о чем говорят перечисленные выше гипотезы. Если кратко суммировать их результаты, то получается, что быстрее попадает в оперативную память и устойчивее там хранится: первое предложение (первая гипотеза), главное предложение (вторая гипотеза), первое предложение (третья гипотеза) и еще раз главное предложение (работа [Mazuka 1998]). А теперь вернемся в последний раз к нашим двум сложным предложениям с ‘Перед_2’ и ‘После_2’ – *Катя позвонит маме, перед тем как Маша пойдет в магазин и Маша пойдет в магазин, после того как Катя позвонит маме* – и предположим, что многие испытуемые второго эксперимента действовали в соответствии с нашей гипотезой, изложенной выше: сначала выполняли то действие, информация о котором хранилась в оперативной памяти в менее устойчивом виде, а потом уже то, информация о котором хранилась там в более структурированном, т.е. в более устойчивом виде. Какую бы из приведенных четырех гипотез мы не приняли в качестве основной, в случае предложений с ‘Перед_2’ и ‘После_2’ следование такой стратегии приводит к тому, что первым выполняется действие второго, придаточного, предложения. Но если в случае предложений с ‘После_2’ результат случайно оказывается правильным, то в случае с ‘Перед_2’, наоборот, неправильным.

Таким образом, с помощью двух выдвинутых нами гипотез – а) каноническим (и, следовательно, более простым для понимания) порядком следования клауз в русских сложноподчиненных предложениях с придаточными времени является порядок ‘Sub-Main’; б) в ситуации дефицита оперативной памяти испытуемые, не до конца понимая экспериментальное задание, предпочитают выполнять действие той части сложноподчиненного предложения, которая хранится в оперативной памяти в менее устойчивой форме (т.е. ‘Перед_2’ и ‘После_2’), – мы можем корректно объяснить такой большой процент ошибок в данном типе предложений с ‘Перед_2’. Впрочем, до проведения новых экспериментов данное объяснение тоже остается только на уровне предположений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Amidon, Carey 1972 – A. Amidon, P. Carey. Why five-year-olds cannot understand Before and After // Journal of verbal learning and verbal behavior. 11. 1972.
- Ansell, Flowers 1982 – B.J. Ansell, C.Y. Flowers. Aphasic adults’ understanding of complex adverbial sentences // Brain and language. 15. 1982.
- Beaver, Condoravdi 2004 – D. Beaver, C. Condoravdi. A uniform analysis of Before and After // SALT 13. 2004.
- Beilin 1975 – H. Beilin. Temporal reference and development of the conception of time // H. Beilin (ed.). Studies in the cognitive basis of language development. New York, 1975.

- Bever 1970 – *T.G. Bever*. The comprehension and memory of sentences with temporal relations // G.B. Flores d'Arcais, W.J.M. Levelt (eds.). *Advances in psycholinguistics*. Amsterdam, 1970.
- Carni, French 1984 – *E. Carni, L.A. French*. The acquisition of Before and After reconsidered: What develops? // *Journal of experimental child psychology*. 37. 1984.
- Clark E. 1971 – *E.V. Clark*. On the acquisition of the meaning of before and after // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. 10. 1971.
- Clark E. 1973 – *E.V. Clark*. What's in a word? On the child's acquisition of semantics in his first language // T.E. Moore (ed.). *Cognitive development and the acquisition of language*. New York, 1973.
- Clark H., Clark E. 1968 – *H.H. Clark, E.V. Clark*. Semantic distinctions and memory for complex sentences // *Quarterly journal of experimental psychology*. 20. 1968.
- Clark 1969 – *H. Clark*. Linguistic processes in deductive reasoning // *Psychological review*. 76. 1969.
- Johnson 1975 – *H.L. Johnson*. The meaning of before and after for preschool children // *Journal of experimental child psychology*. 19. 1975.
- Mazuka 1998 – *R. Mazuka*. The development of language processing strategies. A cross-linguistic study between Japanese and English. Hove. 1998.
- Munro, Wales 1982 – *J.K. Munro, R.J. Wales*. Changes in the child's comprehension of simultaneity and sequence // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. 21. 1982.
- Natsopoulos, Xeromeritou 1988 – *D. Natsopoulos, A. Xeromeritou*. Comprehension of "Before" and "After" by normal and educable mentally retarded children // *Journal of applied developmental psychology*. 9. 1988.
- Natsopoulos et al. 1991 – *D. Natsopoulos, G. Mentenopoulos, S. Bostanzopoulou, Z. Katsarou, G. Grouios, J. Logothetis*. Understanding of relational time terms Before and After in parkinsonian patients // *Brain and language*. 40. 1991.
- Sasanuma, Kamio 1976 – *S. Sasanuma, A. Kamio*. Aphasics' comprehension of sentences expressing temporal order of events // *Brain and language*. 3. 1976.
- Sekerina, in press – *I.A. Sekerina*. Grammar-based effects in Russian spoken-word recognition // *Journal of memory and language*, in press.
- Smith, McMahon 1970 – *K. Smith, L. McMahon*. Understanding order information in sentences: Some recent work at Bell Laboratories // G.B. Flores d'Arcais, W.J.M. Levelt (eds.). *Advances in psycholinguistics*. Amsterdam, 1970.
- Tibbits 1980 – *D.F. Tibbits*. Oral production of linguistically complex sentences with meaning relationships of time // *Journal of psycholinguistic research*. 9. 1980.
- Townsend, Ravelo 1980 – *D.J. Townsend, N. Ravelo*. The development of complex sentence processing strategies // *Journal of experimental child psychology*. 29. 1980.

© 2005 г. Ф.Ш. НУРИЕВА

**ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

В работе представлены результаты объемного исследования, которое было предпринято автором по изучению начального этапа становления татарского литературного языка, являющегося изводом поволжско-тюркского литературного языка. На основе детального обследования большого круга памятников разного содержания показано, что литературный язык в Золотой Орде складывался на основе кыпчакского койне, которое в трудах писателей и поэтов, опиравшихся на многовековую общетюркскую литературную традицию, впитывало региональные языковые черты. В статье использована новая для татарского языкознания методика сплошного лексико-морфологического анализа всех привлеченных памятников и статистическая обработка материала. Полученные результаты интерпретируются через призму членения фактов на “базисные” и “референтные”, как это было ранее апробировано Г.Ф. Благовой на материале “Бабу-наме”.

В данной статье дается общая характеристика языка памятников золотоордынского периода, созданных в XIII – нач. XV в. в культурных центрах Золотой Орды: Сарае, Хорезме и мамлюкском Египте. Это произведения религиозно-дидактического содержания: “Кысас ал-анбия” (= КР) Рабгузи (1310), “Нахдж ал-Фарадис” (=НФ) Махмуда ал-Булгари (1358), “Джумдзума султан” (= Дж.) Хусама Кятиба (1369), “Кисекбаш китабы” (= Кб); произведения светского характера: “Хосров и Ширин” (XIII) Кутба (1383), “Мухаббат-наме” (= МН) Хорезми (1353), “Гулистан бит-тюрки” (= Гб) Сейифа Сараи (1391); арабско-кыпчакские глоссарии: например, “Codex Cumanicus” (= СС) (1303); тексты по мусульманской юриспруденции: “Иршад ал-мулук ва ас-салатин” (= ИМ) (1383).

Исходные теоретические позиции нашего исследования базируются на аргументированном понимании состояния тюркских литературных памятников, которые содержатся в разработках Э.Р. Тенишева и его предшественников – А.Н. Самойловича, Э.Н. Наджиба и др.

Положение об единстве литературного языка тюркоязычных народов и об изменчивости его под влиянием живых диалектов лежали в основе предложенной А.Н. Самойловичем периодизации письменной культуры тюрков в рамках исламской цивилизации: первый период – с центром в Кашгаре и с исходным моментом образования Каракханидского государства; второй – с центрами в бассейне нижнего течения Сырдарьи и в Хорезме и с исходным моментом укрепления ислама среди огузов и кыпчаков; третий – с рядом центров в оседлой части Чагатайского улуса и с исходным моментом укрепления культурной жизни в тимуридских владениях. А.Н. Самойлович придавал особое значение второму периоду, кыпчакско-огузскому, так как именно в этот период, а не в чагатайский, наметилась, благодаря образованию империи Чингисхана, обстановка, благоприятная для выработки единого литературного языка всех мусульманско-тюркских племен монгольского государства и именно к этому периоду относится зарождение главных современных мусульманско-тюркских литературных языков. Ученый прямо указывает на преемственность современного татарского языка по отношению к литературному языку Золотой Орды: “казанско-татарский литературный язык, переживший несколько периодов развития, старейшие корни свои, корни кыпчакские, имеет не

в XV в., как принято утверждать, а в еще более ранних литературных произведениях Золотой Орды, в коих преобладают кыпчакские языковые элементы. Такова же начальная судьба и крымско-татарского литературного языка” [Самойлович 1928: 21].

Концепция А.Н. Самойловича о преемственности единой книжной традиции получила свое продолжение в трудах Э.Р. Тенишева [Тенишев 1976а; 1976б; 1977а; 1977б]. Признавая обоснованным выделение А.Н. Самойловичем трех периодов в истории развития тюркских литературных языков, ученый предлагает стратифицировать историю тюркских литературных языков не только хронологически, распределяя письменные памятники по периодам, начиная с первого письменного литературного варианта – рунического койне VII–IX вв., но и в пространственном отношении – как региональные варианты. Теоретические положения Э.Р. Тенишева основаны не только на чисто лингвистических фактах, но и на современных теориях развития литературного языка, их типологии, существенным компонентом которых является социолингвистический и комплексный подход к изучаемой проблеме.

Существенный вклад в изучение конкретных памятников интересующего нас периода внес Э.Н. Наджип. Сопоставительное изучение созданных на территории Золотой Орды и Египта памятников, которое основывается прежде всего на выявлении лексических особенностей, выделении лексем по их диалектным признакам и последующей их статистической обработке, привело Э.Н. Наджипа к следующим выводам: 1) к XIV в. оформляется общий для Золотой Орды и Египта кыпчакско-огузский литературный язык *й*-группы; 2) параллельно с этим качественно новым литературным языком продолжает функционировать более архаичный письменный язык *з*-группы, который Э.Н. Наджип называет огузско-кыпчакским литературным языком Нижнего Поволжья – Хорезма [Наджип 1965–1994; 1966; 1970; 1975; 1979]. В этих трудах выстроена единая линия развития и преемственности языков и литературных традиций.

Общую линию развития тюрко-татарского языка начиная с XIII в. можно представить следующим образом. Письменно-литературная форма языка начального периода в своем развитии в литературных центрах Золотой Орды ориентируется на фонетико-графические и грамматические нормы литературных языков карахандско-уйгурского ареала. Это объясняется тем, что указанные ареалы в этот исторический период оставались центрами распространения мусульманской образованности, включавшей, помимо религиозных основ, также и соответствующие формы письменно-литературного языка, в которые облекалась прежде всего религиозно-дидактическая литература. Культурная жизнь Золотой Орды начиная со времен становления самостоятельного государства сопровождалась сильным культурным воздействием знаменитых мусульманских подвижников-богословов, поэтому неудивительно, что в региональных литературных центрах Золотой Орды столь значимые позиции занимал литературно-письменный язык, базирующийся на карахандско-уйгурском варианте тюркского письменного языка, который закреплял свои позиции и в литературных центрах Золотой Орды. В то же время основное население Джучиева Улуса как оседлое, так и кочевое, являлось носителем племенных языков кыпчакского типа, что доказано трудами историков и культурологов. Хотя среди жителей Золотой Орды, надо думать, преимущественно в городах или среди воинов были носители также и языков огузского и карлукского типов (например, уйгуры в канцеляриях). Таким образом, упомянутые носители мусульманской цивилизации в силу этнодемографических условий оказались в преобладающей среде кыпчакоязычного населения. Данная этническая ситуация способствовала сложению в культурных и торговых центрах наддиалектного койне, базирующегося на кыпчакской языковой стихии. Именно этот факт находит подтверждение в материалах нашего исследования на основе приведенных выше текстов. Оно свидетельствует о воздействии народно-разговорного койне на складывающуюся в указанных условиях норму письменно-литературного языка изучаемого периода. Это влияние и взаимодействие старой традиции с новыми языковыми процессами нашло разные формы отражения в языке отдельных памятников. Это зависело от ряда факторов: жанровой принадлежности памятника (религиозно-дидактическая литература оставалась

более устойчивой, а светская литература быстрее принимала новации), от образованности и принадлежности автора к определенной литературно-художественной школе, от заказчика произведения (как, например, “Хосров и Ширин” Кутба, “Мухаббат-наме” Хорезми), от конкретных условий места создания, от переписчика.

В тюркологии язык золотоордынских памятников определяется как “смешанный”. Однако относительно содержания термина “смешанный” среди тюркологов нет единого мнения. Под термином “смешанный” тюркологи понимают содержание в тексте памятника фонетических, грамматических, лексических элементов, принадлежащих, с их точки зрения, языку другой классификационной группы: кыпчакской, огузской, уйгурской, карлукской. Очень часто вместо указанной языковой атрибуции эти элементы обозначаются географическими или ареальными терминами: “хорезмийский письменный язык”, “хорезмско-золотоордынский письменный язык”, “восточнотюркский язык”, “золотоордынско-египетский литературный язык” или же даются хронологические определения: древнетюркский, среднетюркский, иногда социально-политические: “мамлюкско-кыпчакский”, “чагатайский язык”. Как правило, при этом четко не устанавливается весь круг памятников, соответствующих этим определениям. Между тем, в современной лингвистике понятие “смешанный язык” имеет конкретное содержание. В частности, его применяют к креольским языкам, которые возникали в специфических социально-культурных условиях. В этих случаях обычно говорят о существенных сдвигах в лексико-грамматической системе контактирующих языков или диалектов. Кроме того, в сложившейся тюркологической традиции под “смешением” имеют в виду не изменение системы языка, а употребление в языке одного памятника диалектизмов, которые в языке иного памятника являются нормой. При этом сюда попадают как синхронные соответствия, так и явления архаичные, свойственные языку иной эпохи. Подобная терминологическая неясность значительно затрудняет сопоставительное изучение языка письменных памятников, поскольку признаки “смешанности” не являются едиными для всех исследователей, что обуславливает потребность в разработке четких и единых критериев для оценки языка памятника. Учитывая сложившуюся в тюркологии ситуацию с термином “смешанный язык” памятника, мы предпочитаем при атрибуции исследуемых текстов говорить не об их смешанном характере, а о соотношении нормативности и вариативности фиксируемого в языке данного памятника.

Также мы широко используем введенные Г.Ф. Благовой понятия “базисной” и “периферийной” систем [Благова 1979; 1987; 1994], которые соотносятся также с понятиями нормы и вариативности. Эта методика, продемонстрированная на примере тюркской падежной системы, оказывается достаточно удачной при анализе других грамматических категорий тюркских языков, поэтому при квалификации языка памятника мы тоже идем на расслоение текста и вычленение в нем базисных и периферийных элементов, не только склонения, но и категорий глагола, прежде всего видо-временных форм. Кроме того, эти же понятия мы распространяем и на фонетические и графические характеристики каждого памятника. На примере выделенных нами фонетико-графических и морфологических признаков и их статистической обработки показано, что каждый письменный памятник есть конкретное и живое отражение языковых ситуаций. Можно констатировать, что в ранних памятниках Золотой Орды устойчиво сохраняется караханидско-уйгурская традиция, параллельно с которой именно в Поволжье формируется новый вариант регионального литературного языка. Караханидско-уйгурская языковая традиция графо-фонетически проявляется в следующем: сохранение анлаутного алифа и пропуск гласного в закрытом слове, как в древнетюркском, ср.: *اذگو* ‘adgü ‘хороший, праведный’, *ار* ‘är ‘мужчина’ и *اير* ‘ir ‘воин’; сохранение губной гармонии; употребление графемы $-\delta$ (*quouγ* ‘колодец’), написание глухого $-q$ - в интервокальной позиции (*saqyndy* ‘он подумал’), сохранение устойчивых традиционных сочетаний типа $-aγ$, $-uγ$, $-yγ$ (*buγun* ‘сустав’), а также ауслатного $-γ$ (*saryγ* ‘желтый’). В то же время последовательность реализации этих признаков в конкретных текстах, как показывают наши статистические данные, колеблется от максимального проявления по ниспадающей линии.

Распределение фонетических признаков по памятникам

		КР	НФ	Кб	Дж	ХШ	МН	Гб	СС	ИМ
Карах.-уйгур.	алиф	○	○							
	лабиал.	○	○	○	○	○	○	○		
	-δ	○	○	○	○					
	-q-	○	○		○	○	○	○		
	-aγu-	○	○	○	○	○	○	○		
	-γ	○	○	○	○	○				
Вариатив.	ä ~ i		■	■						
	u ~ y		■	■					■	■
	δ ~ j		■			■				■
	q ~ γ		■			■		■		
	aγu > au					■			■	■
	γ – пр.					■				
Кыпч. койне	i			○	○	○	○	○	○	○
	делабиал.			○		○	○	○	○	○
	j			○			○	○	○	○
	w								○	○
	au								○	○
	пропуск -γ							○	○	
Уйгур. признаки					○		●			

○ – базисное употребление.

■ – вариативное употребление.

● – периферийное употребление.

Из фонетико-графических признаков устойчивыми оказываются следующие: губная гармония, интервокальное *-q-* и сочетание типа *-aγu-*. Из фонетических признаков наиболее динамичным, менее устойчивым является [ä], который последовательно уступает позиции узкому нелабиализованному гласному переднего ряда [i], что определяется графически $-l > j$, а также смена *-δ-* признаком *-j-*, так как язык памятников отражает то состояние, когда *j*-графема проникает в язык текстов: *äjär* 'седло', *ujtaq* 'спать', *qajγu* 'горе'.

Таким образом, максимум из выделенных фонетических признаков караханидско-уйгурской традиции реализуется в "Кысса ал-анбия" Рабгузи, минимум – в "Codex samanicus" и "Иршад ал-мулук".

Если же от фонетических характеристик обратиться к морфологическим характеристикам, то можно увидеть, что они также являются отражением тех же общих закономерностей формирования языка золотоордынского периода. Показательно, что их морфологические параметры корреспондируют с фонетико-графическими явлениями.

Рассмотрение морфологических категорий приводит к следующим выводам. Системное изучение склонения в языке памятников и соотнесение всех данных, полученных из анализа каждого памятника, учет всех совпадений и расхождений позволяют утверждать, что именно в XIV в. начался переход от уйгурско-кыпчакского типа склонения к кыпчакскому типу. К уйгурско-кыпчакскому типу относится склонение в языке "Кы-

сас ал-анбия” Рабгузи, “Нахдж ал-Фарадис” Махмуда ал-Булгари, “Хосров и Ширин” Кутба. Кыпчакский тип склонения доминирует в языке “Гулистан бит-тюрки” Сараи, “Мухаббат-наме” Хорезми, “Джумджума султан” Катипа, “Кисекбаш китабы”, “Codex cumanicus” и “Иршад ал-мулук”. Совокупность форм, оставшихся за пределами базисной системы склонения, во многом совпадает. Например, в именной парадигме к таким формам относятся дательный падеж на *-a* (в XIII, Гб, МН, Дж), винительный на *-i* (в МН, КБ), исходный падеж на *-dan* (в XIII, МН). Учет их положения в системе склонения каждого памятника позволяет отнести их к склонению огузского типа и считать их инодиалектными по отношению к базисной системе склонения.

Анализ синтетических **видо-временных форм глагола** также продемонстрировал активное взаимодействие письменно-литературной традиции с региональным койне, причем это взаимодействие оказалось неоднородным и варьирующим в языке конкретных золотоордынских памятников.

В сфере форм прошедшего времени в языке памятников XIII – нач. XV в. наиболее распространенной и многозначной была форма на *-dy*. Употребление всех трех форм перфекта: *-myz*, *-yan*, *-yp tur* – довольно ограничено, и они отражают живой процесс изменения системы перфектов: вхождение новой формы *-yan*; *-myz* – как поэтико-выразительное средство престижной книжной традиции, *-yp tur* – разговорно-диалектная форма, которая активно проникала в литературный язык: *ikki tävä satγyn alup tururmän säkiz jarmaqqa* ‘Я купил за восемь копеек два верблюда’.

Система времен настоящего и будущего. Во всех памятниках исследуемого периода наиболее употребительной временной формой настояще-будущего плана является аорист *-ar/-ur*. В текстах КР, НФ, Дж, КБ, XIII, МН, Гб, СС, ИМ реализуются значения: а) настоящего конкретного времени; б) обычное повторяющееся действие; в) действие, которое совершится в будущем. Для формы *-jur* в значении настоящего конкретного времени спряжение осуществляется с помощью полных лично-числовых показателей, характерна структурная единообразность. Вариативность выделяется в парадигме спряжения 1-го лица мн. числа: *-myz* ~ *-byz*. Нормативной формой считается показатель *-myz*. Однако 1-е лицо мн. числа фиксируется крайне редко. В языке КР, НФ встречается *-myz* и *-byz*, причем *-myz* является нормативной. В языке XIII, МН, Гб, ИМ зарегистрирована лишь единичная форма на *-byz*, а в Дж и КБ форма 1-го лица мн. числа вообще отсутствует.

Настоящее время на *-a* в памятниках характеризуется малой частотностью. Не встречается в языке КР, НФ; в Дж, КБ, XIII зафиксированы единичные примеры преимущественно в 3-м лице ед. числа.

В языке “Нахдж ал-Фарадис” форма на *-a* в значении настоящего времени не отмечена, однако в презентную парадигму этого памятника активно внедрилась аналитическая форма *-a turur*, которая с высокой частотностью употребляется во всех трех лицах ед. и мн. числа. Основной функцией этой формы можно считать выражение настоящего актуального действия, связанного с моментом речи или фактом сообщения; ср.: *käfer-lär küllüş-ü nurur-lar* ‘неверные продолжали смеяться’. Внедрение этой формы в глагольную систему памятника, которая в целом характеризуется базовыми карахандско-уйгурскими признаками, свидетельствует об активном давлении кыпчакской разговорной стихии, носителем которой был, очевидно, автор памятника Махмуд Булгари, выходец из Поволжья. Этот показательный пример того, как книжная традиция подвергается давлению регионального койне кыпчакского типа.

Будущее на *-γaj* является продуктивной формой в языке всех памятников и выступает как основная форма выражения будущего времени. Однако в единичных примерах выражается модальное значение желания: ср. *oγum uluγaj-sa ul saxraqa barγaj buzaγıny talab qylγaj* (НФ) ‘когда сын вырастет, пусть идет в ту степь и потребует того теленка’.

Как правило, в поэтических текстах отмечается усеченная форма на *-γa* с тем же значением. Примечательно, что усеченная форма на *-γa*, ожидаемая в поэтическом языке XIII, встречается в прозаическом тексте ИМ, что можно объяснить идиолектом их переписчика – кышчака Берке Факиха.

Другие члены парадигмы настоящего и будущего времени, характерные для языка караханидско-уйгурских памятников *-ɣи*, *-ɣсар*, *-ɣиçу*, *-даçу* в наших памятниках занимают периферийное положение, но отдельные случаи употребления зафиксированы в языке КР, НФ, Гб, Дж. Соотношение временных форм видно из табл. 2.

Таблица 2

Распределение видовременных форм по памятникам

Формы	КР	НФ	Кб	Дж	ХШ	МН	Гб	СС	ИМ
Претерит <i>-dy</i>	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Перфект <i>-myş</i>	○	○	●	○	●		●	●	●
Перфект <i>-ɣап</i>					●	●		●	●
Перфект <i>-ɣап turur</i>		●						●	●
Перфект <i>-ур tur(ur)</i>		●				●	○	○	●
Перфект <i>-ур</i>					●		○	○	○
Настоящее <i>-a tur(ur)</i>	●	○			●				
Настоящее <i>-a</i>			●	●	●		●	○	●
Будущее <i>-ɣај</i>	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Будущее <i>-ysar</i>			●	●	●		●		
Будущее <i>-ɣысу</i>	●								

Рассмотрение системы времен в языке наших памятников показывает, что эта система наряду с устойчивыми базовыми компонентами, восходящими к более ранним этапам развития тюркских языков и отражающими преимущественно караханидско-уйгурскую языковую традицию, в новом, в Поволжском ареале, так же, как и система склонения, претерпевает заметные сдвиги в сторону включения в систему новых местных региональных форм кыпчакского типа (ср.: *-a*, *-a tur(ur)*, *-ɣап*, *-yб*, *-ybtur*). Характерно, что язык отдельных памятников отражает разные этапы этой динамики (сравните язык НФ и МН).

Что касается неличных форм глагола, то среди них главный интерес представляет распределение причастных форм в атрибутивной функции в языках разных памятников. Отметим, что здесь встречаются формы всех причастий, известных в истории тюркских языков рассматриваемого периода: *-r*, *-ɣап*, *-ан*, *-myş*, *-ɣи*, *-ɣиçу*, *-duq*, *-даçу*, *-asy*. Как видно, среди них есть формы, типичные для огузской и уйгуро-огузской, карлукской языковой групп и языка кыпчакской группы. Формы огузские и уйгурские занимают самое периферийное место среди неличных атрибутивных форм: *-ан*, *-asy*, *-ɣи*, *-duq*, *-ɣиçу*, *-даçу*. Основная конкуренция в атрибутивной функции наблюдается между частотными *-ɣап* и *-myş*, причем в языке конкретных памятников вызывает интерес их соотношение по частоте употребления. В целом, доминирующей оказывается форма на *-ɣап*, хотя и форма *-myş* еще воспринималась авторами памятников как полный ее семантический эквивалент, который можно было использовать в художественных текстах.

Деепричастия в системе неличных форм имеют следующие показатели: *-р*, *-а*, *-ä*, *-и*, *-й*, *-ɣaly*, *-ɣынçа*, *-uban*, *-ɣаç*.

Как и в случае с атрибутивными формами, наши статистические данные показывают, что уйгуро-огузские формы, являющиеся нормой в литературных памятниках караханидского периода, уступают место доминирующим показателям *-р*, *-а*, *-и*. В качестве новаций можно рассматривать форму на *-ɣаç*, которая наиболее частотна в языке ХШ; ср.: *basqaq haraž ul'ɣaç qylur här dam il'ži* 'завоеватель когда возьмет дань, каждый раз направлял послов'. Следует отметить, в тексте КР, НФ, ХШ, МН встречается ис-

пользование единичных форм деепричастия на *-a* в качестве обстоятельства. Например: *toja taɣam jimädim* (НФ) “я не ел насытившись”, *kilä äjtür* (ХШ, 195) “проходя сказал” и др., т.е. в функции, характерной для языка более раннего периода. Этот факт, как нам представляется, важен не только для истории татарского литературного языка, но и для истории татарского языка в целом, поскольку позднее нормой становится парное использование данного деепричастия. Однако уже язык наших памятников фиксирует нередкие случаи парного употребления формы на *-a*, *-u*.

В сфере неличных субстантивных форм абсолютно доминирует форма *-maq*, синонимом которого выступает *-taɣu*. Сама форма *-maq*, которая известна ряду тюркских языков, в целом характеризует все же тюркские языки восточного ареала, и ее фиксация в литературных памятниках связана скорее с посткараханидским периодом, она получает широкое распространение начиная с языка золотоордынских и чагатайских памятников. На ее фоне в языке рассматриваемых памятников формы глагольных имен на *-uɣ*, *-u* относятся к периферийным формам и, как показывают примеры, зафиксированы в единичных случаях.

Из девяти проанализированных нами памятников только в языке ХШ, МН, Гб, СС фиксируется новая субстантивная форма *-rɣu*. Она функционирует чаще всего как форма супина, т. е. обозначает цель какого-либо действия; ср.: *seniñ uşqıñda sajra-rɣu Xaräzmi* (МН) ‘чтобы петь твою любовь, Хорезми’. Несмотря на низкую частотность, это форма является региональной, свойственной для языка Поволжского региона. Таким образом, рассмотренные памятники фиксируют начальный этап распространения этой формы в языках Поволжья.

В результате проведенного исследования установлено, что в культурных центрах Золотой Орды с начала XIV в. (как условная дата) начинает формироваться тот региональный вариант тюрко-татарского литературного языка, который в дальнейшем развивается в старотатарский литературный язык. Язык в дальнейшем своем развитии проходит сложный путь, и все же в его структуре еще длительное время были сохранены следы караханидско-уйгурской традиции, базовой для всех тюркских литературных языков.

Проведенный языковой анализ имеет важное социолингвистическое содержание. С одной стороны, он позволил увидеть истоки старотатарского литературного языка. С другой стороны, определена роль регионального койне кыпчакского типа, которое, будучи распространено в пределах Золотой Орды, оказало решающее влияние на изменение традиционного литературного письменного языка. Наши материалы и прежде всего статистические данные убедительно доказывают, что в культурных центрах Золотой Орды, в Поволжье складывалась этнодемографическая ситуация, в которой решающую роль играли тюркские племена, носители древнекыпчакских диалектов. Следовательно, лингвистические данные убедительно подтверждают результаты исторических исследований о процессах кыпчакизации местного населения начиная с XIV в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Благова 1979 – Г.Ф. Благова. О принципах лингвистического изучения тюркских текстов // ВЯ. 1979. № 6.
- Благова 1987 – Г.Ф. Благова. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении: юго-восточный регион. М., 1987.
- Благова 1994 – Г.Ф. Благова. Бабур-наме. Язык, прагматика текста, стиль М., 1994.
- Наджип 1965–1994 – Э.Н. Наджип. Кыпчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV века: Автореф. дис. ... док. филол. наук М., 1965–1994.
- Наджип 1966 – Э.Н. Наджип. “Хосров и Ширин” Кутба и его язык // Тюркологический сборник. М., 1966.
- Наджип 1970 – Э.Н. Наджип. О средневековых литературных традициях и смешанных письменных тюркских языках // Советская тюркология. 1970. № 1.

- Наджип 1975 – *Э.Н. Наджип*. Тюркоязычный памятник XIV века “Гулистан” Сейфа Сарай и его язык. В 2-х кн. Алма-Ата, 1975.
- Наджип 1979 – *Э.Н. Наджип*. Исследования по истории тюркских языков IX–XIV вв. М., 1979.
- Самойлович 1928 – *А.Н. Самойлович*. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка // Мир-Али Шир. Л., 1928.
- Тенишев 1976а – *Э.Р. Тенишев*. О построении народно-разговорного и литературного языков // Тюркологические исследования. М., 1976.
- Тенишев 1976б – *Э.Р. Тенишев*. О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников // Turcologica. Л., 1976.
- Тенишев 1977а – *Э.Р. Тенишев*. Функционально-стилистическая характеристика древнеуйгурского литературного языка // Социальная и функциональная дифференциация литературного языка. М., 1977.
- Тенишев 1977б – *Э.Р. Тенишев*. О методах и источниках сравнительно-исторических исследований тюркских языков // Советская тюркология. 1977. № 5.
- Тенишев 1988 – *Э.Р. Тенишев*. Принципы составления исторических грамматик и истории литературных языков // Советская тюркология. 1988. № 3.

© 2005 г. Г.П. НЕЩИМЕНКО

НЕКОТОРЫЕ РАЗДУМЬЯ НАД КНИГОЙ “ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (БОЛГАРСКО-ЧЕШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)”

В связи с анализом книги Г. Гладковой и И. Ликомановой “Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)” в статье рассматривается целый ряд актуальных проблем современной социолингвистики. Автор статьи выражает обеспокоенность по поводу излишней политизированности данной работы и отмечает также непропорциональность необоснованного переименования, перекодирования основного понятийно-терминологического корпуса, целесообразность использования которого не только подтверждена длительной традицией, но и вполне отвечает целям научного исследования, облегчая сопоставление получаемых результатов.

Книга авторов – чешской исследовательницы Г. Гладковой и болгарской И. Ликомановой – вышла в издательстве “Каролинум” Карлова университета в Праге в 2002 г. Работа написана на русском языке, поэтому при ее рассмотрении будем оперировать исключительно аутентичным авторским текстом¹.

Книга посвящена центральной социолингвистической проблеме языковой ситуации, разработка которой чрезвычайно важна для решения широкого спектра вопросов как теоретических, так и практических, в том числе для понимания специфики строения и внутренней дифференциации этнического языка, его функционирования в обществе, для установления оптимальной направленности совершенствования языковой культуры и языкового воспитания. Добавим, что именно в изучении проблемы языковой ситуации в последнее время наметились новые подходы, альтернативные концепции, позволяющие ожидать и новых решений актуальных исследовательских задач.

Монография состоит из краткого Введения (3.5 с.), освещающего профессиональное и, как ни странно, политико-идеологическое кредо авторов, а также трех глав: Коммуникация, речевое поведение и система языка (159 с.); Болгарская языковая ситуация. Истоки и развитие (218 с.); Современная языковая ситуация в Болгарии (немногим более 20 с.). Первая, теоретическая, глава является несущей конструкцией книги в целом, две другие – фактографические, имеют по замыслу авторов прикладное значение. Работа основывается преимущественно на болгарском материале с привлечением данных чешского языка. Вполне определенно обозначено и авторство разделов книги: первая глава написана совместно, однако, как подчеркивается, решающее слово в проходивших дискуссиях принадлежало Г. Гладковой. Подобное акцентирование приоритета лишь одного из авторов звучит несколько необычно, впрочем, в этом есть свой резон – именно Г. Гладковой написана статья, излагающая концепцию будущей монографии [Гладкова 2002]. Автор второй главы – Г. Гладкова; третьей – И. Ликоманова. Имеется и список литературы, к сожалению, весьма неполный, а также англоязычное резюме.

¹ Для удобства читателей раскрою лишь некоторые из весьма многочисленных индивидуальных авторских аббревиатур: ЯСф ‘языковая сфера’; КСф ‘коммуникативная сфера’; ЯСит ‘языковая ситуация’; КСит ‘коммуникативная ситуация’; СЯ ‘стандартный язык’; ЧСЯ ‘чешский стандартный язык’; КЯ ‘коллоквиальный язык’; НЯ ‘национальный язык’; НВ ‘национальное возрождение’; ЯП ‘языковое пространство’; КП ‘коммуникативное пространство’. Используются также аббревиатуры ПЛШ ‘Пражская лингвистическая школа’; РР ‘разговорный язык’.

При анализе книги наибольшее внимание будет уделено изучению Введения, а также теоретической главы, имеющих установочное значение. Что касается фактографических разделов, то, не вдаваясь в тонкости анализа языковой ситуации эпохи болгарского национального возрождения (более компетентно по этому поводу, очевидно, выскажутся болгаристы), рассмотрим внимательнее фрагменты, связанные с чешским возрождением – этим периодом в свое время я занималась достаточно серьезно, привлекая к исследованию широкий круг источников, в том числе и многочисленные тексты, т. е. конкретную языковую практику (из имеющихся публикаций назовем лишь [Нещименко, Широкова 1981]).

Из Введения следует, что целью авторов является построение “структурной и функциональной модели коммуникативной и языковой ситуации”, которая помогает им “искать ответы на отдельные вопросы, возникающие в ходе описания чешской и болгарской языковой действительности как в диахронном, так и в синхронном плане”. Таким образом, по их замыслу “конкретные заключения” должны исходить “в синхронном и диахронном плане из единой и общей методологической базы, что кажется... особо ценным для перспективного анализа исторической обусловленности языковой ситуации – с одной стороны, а ее состояния и перспективного развития – с другой”. Авторы полагают, что сочетание методологии обоих подходов позволит им выйти на более общие закономерности развития и функционирования языка. Они также думают, что социолингвистический анализ языковой ситуации “в диахронном плане” стал проводиться “лишь в последнее время” (ср. [Гладкова, Ликоманова 2002: 11]).

Итак, перед авторами стоят поистине масштабные задачи: а) разграничить и выявить структуру коммуникативного и языкового пространства; б) создать структурную и функциональную модель коммуникативной и языковой ситуации; в) использовать эту модель как единую и общую методологическую базу сопоставительного, синхронного и диахронного описания чешской и болгарской языковой действительности. Для решения этих задач авторы предполагают применить следующий методологический подход: “В структурной модели мы... разграничиваем языковые явления от коммуникативных в форме коммуникативного и языкового пространства, причем коммуникативное пространство является первичным, а его параметры и признаки находят свое отражение, с одной стороны, в структурировании языкового пространства симметрично к коммуникативному (проявление однотипных параметров), а с другой стороны, и в конкретном речевом поведении коммуникантов (влияние конкретной коммуникативной ситуации). В функциональной модели показываем связь между развитием коммуникации и описываемой нами структурой коммуникативного и языкового пространства. Исходя из постановления о различном характере регламента (нормы) поведения (просим читателя запомнить этот термин, поскольку в работе он имеет принципиальное значение. Прим. наше. – Г.Н.) в данной коммуникативной сфере как основной причине различий речевого поведения, нам удастся также довольно четко решать проблему сущности явлений, конкретно – соотношение нормы и вариантности, разновидности и стиля с системой (langue) или же речью (parole). Для разграничения языковых от коммуникативных параметров считаем необходимым воспользоваться в синхронной части социологическим ракурсом, объективно отражающим реляцию тип коммуникации – речь” [Там же: 10–11].

Во Введении анонсируются не только исследовательские задачи, дается и глобальная негативная оценка современного состояния славистики и прежде всего славянской социолингвистики: «Традиционно принятые интерпретации языковой ситуации оказываются неприменимы к настоящему реальному положению. Традиционные описания процессов становления и развития стандартных языков также не удовлетворительны, так как не могут объяснить ряд процессов, которые являются ключевыми с точки зрения анализа современной ситуации. **Даже и сравнительно новые научные труды можно принимать во внимание только с учетом общеполитического и социального контекста их возникновения и с учетом их методологической выдержанности** (выделено нами. – Г.Н.). До 1989 г. (и немного позднее – принимая во внимание время публикации лингвистической литературы и неспособность научного мышления резко порвать с утвердившейся на

протяжении десятков лет научной парадигмой) они поддавались неизбежно тенденциям “языковедческого соцреализма” (выделено нами. – Г.Н.), что находило воплощение, например, в таких приемах, как селективный подбор фактов, их идеологически зависимая интерпретация, априорно выдвигаемые тезисы о тенденциях развития стандартных языков, идеологически обусловленные языковые теории или оценки языковых явлений, копирующие интерпретацию социального и исторического развития общества. (Мы предлагаем обозначение языковедческий соцреализм как объективное описание реальности социалистического периода, когда и в языкознании ощущалось сильное давление идеологической парадигмы, в значительной мере владевшей всем обществом и воздействовавшей порой даже на личные убеждения авторов)» [Там же: 9–10].

Ставя под сомнение результаты труда целых поколений ученых, авторы книги делают это голословно, без приведения доказательной аргументации. Иногда, впрочем, критика становится адресной: в том, что “славистичная литература не смогла совсем избавиться от наслоений минувшего периода”, повинны прежде всего русская и болгарская лингвистика (ср. [Там же: 148]). Предметом особой критики является все же лингвистика русская. Не менее впечатляет и призыв к введению цензуры, политической, идеологической и методологической: при оценке значимости даже сравнительно новых научных трудов нужно учитывать не их профессиональные достоинства, а **только** общеполитический и социальный контекст их возникновения, их методологическую выдержанность.

Воинственная тональность рассматриваемой книги – не просто атрибут индивидуальной авторской стилистики, она имеет и функциональное назначение – создать у читателя иллюзию того, что, решая свои “масштабные” задачи, Г. Гладкова и И. Ликоманова были попросту лишены возможности опереться на опыт предшественников, что им приходилось все начинать с “чистого листа”, полагаясь лишь на собственную исследовательскую интуицию. Возможно поэтому, даже заимствуя чужие идеи, они скупы на обязательные в подобных случаях ссылки на первоисточник. В отличие от предшественников, повинных во всех прегрешениях, а потому склонных к селективному подбору фактов, авторы сулят читателю их объективную интерпретацию, методологически опирающуюся на постулаты Пражской лингвистической школы (вплоть до новейших разработок и дискуссий) (ср. [Там же: 11]). Забегая вперед, скажем, что авторам далеко не всегда удастся продемонстрировать заявленную объективность, поскольку профессиональный анализ нередко подменяется политическими констатациями. Так, говоря о новом витке повышенного интереса к вопросам языковой ситуации, они называют в качестве одной из важнейших причин довольно резкою смену научной парадигмы, наступившую «кроме всего прочего, и благодаря “освобождению” языкознания в славянских странах от идеологической рамки социалистического периода» [Там же: 9]. Остается лишь недоумевать, какая смена парадигмы имеется в виду и почему интерес к данной проблематике проявляется не только в освободившемся от социалистических догм регионе, но и в мировой лингвистике в целом.

Оценивая развитие социалингвистики после “бархатной” революции 1989 г., авторы пишут во Введении: “Наш интерес к данной проблематике вызван главным образом наблюдаемой нами в **последнее десятилетие** (выделено нами. – Г.Н.) исключительной динамикой в славянских языках, причем не только в развитии самих языков, но и в языкознании, в созревании и решении новых теоретических проблем. В обеих этих областях наблюдаются существенные сдвиги, вызванные, с одной стороны, внешними (внеязыковыми) факторами, в частности, прежде всего сменой политической ориентации общества, социальными, экономическими и культурными изменениями последнего времени, а с другой – очевидными языковыми процессами, которые коренным образом меняют картину речевого поведения общества. Стремительное развитие наблюдается как в отдельных разновидностях данного языка (системные, субстанциальные изменения), так и в функциональном соотношении между этими разновидностями, т.е. в развитии языковой ситуации в целом (функциональные изменения). Такое развитие, несомненно, исторически обусловлено. Этому факту, однако, до сих пор не уделялось соответствующее вни-

мание, так как тесная взаимосвязь, если не взаимообусловленность *синхронного развития с диахронным*, скорее постулируется в теории, чем исследуется на практике” [Там же: 9]. Отметим, что если с идеолого-политической составляющей все более или менее ясно, то хуже обстоит дело с собственно лингвистической интерпретацией. Так, не учитывается, что скорость протекания языковых процессов, тем более вызывающих внутрисистемные изменения (см. выше: “системные, субстанциальные изменения”), не может совпадать с темпом изменения экстралингвистических обстоятельств. В связи с этим, сколь кардинально бы ни менялась социально-политическая ситуация, десятилетия – слишком короткий временной отрезок для того, чтобы это повлекло за собой **коренные**, как утверждают авторы, системные и функциональные изменения в развитии языковой ситуации². Игнорируется и то, что языковые изменения отнюдь не являются зеркальным отражением экстралингвистических обстоятельств. Более динамичен, конечно, лексический состав, однако и здесь реализация “социального заказа” корректируется внутрисистемными языковыми закономерностями. Спорными являются утверждения о скачкообразной смене условий функционирования национального языка в бывших социалистических странах, обусловленной резким и коренным изменением большинства социальных параметров. По мнению авторов, это влечет за собой немедленную и ускоренную реакцию со стороны языка, при этом они проводят параллель с ситуацией начального периода эпохи национального возрождения, т.е. последней четверти XVIII в. (ср. [Там же: 389]). Между тем, как показывает анализ материала, в целом языковое развитие в период после “бархатных” революций продолжает оставаться континуальным, оно полностью укладывается в русло тенденций языковой эволюции. Более значимой, на наш взгляд, является смена не столько социальных, сколько коммуникативных факторов, в частности, использование новых информационных технологий.

Авторам книги, очевидно, не известны и имеющиеся синхронно-диахронные штудии, образцом которых в чешской социолингвистике являются труды Б. Гавранека. Работ подобного жанра не так уж и мало³, определена и методика их выполнения. Наверное, следовало бы в этой связи уделить больше внимания интересной работе М. Виденова [Виденев 1982], о которой в книге говорится лишь вскользь.

Остается неясным, что имеют в виду авторы, говоря о синхронно-диахронной “**взаимообусловленности**”. То, что историческое развитие языка оказывает влияние на его современное состояние, бесспорно, однако как осуществляется обратное влияние, т.е. обусловленность “исторического развития современной динамикой...” [Там же: 13], остается лишь гадать.

Авторы книги добровольно берут на себя еще одну нелегкую ношу: **переосмыслить** терминологию описания языковой ситуации, а также ввести при необходимости **новые** дефиниции общеупотребительных и важных для описания терминологических понятий, определив их место в рамках единой системы. Так, вместо термина *норма* (или же наряду с ним) постоянно употребляется *регламент*; вместо *обиходно-разговорное общение – капиллярное*; вместо *язык – код* и пр. По-новому предполагается интерпретировать и такие понятия как *разновидность национального языка, стиль* и пр. И, конечно же, употребляется *макродиахрония* вместо *развитие языка*, *микродиахрония* вместо *динамика современного языка* (кстати, в традициях постоянно упоминаемой ПЛШ было употребление в этом случае терминов-понятий *синхронная динамика; гибкая стабильность*). Редефиниции подвергаются и такие понятия как *гомогенность* и *гетерогенность*; ср.: «Гомогенность понимаем как использование данного средства как немаркированного в большинстве КСит, относящихся к данной КСф, т.е. гомогенными

² Кстати, далее в монографии авторы совершенно справедливо отмечают факт «естественной стабильности языкового пространства, которая проявляется как “консервативность, необходимая для нормального протекания коммуникации»» [Там же: 69].

³ Назову лишь одну публикацию – Проблемы славянской диахронической социолингвистики [Проблемы славянской диахронической социолингвистики 1999].

считаем средства, типичные для данной разновидности, интегрированные, преобладающие в ней... Гетерогенность понимаем соответственно как нетипичность средства для данной разновидности, его неинтегрированность (такую же оценку могут получить и некоторые средства из “сверхпризнаковой” зоны данной ЯСФ – они стилистически гетерогенны, нетипичны для большинства КСит этой сферы, например, архаичные средства» [Там же: 68]. Характерно, что и понятие *билингвизм* трактуется почему-то как сосуществование разных **разновидностей** одного и того же языка, а не разных **языков**, как это обычно принято (ср. [Там же: 369]). Причем, по утверждению Г. Гладковой, подобное явление почему-то встречается лишь в так называемой регламентированной сфере. Спорна и трактовка понятия *этнос*, которое понимается как нижестоящее по отношению к понятию *нация*; ср. название раздела: “Предпосылка перехода от этнического языка к национальному” [Там же: 182]. Невзирая на то, что термин *коммуникативная сфера* традиционно обозначает специализированные типы коммуникации (работы В.А. Аврорина, В. Барнета, А. Едлички, Л.Б. Никольского и др.), Г. Гладкова иронически замечает: “Этот термин, по словам Г. Неццименко [Неццименко 1999: 34], уже занят, но мы хотим подчеркнуть, что это понятие (коммуникативная сфера. – Г.Н.) ...осталось до сих пор неразработанным и довольно нечетким” [Там же: 28]⁴. Не уточняя, в чем заключается “неразработанность” и “нечеткость”, Г. Гладкова “редефинирует”⁵ данный термин.

Увлекаясь перспективностью коммуникативного и социологического подхода к языковой проблематике, Г. Гладкова широко использует терминологию соответствующих дисциплин, зачастую смешивая ключевые понятия, в частности, *коммуникативный и языковой, речевой*, соответственно и *коммуникативное и речевое поведение* или же *социологический и социальный* (“быстротой социологических изменений в обществе” [Там же: 246]).

Терминотворческие новации делают авторов книги, хотя бы они того или нет, заложниками нововведений. Им постоянно приходится пускаться в пространные, многократно повторяющиеся и, к сожалению, не подкрепленные иллюстративным материалом разъяснения. Если добавить к этому чрезвычайно тяжелый стиль изложения, бесчисленное количество индивидуальных сокращений, то не трудно себе представить, сколь сложным занятием является чтение книги. Впрочем, в книге чаще всего недифференцированно даются разные терминологические эквиваленты, иногда в скобках указывается их целая вереница, что, в конце концов, приводит к терминологическому хаосу и сумятице, однако чего не сделаешь ради того, чтобы “преодолеть в известной степени терминологический разбой... Он вызван, с одной стороны, теоретическими нечеткостями или даже разногласиями, вытекающими из недостаточно последовательно проведенного разграничения между структурной и функциональной перспективой коммуникативного и речевого пространства, а с другой – несовместимостью терминологических систем в отдельных языках” [Там же: 11].

Бессмысленно было бы возражать против необходимости совершенствования терминологической номенклатуры, однако эта корректировка должна быть функционально обусловленной, способствовать более глубокому познанию языковых закономерностей. Установка на создание любой ценой новой, “более актуальной” терминологии и ре-

⁴ Приведу для сравнения фрагменты из моей монографии: «В настоящем исследовании... мы сочли возможным ввести новую коммуникативную единицу, более высокой степени абстракции, чем “коммуникативная ситуация” и “коммуникативная сфера”. Это понятие коммуникативного ареала, применение которого позволяет наметить членение коммуникативного пространства более “широкими мазками”. Возможно, более привычным в этом случае был бы термин “коммуникативная сфера”, однако он, имея сложившуюся традицию употребления, уже “занят”» [Неццименко 2003а: 42].

⁵ О понятии “коммуникативная сфера” см. мою монографию: «Понятие “коммуникативная сфера” представляет собой более высокую ступень абстракции, чем коммуникативная ситуация. Оно детально разработано в социолингвистике, хотя смысловая наполненность и численность коммуникативных сфер у разных исследователей далеко не всегда совпадают» [Неццименко 2003а: 40].

дефиницию традиционно используемой может причинить немалый вред, поскольку лишь оперирование корпусом стабильного, непротиворечиво интерпретируемого понятийно-терминологического аппарата может служить залогом успеха научного поиска, надежной базой для сопоставительного изучения.

Намерены авторы пересмотреть и “некоторые основные понятия теории СЯ с точки зрения изменения их сущности и традиционного представления о них” [Там же: 380]⁶. При этом больше всего “достаётся” термину *литературный язык*, который заменяется на *стандартный*, распространенный в англоязычной лингвистике. Казалось, совсем недавно, например, в 1998 г. (судя по названиям публикаций), Г. Гладкову термин *spisovný jazyk* ‘литературный язык’ вполне устраивал. И. Ликоманова часто его использует и в главе о современной языковой ситуации в Болгарии.

Термин *стандартный язык* славистам известен. Им последовательно и успешно пользуется Д. Брозович, автор целого ряда интереснейших социолингвистических исследований. В чешской социолингвистике новейшего времени именно этому термину отдает предпочтение, например, З. Старый. В словакистике его употребляет Я. Горецкий, однако – и это очень важно – он использует его не **вместо** термина *литературный язык*, а **наряду с ним**, имея в виду литературный язык со смягченной кодификацией. В целом же термин *стандартный язык* в славистике не прижился. О возможных причинах этого я писала в ряде работ [Нещименко 1999; 2003а; 2004 (в печати)]. На наш взгляд, предпочтительность термина *стандартный язык* не очевидна. Оба обозначения, разумеется, условны, однако термин *стандартный язык* менее лексикализован, а значит, более маркирован, т.е. наделен сопутствующими оценочными коннотациями, противоречащими в частности направленности изменения речевой специфики современной публичной коммуникации. Различные ученые трактуют это понятие неоднозначно (см. подход Я. Горецкого), лабильны хронологические рамки его применения, многозначно и само исходное понятие *стандарт*. Важно и то, что сам факт стандартизации вступает в противоречие с естественной вариативностью литературного языка, являющейся мощным импульсом его развития⁷. Впрочем, как постоянно акцентирует Г. Гладкова, с вариативностью нужно бороться, преодолевать ее⁸. При этом она, очевидно, забывает, что речь идет не о терминологической номенклатуре, где необходимы семантическое единообразие, словопроизводственная регулярность и пр., т.е. соблюдение единого стандарта, а о живом, развивающемся полифункциональном идиоме. Введение термина *стандартный* не кажется целесообразным и в силу наметившейся тенденции ослабления авторитета кодификации⁹, усиления межидиомной интеграции.

⁶ Используя термин-понятие *этнический язык*, я учитывала его семантическую емкость: “он может быть применен к любому периоду в жизни социума, т.е. как к донациональному, так и к национальному. Термин *национальный язык* в тексте исследования, как правило, встречается лишь тогда, когда именно он был употреблен авторами анализируемых работ” [Нещименко 2003а: 9].

⁷ Проблема диалектического противоречия между тенденциями языковой вариативности и языковой экономии мною уже неоднократно рассматривалась.

⁸ Ср.: “ограничить невыгодную с точки зрения коммуникации вариантность” [Гладкова, Ликоманова 2002: 239]; “регламент СЯ перестает быть зависим от нормы и узуса, а все больше определяется кодификацией, способствуя, таким образом, дальнейшему ограничению вариантности СЯ и противодействуя натиску узуса и развития коммуникативных параметров” [Там же: 131]; “Сущность функционирования нормы сводится до ограничения вариантности согласно данным общепринятым правилам” [Там же: 127]; “Билингвизм неизбежно приводит к разрастанию вариантности узуса и расшатыванию нормы, чему мы свидетели в обоих сравниваемых языках в настоящее время” [Там же: 376].

⁹ Что касается самих “кодификаторов”, то с ними Г. Гладкова не слишком церемонится, отмечая узость круга специалистов-языковедов, которые в настоящее время уже не располагают ни рычагами, ни авторитетом, чтобы убедить в своей правоте все языковое сообщество [Гладкова, Ликоманова 2002: 151]. Не ясно, впрочем, как все это соотносить с предыдущим высказыванием: “регламент СЯ перестает быть зависим от нормы и узуса, а все больше определяется кодификацией” [Там же: 131]?

Пытаясь убедить читателя в целесообразности введения в метаязык лингвистическо-го описания именно термина *стандартный язык*, Г. Гладкова призывает на помощь авторитетных ученых: “считаем удобнее ввести другой знакомый ученым термин, хотя непривычный для славянского языкознания, но все-таки уже употребляемый славянскими авторами (Брозович 1967, Н. Толстой 1988:10; З. Стары 1995, Горещкий 1988: 214). У одного из авторов, на которого наша работа опирается в своих основных постулатах, у Едлички, литературный язык отождествляется в определенном смысле с национальным (Едличка 1988: 46), а это по нашему мнению не соответствует реальному положению на сегодняшний день” [Гладкова, Ликоманова 2002: 151]. По поводу последнего должна отметить, что отождествление этих терминов недопустимо изначально, а не только “для сегодняшнего дня”. Известно, что А. Едличка специально занимался проблемами лингвистической терминологии (см. развернутые терминологические экскурсы в книге “*Spisovný jazyk v současné komunikaci*” (Прага, 1974), был он и ответственным редактором капитального двухтомного Словаря славянской лингвистической терминологии (Прага, 1977). Тщательно проштудировав в свое время его работы и по эпохе возрождения, и по теории литературного языка, и по социолингвистике и т.д., могу сказать, что никакого отождествления названных понятий у него нет. Было бы странно, если бы ученый такого масштаба и такого уровня профессионализма (и, добавим, такого педантизма в хорошем смысле этого слова), как А. Едличка, смешивал эти ключевые понятия¹⁰, пусть даже лишь в “определенном смысле” (доказательства, разумеется, отсутствуют). Впрочем, дело в том, что А. Едличка сомневался в правомочности замены термина *литературный язык* на *стандартный*. В защиту термина *литературный язык* он приводил и точку зрения М.М. Гухман, известного советского германиста: «В большом терминологическом экскурсе, содержащемся в синтетической статье о литературном языке... М.М. Гухман отмечает, что термин “литературный язык” удобен в силу своей нейтральности для обозначения инвариантного понятия “культурованная форма существования языка”» [Jedlička 1974a: 49]¹¹. Можно ли удивляться тому, что авторы книги лишь бегло упоминают и о том, что известный ученый Я. Корженский также возражает против употребления термина *стандартный язык*.

Что касается Н.И. Толстого, то он отмечает, что впервые термин “стандартный язык-диалект” ввел в нашу научную литературу Е.Д. Поливанов еще в 1931 г. в статье “О фонетических признаках социально-групповых диалектов и в частности русского стандартного языка”, опубликованной в сборнике “За марксистское языкознание” – М., 1931 (см. [Поливанов 1968]). Сам же Толстой не считает термин *стандартный язык* более удобным, чем *литературный язык*. Мало того, он его понимает несколько иначе, чем, к примеру, Д. Брозович. Для последнего это синоним термина *литературный*, причем «Эпитет “стандартный”, хотя и с некоторой оговоркой, он применяет даже к таким древним периодам, как период XVI в.» [Толстой 1988: 29]. Н.И. Толстой, напротив, считает необходимым ввести хронологические ограничения, т.е. называть стандартным литературным языком «лишь литературный язык в эпоху сформировавшейся нации, т.е. в принципе видеть в этом термине тот же смысл, что и в термине национальный литературный язык... Естественно, что, когда речь идет о языках середины XX в., другим синонимом термина “стандартный литературный язык” окажется современный литературный язык» [Там же: 29]. И далее он заключает: «Вероятно, термин “стандартный язык” можно было бы не вводить в обиход, сохраняя устоявшееся – литературный язык, если бы от последнего можно было бы создать производное *литературность* в нужном нам смысле слова. Этим собственно только и можно объяснить наше стремление в

¹⁰ В книге А. Стиха “*Jazykověda – věc veřejná*”, любовно подготовленной к изданию его учеником В. Петрбоком, по поводу выхода в 1992 г. монографии П. Сгалла и Й. Гронька “*Čeština bez příkras*” отмечается, что “они (авторы. – Г.Н.) не отождествляют национальный язык с языком литературным – этого не делают и другие языковеды – обычная же публика часто смешивает оба явления” [Stich 2004].

¹¹ Не может не удивлять, что Г. Гладкова почему-то опирается не на чешский оригинал книги (Praha, 1974), а на ее русский перевод (Москва, 1988).

ряде случаев заменять термин литературный язык термином стандартный. Другие доводы, изложенные Д. Брозовичем, нам не кажутся столь существенными, тем более, что в нашей науке достаточно четко различаются понятия “литературный язык” и “язык литературы”» [Там же].

Итак, термин *стандартный язык* неоднозначен, он может использоваться как в связке с термином *литературный*, так и отдельно; его нежелательно употреблять в отношении ранних исторических периодов, в том числе и для начального периода становления литературного языка (Г. Гладкова же употребляет его и при характеристике деятельности И. Добровского). В славистике термин *стандартный язык* используется лишь ограниченным кругом ученых. Вряд ли корректно приписывать его употребление представителям ПЛШ (ср.: “Вполне принимаем все основные положения о характере СЯ выработанные ПЛШ”) [Гладкова, Ликоманова 2002: 151] и в их числе Б. Гавранек¹².

Ниже будет рассмотрена теоретическая глава книги, включающая следующие подразделы: Схема коммуникативного и языкового пространства; Коммуникативное пространство; Коммуникативная сфера; Коммуникативная ситуация; Таблицы соотношения элементов коммуникативного и языкового пространства; Языковое пространство и языковая сфера; Языковая ситуация – типы коммуникации (с внутренней рубрикой: Капиллярная коммуникация; Культурная коммуникация; Массовая коммуникация); Носитель языка; Норма и вариантность; Разновидность и стиль. Судя по оглавлению, коммуникативный аспект здесь явно доминирует (ср. название подразделов: Участники коммуникации; Сообщение; Контакт; Контекст; Код). Собственно языковая проблематика, в том числе и главная проблема данной работы – языковая ситуация – занимает подчиненное положение, отходя на второй план. Угол зрения аргумента находится за пределами языкового пространства¹³, в пространстве коммуникативном. Впрочем, и сам раздел о языковой ситуации строится преимущественно на коммуникативных параметрах, т.е. на разграничении типов коммуникации, вычленяемых вдобавок на **разных** основаниях.

Несмотря на сходство организующего структурного принципа (бинарность), **отождествление** строения коммуникативного и языкового пространства не только методически не корректно, но и теоретически и практически бесперспективно, поскольку “наличие причинно-следственных взаимосвязей между коммуникативной и языковой системами, хотя и позволяет экстраполировать схему членения коммуникативного континуума на континуум языковой, тем не менее это не означает полного и абсолютного подобия их внутреннего строения, поскольку языковая и коммуникативная типология осуществляется при учете единиц, релевантных для каждой из этих систем” [Нещипаненко 2003: 39].

Что касается типов коммуникации, то авторы представляют их в виде следующей триады: “капиллярная коммуникация – культурная коммуникация – массовая коммуникация”. Строго говоря, это тоже терминологическое перекодирование: “Высшие коммуникативные функции” > культурная коммуникация; “Непринужденное повседневное общение” > капиллярная коммуникация. Третий компонент появляется в результате вычленения коммуникации массовой из коммуникации культурной. Определенные коммуникативные предпосылки к этому, хотя и имеются (массовость аудитории, специфика каналов распространения информации и пр.), однако они не могут служить достаточным основанием для признания за языком СМИ **автономного** статуса, а тем более для превращения его в некий третий центр. Как бы то ни было, речевой стандарт СМИ все

¹² Перекодирование терминологии, используемой в работах уже ушедших из жизни авторов, вообще, на мой взгляд, недопустимо и может рассматриваться как нарушение авторской воли.

¹³ Ср. определение языкового пространства у Г. Гладковой: “ЯП в нашем понимании – весь языковой инструментарий определенного коммуникативного пространства” [Гладкова, Ликоманова 2002: 63].

же базируется на литературном языке, хотя и отражает процессы, протекающие в языковой ситуации этноса в целом. Не ясно также, почему за рамки раздела о языковой ситуации выведен такой ее важный компонент как *носители языка* и т.п.

Иными словами, возникает множество вопросов, на которые не получаешь ответа, и, напротив, вводится масса аспектов, которые вполне могли бы не рассматриваться, так как они лишь отвлекают внимание от заявленных задач исследования.

При решении проблемы языковой ситуации коммуникативный ракурс совершенно необходим, однако его следует использовать только в той мере, в какой это действительно необходимо для систематизации наших представлений о **языковом пространстве**, для его структурирования, для выявления специфики речевого поведения, для определения круга носителей и пользователей языковых идиомов. Возможно, стоило бы шире привлечь результаты разработки коммуникативного подхода к языку, полученные чешскими учеными и прежде всего специалистами из Института чешского языка Чешской АН (Я. Корженским, О. Мюллеровой, Я. Гофмановой и др.). Думается, это помогло бы избежать столь странных оценок структуры коммуникативного пространства как, например, “Наша схема создает возможность теоретического атомизированного раздробления на стороне КП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 60]; “Итак, КП, не теряя своего континуального характера, приобретает вид рельефного ландшафта, в котором наблюдаются отдельные центры (пики) и постепенные переходы (впадины) от одного центра к другому. При этом отдельный центр может быть выделен на основе доминирования только одного признака” [Там же: 31]; “Отмирание социальных и экономических барьеров в обществе приводит к отмиранию коммуникативных барьеров, которые в прошлом четко определялись” [Там же: 33]; ср. также о строении языкового пространства: “ЯП рассматриваемого периода... континуально, рельефно, с плавными перепадами и четкими пиками” [Там же: 66] и пр. Вряд ли это является обещанной моделью коммуникативного и языкового пространства.

При рассмотрении теоретической главы придется затронуть и самый неприятный вопрос.

Говоря о концепции книги, авторы постоянно подчеркивают, каким сложным путем они шли к идее бинарности коммуникативного и языкового пространства: через “объективную интерпретацию языковых фактов”; “методологически опираясь на постулаты Пражской лингвистической школы” и т. п.; ср.: “этот факт является очередным аргументом в пользу правомерности **предложенной нами** в I главе структурной и коммуникативной схемы КП и ЯП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 369]; “Основных сфер две... как **мы обосновали** уже в теоретической главе” [Там же: 368] и мн. др. (в обоих случаях выделено нами. – Г.Н.).

В действительности впервые о возможности типологически сходного структурирования как коммуникативного, так и языкового пространства (принцип **бинарного симметричного** строения этнического языка) мною было доложено еще в 1985 г. на заседании Лингвистического объединения ЧСАН в Брно – расширенные тезисы этого доклада “K problému diferenciacie národného jazyka” Г. Гладковой прекрасно известны [Jazykovédné actuality. Informativní zpravodaj československých jazykovědců. Roč. XXIII. 1986. № 1–2].

Систематической разработкой данной проблематики я занималась и в последующие годы¹⁴. Столь длительный срок был необходим для апробации первоначально эвристических предположений на самом разнообразном языковом материале (как синхронном, так и диахронном), уточнения ключевых позиций и понятийно-терминологического аппарата. Не скрою, что приходилось мучительно преодолевать и стереотипы доминирующего в социолингвистике стратификационного подхода в собственном восприятии языковой действительности.

¹⁴ См. по этому поводу фрагмент “От автора” в монографии 2003 г. [Нещименко 2003а]. Пусть читателя не смущает, что во всех цитациях я ссылаюсь на монографию 2003 г. Дело в том, что, как отмечала в своей рецензии М. Крчмова [Krčmová 2000], мюнхенская книга трудно доступна для специалистов из славянских стран.

Результаты проведенных многолетних исследований показали целесообразность применения предложенного мною подхода не только при функциональной дифференциации этнического языка, но и при изучении проблемы языковой ситуации в целом¹⁵, что и показано в целом ряде моих публикаций¹⁶. Знакомство с этими работами авторы книги предпочитают не афишировать, указывая лишь поздние публикации – монографию 1999 г. [Нещименко 1999] и доклад на съезде славистов в Кракове [Нещименко 1998].

В своих работах я старалась показать, что применение коммуникативного подхода позволяет (в отличие от традиционной стратификационной модели) интерпретировать этнический язык не как монолитную иерархическую структуру с единственным центром в виде самого престижного универсального идиома – литературного языка, а как систему, состоящую из двух автономных, тесно взаимодействующих (как по центру, так и по периферии) подсистем. Соответственно и эволюция этнической языковой ситуации рассматривается мною как результирующая взаимодействия данных подсистем.

Предложенная мною концепция была впоследствии поддержана рядом ученых, которые не только дали себе труд ознакомиться с моими работами, но и увидели в них рациональное зерно, значимое для изучения социолингвистической проблематики¹⁷. Со-

¹⁵ Этим, кстати, обуславливается и изменение названия монографии [Нещименко 2003а].

¹⁶ Из экономии места назову лишь наиболее существенные работы: Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985; Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков // X Международный съезд славистов в Софии. Славянское языкознание. М., 1988; Дихотомия “письменная–устная речь” и “монологическая–диалогическая речь” и их значимость для решения проблемы моделирования строения национального языка // *Writing vs. Speaking: Language, Text, Discourse, Communication*. Tübingen, 1994 (конференция состоялась в Праге в 1992 г.); *Několik postřehů k problému diferenciaci národního jazyka // K diferenciaci současného mluveného jazyka*. Ostrava, 1994; Таксономический vs. коммуникативный подход к проблеме функциональной стратификации этнического языка // Тезисы докладов международной научной конференции “Лингвистика на исходе XX в. Итоги и перспективы”. М., 1995; Два ракурса в изучении проблемы языковой ситуации // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. Материалы международной конференции (Москва, 22–25 октября 1996). М., 1996; *National language: An attempt at differentiation. (A comparative study of Slavonic languages) // Research support scheme Network Chronicle*. Prague, 1996. November (английский перевод большого фрагмента заключения к монографии “Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации” в бюллетене Института Открытое общество); К проблеме функциональной дифференциации этнического языка // Русский язык в его функционировании: Тезисы докладов и доклад на международной конференции // Третьи Шмелевские чтения, 22–24 февраля 1998 г. М., 1998; *K některým vývojovým tendencím v současné jazykové situaci // Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.–26. srpna 1998*. D. II. Praha, 1998; Проблемы публичной вербальной коммуникации на рубеже веков // *Linguistik International: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch. Teil 1–2*. Frankfurt am Main, 2000; О некоторых особенностях современной языковой ситуации и их теоретическом осмыслении // *Komparacija systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich*. I. Opole, 2000; Проблема функциональной дифференциации этнического языка и ее значимость для решения актуальных социолингвистических вопросов // *Člověk a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého*. Bratislava, 2000; Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1; *Univerzální a specifické tendence ve vývoji jazyka sdělovacích prostředků // Čeština. Univerzální a specifika. 3. Sborník konference v Brně 22.–24. 11. 2000*. Brno, 2001 и т.д.

¹⁷ Я искренне признательна ученым, откликнувшимся рецензиями на монографию 1999 г.: в чешской научной печати (М. Крчмова – *Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada jazykovědná*. A 48. 2000; П. Сгалл – *Slovo a slovesnost*. Roč. 61. Seš. 1. 2000); в российской (В. Татаринов – *Русский исторический вестник: история–цивилизация–культура–текст*. Международный ежегодник. 2000; Г. Тяпка – ВЯ. 2001. № 6); в болгарской (Н. Николова – *Съпоставително езикознание*, 2002).

шлюсь в этой связи на “Энциклопедический словарь чешского языка” 2002 г. (см. [Encyklopedický slovník češtiny 2002] словарную статью “Jazyk národní”, авторы: М. Крчмова, Я. Хлоупек), где отмечается, что данная модель отражает динамику форм существования языка, позволяет более точно определить степень их престижности: “Тем самым устраняется априорно декларируемая граница между литературностью и нелитературностью, которая при традиционном подходе к национальному языку считается основополагающей (перевод наш. – Г.Н.)”. Как “наиболее соответствующая современной чешской (и, очевидно, не только чешской) языковой ситуации” расценивается предлагаемый подход и в коллективной монографии “Tváře češtiny” [Tváře češtiny 2000: 12].

Принципиальное значение в моей концепции имеют две оппозиции: *регулируемое – нерегулируемое* (с ослабленной регулируемостью) *речевое поведение; носитель – пользователь языка*. Подчеркиваю, что речь идет именно о выстраивании оппозиции, а не об использовании этих понятий порознь. Понятия *носитель/пользователь языка* в различных терминологических традициях использовались и ранее, однако лишь рассмотрение их как членов оппозиции позволяет понять специфику эволюции языковой ситуации, оценить реальное состояние языковой культуры (на любом историческом этапе), прогнозировать развитие вербальной коммуникации с учетом изменения пропорциональной представленности носителей и реальных пользователей того или иного языкового идиома. Кстати говоря, применение оппозиции *носитель – пользователь* позволяет говорить о современном состоянии речевой культуры (в том числе и в СМИ) не как о кризисе, а как о лингвистически, социально и исторически обусловленном явлении [Нещименко 2001]. Не могу согласиться с оценкой Г. Гладковой современного состояния чешской и болгарской языковой культуры как кризиса: “Можно ли назвать... сегодняшнее положение и развитие этих стандартных языков (болгарского и чешского. – Г.Н.) *периодом их упадка*, что прямо-таки напрашивается, я не берусь судить. Но о определенном кризисе их функционирования говорить можно с основанием” [Гладкова, Ликоманова 2002: 377]. В унисон звучит и следующая оценка: “У активных участников культурной коммуникации требование степени образования континуально повышается и будет повышаться, но языковая компетенция все больше становится только на службу специальному образованию и постепенно сводится только до уровня, который непосредственно влияет на качество упражнения профессии. К счастью, в настоящий период глобализации и информационной революции коммуникативные компетенции требуются все более настойчиво от все большего круга участников коммуникации. Изменения в учебных программах в связи с этим уже постепенно прокрадываются, благодаря также и сравнительному высокому их уровню в западных странах” [Там же: 99].

В июне 1999 г. в Праге, уже после выхода моей монографии в Мюнхене, Г. Гладкова и И. Ликоманова предложили мне объединиться с ними для того, чтобы **на основе концепции, изложенной в моей монографии 1999 г.**, написать большую работу о языковой ситуации в славянских странах. Была достигнута и договоренность о начале сотрудничества в 2000 г., сразу же после завершения ими в конце 1999 г. монографии по контракту с Фондом Дж. Сороса¹⁸. После состоявшихся переговоров с потенциальными партнерами наступило продолжительное молчание. В конце октября 2000 г. состоялась встреча с Г. Гладковой в Дрездене на заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам при МКС. Свой доклад “Опыт интерпретации развития современной языковой ситуации” она начала словами: “Здесь присутствует Галина Нещименко, которая может подтвердить, что мы пришли к одной и той же концепции **одновременно и абсолютно независимо друг от друга** (выделено нами. – Г.Н.)”¹⁹. После этого ею были представлены с некоторыми модификациями моя концепция и схемы. В ходе развернув-

¹⁸ Кстати говоря, это именно та монография, которую мы здесь анализируем.

¹⁹ Непонятно, зачем в таком случае понадобилось предлагать мне сотрудничество, вдобавок на основе моей концепции, если уже существовала их собственная!

шейся дискуссии Г. Гладкова подытожила, что доложенная концепция является творческим синтезом ее собственных идей и Пражского лингвистического кружка. Эту же фразу, многократно повторяемую в данной книге, она, судя по болгарскому журналу "Българистика", воспроизвела и при вручении ей премии Болгарии за эту работу (эта же работа была защищена ею в Праге в качестве диссертации на звание доцента).

Опубликованная на основе дрезденского доклада Г. Гладковой статья начинается фразой: "На основе теоретической модели языковой ситуации, предложенной в работе Гладкова; Ликоманова (в печати, ср. схему на этой странице), разворачивающей схему Г. Нецименко (1999, 48), с учетом ряда других социолингвистических трудов последнего времени (в особенности Starý 1995, Nebeská 1995, Daneš a kol. 1997, Wilkoń 2000, серии опольских трудов Współczesne języki słowiańskie и др.)" [Гладкова 2002: 56]. Примечательно, что ни в одной из называемых работ проблема дифференциации этнического языка не рассматривается (во всяком случае в подобном ракурсе), что, впрочем, отнюдь не умаляет их научной значимости. Беглое же упоминание о "расширении" моей схемы и реальное заимствование концепции – совсем не одно и то же. Будем, впрочем, справедливы: в книге двух авторов ссылки на мою монографию 1999 уже более многочисленны, однако суть дела от этого не меняется.

В своей книге Г. Гладкова и И. Ликоманова следующим образом характеризуют специфику применяемого ими подхода:

– разграничение языковых и коммуникативных явлений в форме коммуникативного и языкового пространства;

– коммуникативное пространство является первичным, а его параметры и признаки находят свое отражение, с одной стороны, в структурировании языкового пространства **симметрично** (выделено нами. – Г.Н.) к коммуникативному (проявление однотипных параметров), а, с другой стороны, и в **конкретном речевом поведении** коммуникантов (влияние конкретной коммуникативной ситуации);

– строение коммуникативного и языкового пространства является **бинарным** (выделено нами. – Г.Н.).

Представим тезисно суть моего подхода к проблеме:

“а) обеспечение коммуникативных потребностей является **важнейшей** функцией языка;

б) между коммуникативным и языковым континуумами существует **причинно-следственная** взаимосвязь;

в) коммуникативный и языковой континуумы имеют **симметричное** строение, причем членение первого из них предопределяет членение второго;

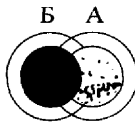
г) общая конфигурация модели этнического языка представляет собой **проекцию** коммуникативной модели на плоскость языкового пространства” [Нецименко 2003а: 39].

Что касается членения языкового пространства, то в моей монографии подчеркивается, что оно “предопределяется членением пространства коммуникативного, являясь ему **симметричным**. В силу этого проекция коммуникативного континуума с его бинарной структурой на плоскость вербальной коммуникации позволяет получить бинарное членение языкового пространства, в соответствии с которым каждый коммуникативный ареал имеет свое языковое обеспечение” [Нецименко 2003а: 45].

Таким образом, подытоживалось, что в основе как коммуникативного, так и языкового пространства лежит один и тот же организующий принцип – принцип бинарности. Соответственно “совокупность двух коммуникативных ареалов составляет комплектное коммуникативное пространство; совокупность двух подсистем языкового обеспечения – комплектное языковое пространство” [Нецименко 2003а: 46].

Принципиальное сходство обнаруживается и в схемах, и в таблицах. Ср.: монографию [Нецименко 2003а: 57]:

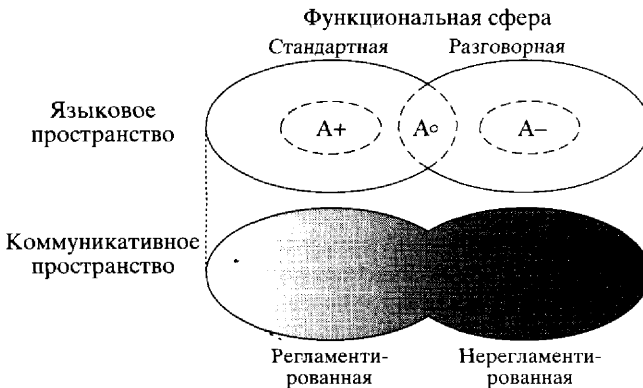
Коммуникативная модель



А – подсистема регулируемого речевого поведения

Б – подсистема нерегулируемого речевого поведения

Монография [Гладкова, Ликоманова 2002: 16], а также статья Г. Гладковой 2002:



В дальнейшем будет показано, как деформировалась в “Монографии 2002”, равно как и в статье Г. Гладковой в дрезденском сборнике суть моей концепции.

При дифференциации коммуникативного пространства на два ареала я исходила из характера коммуникативных функций: высшие коммуникативные функции²⁰ – непринужденное повседневное общение. Соответственно членение языкового пространства предопределялось характером языкового обеспечения этих ареалов, при этом особенно акцентировалась целесообразность отказа от соотносения подсистем языкового обеспечения “с каким-то конкретным языковым идиомом. Это связано с тем, что языковая манифестация в обоих случаях, во-первых, может быть **множественной**; во-вторых, она не является **жестко предопределенной**, так как выбор языкового идиома в конечном итоге зависит от языковой компетенции индивидуума. Сказанное в полной мере относится и к понятию *разговорный язык*, интерпретируемому нами не как конкретная языковая манифестация, а как совокупное обозначение, своего рода функциональное звено, включающее в том числе и диалекты. Языковое обеспечение этого функционального звена в решающей степени зависит от **коммуникативной комфортности** индивидуума, что совершенно необходимо для ситуации непринужденного общения. Таким образом, индивидуум имеет определенный диапазон возможностей, в рамках которого он в соответствии со своей языковой компетенцией, коммуникативным и речевым стандартом, интеракцией с собеседником отбирает языковые средства, необходимые для построения высказывания” [Нещименко 2003а: 46–47].

Принципиальное значение имеет и то, что каждая из подсистем языкового обеспечения характеризуется специфическим типом речевого поведения, предопределяющим

²⁰ Данным термином пользуюсь вслед за некоторыми учеными, например, Я. Хлоупеком. Не претендую, разумеется, на приоритет и в употреблении самого понятия *бинарность*. Важно лишь то, что оно используется при решении новых исследовательских задач и на новом материале.

особенности построения текста, подключение невербальных средств и пр.: в первом случае это **регулируемое** речевое поведение, контролируемое не только внешней языковой цензурой (редакторская правка, соблюдение кодификации и пр.), но прежде всего, и это особенно важно, речевой самодисциплиной субъекта, т.е. автоцензурой²¹. Во втором ареале (языковое обеспечение непринужденного повседневного общения) – иной тип речевого поведения, условно называемый **нерегулируемым**. Он отличается ослабленным речевым самоконтролем (иногда и полным его отсутствием), повышенной экспрессией, свободным потоком сознания (специально оговаривается, что роль речевого контроля здесь настолько незначительна, что может быть элиминирована).

Мною специально уточнялось, что речь идет именно о **регулируемом**, а не **регламентируемом** речевом поведении, поскольку последнее предполагает достаточно жесткую заданность выбора используемых языковых средств, наличие строгих предписаний, с которыми индивидум **должен** так или иначе считаться. При регулируемом речевом поведении подобная категоричность отсутствует, акцент делается прежде всего на сознательном саморегулировании речевого поведения, хотя существенно и внешнее языковое корректирование.

С учетом множественной манифестации каждой из подсистем языкового обеспечения появляется возможность вычленив в их составе **центр** и **периферию**. Это в свою очередь позволяет определить систему этнического языка как **бицентрическую** (терминами *бифокусный*, *биполюсный*, вопреки утверждению Г. Gladkoy, я не пользуюсь), состоящую из двух автономных, но вместе с тем тесно взаимодействующих подсистем, между которыми нет жестких границ.

Авторы “Монографии 2002” идут другим путем. При анализе приведенной выше схемы видно, что, хотя Г. Gladkova и И. Ликоманова и выделяют в составе коммуниктивно-го и языкового пространства две сферы, однако они не только иначе названы, но и имеют иное функциональное назначение. Так, коммуникативное пространство расчленяется на регламентированную и нерегламентированную сферы; а языковое – на стандартную и разговорную.

Таким образом, дифференциация коммуникативного пространства у них основывается не на его собственных параметрах, а на параметре, привнесенном из языкового пространства, т.е. типе речевого поведения, что, на мой взгляд, методически не корректно. Мало того, в основе дифференциации языкового пространства находится соотношение с **конкретной** языковой манифестацией: сфера использования стандартного языка – сфера использования разговорного языка.

Используемое мною противопоставление *регулируемое – нерегулируемое речевое поведение* авторы отвергли: “Все коммуникативные параметры разбивают КП на две части, названные у нее (Г. Нецименко. – Г.Н.) ареалами регулируемого и нерегулируемого речевого поведения, проецируясь на языковое пространство в явлениях типа стандартного языка и разговорной речи (Нецименко 1999: 38). Мы оставляем за этими понятиями термин **сфера**, стараясь избежать лишнего осложнения терминологии, но подчеркивая, с другой стороны, определенной опасности двоякого значения данного термина...” [Gladkova, Likomanova 2002: 25]. И здесь же: “мы считаем полезным заменить термин (не)регулируемое речевое поведение термином **(не)регламентированной** (с точки зрения коммуникативного поведения) сферой..., считая, что наш термин более удачно передает сущность этой оппозиции: в ней на основе коммуникативной деятельности общества, т.е. традиции, консенсуса, нормы, *регламентирован* определенный тип коммуникативного поведения”²². Интересно, можно ли считать подобное объяснение убедительным?

²¹ Возможна и корректировка данного термина – *авторегулирование* – с учетом нежелательных политических коннотаций у слова *цензура*.

²² Данное определение не только представляет собой “порочный круг”, оно включает вдобавок “тип коммуникативного поведения”, суть которого эксплицитно не разъясняется. Признаюсь, у нас возникло одно, возможно, нескромное предположение: “а что, если именно мы сами невольно толкнули авторов на эту терминотворческую эквилибристику?”. Впрочем, если бы они сохранили в своих схемах исконные надписи, имеющиеся в моей монографии, то тогда можно было бы говорить не просто о научной преемственности, а уже о чем-то совсем другом!

В связи с этим считаю необходимым уточнить:

– речевое поведение есть фактор **языкового**, а не коммуникативного пространства. Несмотря на то, что оба эти пространства взаимодействуют друг с другом, их не следует отождествлять;

– замена термина *регулируемый* на *регламентируемый* неправомерна. Если же это по каким-то соображениям и делается, то необходимо разъяснить соотношение терминов *регламентируемый* и *кодифицируемый*, поскольку последний как раз и предполагает языковую регламентацию;

– языковое обеспечение того или иного коммуникативного ареала не следует связывать с каким-то **одним** идиомом, даже если это *стандартный* язык. Как правило, речь идет о некотором **множестве** языковых манифестаций, что позволяет дифференцировать в рамках каждой из подсистем языкового обеспечения центр и периферию. В качестве такого центра выступают литературный язык (языковое обеспечение высших коммуникативных функций) и формирующийся субстандарт²³ в подсистеме языкового обеспечения непринужденного повседневного общения;

– не следует рассматривать как рядом положенные конструкт (разговорный язык) и конкретный идиом, даже если это “стандартный” язык. Перечень можно продолжить.

Разумеется, авторы книги были вправе отказаться от оппозиции “регулируемость – нерегулируемость”, но тогда не ясно, почему они к ней иногда прибегают (“регулировать свое поведение”, “нерегулируемая, нерегламентированная сфера” [Гладкова, Ликоманова 2002: 25]; “СЯ очевидно является классическим примером социальной институции как комплекса норм, которые **регулируют** поведение индивидов, помогая им удовлетворить определенные потребности (выделено нами. – Г.Н.)” [Там же: 152]. Мало того, схема, отражающая оппозицию “регулируемость – нерегулируемость”, возможно, по недосмотру, включена в англоязычное резюме книги²⁴.

Учитывая значимость, придаваемую авторами оппозиции *регламентированная – нерегламентированная* сфера, постараюсь установить, как они интерпретируют термин “регламент”, являющийся ключевым. А истолковывается он крайне противоречиво: “Регламент (**контроль**) собственного поведения” [Гладкова, Ликоманова 2002: 47]; “регламент коммуникативного поведения, соотносимый на языковой плоскости с **нормой**” [Там же: 127]; “регламент (**норма**) поведения в данной коммуникативной сфере как основная причина различий речевого поведения” [Там же: 11]; “Регламент поведения (а на языковой плоскости – **разновидность**)” [Там же: 74]²⁵; “регламент речевого поведения остается закреплен как **матрица** за всеми функциональными сферами, которые сформировались в лоне культурной коммуникации” [Там же: 103]; “решающую роль играет факт самой *фиксации* текстов, которая подчиняет все больше речевое поведение в ней не конкретной КСит, а **языковому регламенту, норме...**” (везде выделено нами. – Г.Н.) [Там же].

Нельзя не заметить постоянное смешение коммуникативных и языковых признаков. Своеобразно истолковывается и термин *коммуникативная ситуация*. Обычно в литературе под ним понимается сниженный уровень абстракции, т.е. конкретная коммуникативная ситуация, “микроситуация общения” [Нещименко 2003а: 39]. В понимании Г. Гладковой ему **одновременно** соответствуют два уровня абстракции: высший (аналог по отношению к понятию *языковая ситуация*) и сниженный (см. выше). Причем, уста-

²³ С обозначением этого феномена существуют трудности, о чем уже упоминалось в тексте моей работы.

²⁴ Эффективность использования данной оппозиции подтверждает и решение иной исследовательской задачи – определение лингвистического статуса языка компьютерных диалогов. Так, удастся установить, что язык так называемых “чатов” не относится, как полагают многие, в том числе и Г. Гладкова, к нерегламентированной сфере, а, напротив, манифестирует **регулируемое** речевое поведение [Нещименко 2004 (в печати)].

²⁵ Ср. определение регламента в Академическом словаре иностранных слов (Прага 1995): ‘предписания, распоряжения, правила’.

новить, какой уровень абстракции имеют авторы в виду в каждом конкретном случае, не всегда удается.

Противоречива и даже разрушительна сама характеристика оппозиции “регламентированность – нерегламентированность”; ср.: “основная разница между сферами (регламентированной и нерегламентированной. – Г.Н.) не заключается в абсолютном отсутствии или присутствии регламента, а в его природе: в регламентированной сфере он имеет характер селективного, ограничивающего принципа организации, в нерегламентированной – неселективного, взаимодопускающего принципа организации” [Гладкова, Ликоманова 2002: 39–40]; “Благодаря различному характеру регламента в двух основных коммуникативных сферах, ощущения (дис)комфорта в случаях его несоблюдения различны... мера владения регламентом в нерегламентированной сфере более высока” [Там же: 45]. Ср. приводимые определения сфер регламентированного и нерегламентированного коммуникативного поведения: “Сфера, для которой характерен по традиционным описаниям сознательный контроль речевого поведения и в которой коммуникант подчиняется влиянию регламента, контролирует или, по крайней мере, старается контролировать свое поведение, названа нами условно *регламентированной*” [Там же: 34] и соответственно: “Сферу, в которой такого категоричного давления регламента не ощущается, мы условно назвали *нерегламентированной*” [Там же: 38].

На наш взгляд, оперировать подобной оппозицией, которая вдобавок вовсе и не оппозиция, весьма затруднительно; ср.: “Функционирование различных идиомов в капиллярной коммуникации как основных для нерегламентированной КСф в общем плане необходимо оценивать также с точки зрения **характера регламента**” [Там же: 87]. В последнем высказывании наблюдается не только смешение коммуникативных и языковых факторов, но разрушается и сама декларируемая оппозиция.

Вследствие недостаточно четкого разграничения авторами коммуникативных и языковых параметров эта антиномия фактически “сползает” на языковой уровень. И здесь то читателя поджидает серьезное осложнение, поскольку на языковом уровне она пересекается с другими оппозициями, существенными для структуризации языкового пространства: а) нормированность – ненормированность; б) кодифицированность – некодифицированность; в) литературность – нелитературность (ср. вычленение стандартной и разговорной сфер).

Таким образом, на языковой плоскости регламентированность пересекается с нормированностью, кодифицированностью, литературностью; соответственно нерегламентированность – с ненормированностью, некодифицированностью, нелитературностью. Поскольку оппозиция *кодифицированность – некодифицированность; литературность – нелитературность* в лингвистике уже давно используются, то ничего нового привнести не удается. Непросто и с оппозицией *нормированность – ненормированность*, поскольку, следуя теоретической концепции Пражской лингвистической школы, нормированными являются не только литературный язык, но и диалекты; ср. у Б. Гавранека: “Народный язык имеет свою собственную норму, т.е. набор языковых средств, грамматических, лексических (структурных, неструктурных) (перевод наш. – Г.Н.)” [Navránek 1963: 30].

Нельзя не отметить, что обособление стандартной сферы, ориентированной на **конкретную языковую манифестацию**, по сути, аннулирует возможность ее внутренней дифференциации на центр и периферию, поскольку периферия попросту отсутствует, имеется лишь центр, т.е. стандарт. Вызывает удивление, как уже отмечалось, вынесение такого важного понятия, как *носитель языка*, за рамки рассмотрения проблемы языковой ситуации.

Допускаю, что могут быть претензии по поводу моего перевода термина *mluvčí*, однако в чем их суть, установить невозможно, так как даже источник цитирования в книге не указывается; ср.: “не вдаемся в подробности, как чешский термин переведен на русский язык в разных переводах того же автора (а переводился он по-разному). Она (Нещименко. – Г.Н.) предложила разграничивать носителя языка от пользователя языка. Нам эта

аргументация кажется необудительной, а даже местами противоречивой” [Гладкова, Ликоманова 2002: 113].

Отрицая мою точку зрения, как это уже не раз бывало, авторы на практике используют многие положения, в лучшем случае в видоизмененном, в худшем – в искаженном виде.

Перечень параметров, указываемых Г. Гладковой и И. Ликомановой при определении понятия *носитель языка* (в данном случае стандартного), вызывает сомнения; ср.: «1. располагает активным знанием одной или нескольких разновидностей разговорной сферы (напр. РР) и пассивным знанием СЯ. 2. активно владеет нормой СЯ в результате осознанного или профессионального отношения к СЯ (гуманитарий). 3. артикуляционно вписывается в круг носителей НЯ (“говорит без чужого акцента”). 4. способен воспринимать и понимать (если не в состоянии сам их создать) разновидности НЯ, которыми не владеет (другие диалекты или субстандартные идиомы), творчески использовать структурные возможности языка, расшифровывать интертекстуальные коннотации, элементы языковой игры и определять их стилевую окраску» [Гладкова, Ликоманова 2002: 23]. Спорно и отнесение к носителям языка “не только людей, которые родились или воспитывались в семье хотя бы одного носителя языка по этим признакам (обыкновенно матери), но также и тех пользователей языка, которые значительную часть жизни провели вне данного коммуникативного и языкового пространства, но в семье с другими носителями данного языка... хотя, очевидно, их коммуникативная компетенция может быть ограничена” [Там же: 120]. При данной интерпретации происходит смешение понятий *языковая компетенция* индивидуума и его *этническая принадлежность*, причем доминирующую роль играет именно последний фактор. Не учитывается и то, что у названных лиц зачастую ослабевает языковое чутье, знание реалий, конситуации, отсутствует и четкое осознание внутриязыковых закономерностей, например, словообразовательной специфики и пр.

Состав носителей так называемой РР здесь вообще не приводится, поскольку это “наиболее скользкое понятие” [Там же: 123]. Подобный аргумент не убеждает.

Одним из важных недостатков “Монографии 2002” является противоречивость, непоследовательность интерпретаций²⁶. Приведем несколько примеров: (смешение коммуникативного и языкового пространства) “Выделением из общего КП СЯ не перестает быть его составной частью” [Там же: 94]; “СЯ формируется вначале как элитарный, а позднее как общепринятый, престижный вид **коммуникативного** поведения (выделено нами. – Г.Н.)” [Там же: 152]; (о языке СМИ) “Язык массовой коммуникации перестает функционировать как эталон стандартного речевого поведения” [Там же: 109], но: “Функционирование в массовой коммуникации СЯ – константа, социально закрепленная, принявшая облик ритуализированного поведения ...” [Там же: 111]. Непоследовательность проявляется при рассмотрении вопроса о разграничении сфер коммуникативного пространства. Так, в одних случаях говорится об отсутствии между ними жестких границ; в других – “размывая еще больше границы... между двумя основными КСф” [Там же: 110] или же “Нарушение и размывание границ двух основных КСф” [Там же: 367].

Весьма спорной является оценка состояния чешской языковой ситуации, а также характерных для нее тенденций. В тексте монографии эти фрагменты рассредоточены, что мешает получить целостное впечатление. Высказываемые наблюдения чаще всего основываются не на анализе конкретного языкового материала, а имеют откровенно дедуктивный характер, отражая влияние тех или иных концепций, в том числе и социологических. Проявляется это и в рассуждениях о культурной элите общества, ее речевом узусе. К сожалению, по большей части мы сталкиваемся здесь лишь с теоретизированием. Некоторые констатации настолько туманны, что мы не берем их расшифровывать; ср.: “Языковая компетенция постепенно дальше модифицируется из средства

²⁶ При чтении книги часто вспоминалось давнишнее наставление С.Б. Бернштейна: “Концепция может быть и неверной – важно, чтобы она была проведена последовательно”.

образования в средство упражнения профессии” [Там же: 98]. Сомнения вызывает и утверждение, что “речевое поведение современной элиты становится образцом поведения не на основе его объективно высокого качества, а на основе того, что позиция активных участников культурной коммуникации принимается как престижный социальный образец по совсем другим причинам” [Там же: 98]. Ср. далее оценку уровня языковой компетенции в СМИ: «Престижность, эталонность их (журналистов. – Г.Н.) речевого поведения уже не базируется на его “качестве” по отношению к СЯ, а именно на важности роли, которую они играют в обществе» [Там же: 106–107]. Можно рекомендовать Г. Гладковой ознакомиться с очень интересными результатами опроса, проведенного Институтом чешского языка в 2003 г., а также со статьей К. Каргановой [Karhanová 2004]. Результаты анкетирования красноречиво говорят о критической, причем весьма нелицеприятной, оценке речевых особенностей весьма высокопоставленных, “элитарных”, персон.

Г. Гладкова полагает, что в недалеком будущем массовая коммуникация станет не только новой языковой сферой, но и превратится в “третий центр” языковой ситуации, возникающий на пересечении обеих ранее выделенных коммуникативных сфер. К сожалению, в настоящее время подобное еще не случилось, так как “ЯСит не позволяет... формирования новой ЯСф, а заставляет массовую коммуникацию выработать норму речевого поведения на основе бицентричного построения ЯП” [Гладкова, Ликоманова 2002: 109]. Невзирая на это, “в современной ЯСит капиллярная коммуникация с присутствием ей языковым поведением становится образцом для поведения в сфере массовой коммуникации” [Там же: 88]. Ошибочность данного утверждения очевидна. Невозможно согласиться и с соображениями по поводу “изменения характера активного участника массовой коммуникации: смена индивидуального, персонального авторства, характерного для культурной коммуникации, коллективным, даже анонимным авторством, типичным для массовой коммуникации (коммуникаторами представляются не отдельные лица, а специализированные организации – редакции, агентуры, медиальные корпорации и пр.)” [Там же: 107].

Что касается русских СМИ, то в них происходило как раз обратное: на смену дикторам с середины 80-х годов пришли ведущие, востребованной стала авторская личность, в том числе и ее индивидуальная речевая стилистика. Возразила бы я и против использования заимствованного у нас термина “массовизация” в значении “деперсонификации” коммуникаторов (ср. [Там же: 108]).

Отсутствует четкая авторская позиция и при определении лингвистического статуса важнейших структурных компонентов языковой ситуации, например, РР²⁷. Так, в монографии И. Ликомановой [Ликоманова 1994] РР включалась в состав литературного языка на правах разговорного литературного языка. В “Монографии 2002” лингвистический статус этого феномена четко не определен: он то трактуется как обобщенное понятие “разговорный язык в целом”, то как центральная разновидность внутри разговорного языка. Причем, с одной стороны, РР характеризуется как “невыкристаллизованная структура” [Там же: 148], «у РР лишь “тенденция к оформленности”» [Там же]; с другой, как сложившаяся языковая разновидность: “У отдельных разновидностей НЯ, какими считаем стандартный язык, разговорную речь и диалекты (в отличие от всех других -лектов, типа социолектов, сленгов, юниолектов, маргилектов и пр.)” [Там же: 149] или же “СЯ и КЯ (коллоквиальный язык. – Г.Н.) как центральные разновидности обеих сфер, но не и диалект” [Там же: 369].

Иными словами, один и тот же феномен рассматривается и как сформировавшаяся разновидность, и как обобщенное понятие, т.е. конструктор, который почему-то вступает в конкуренцию с вполне конкретным языковым идиомом, со стандартным языком.

²⁷ Определению статуса РР и его аналога КЯ (коллоквиальный язык) авторам следовало бы вообще уделить больше внимания, поскольку его толкование неоднозначно как в лингвистике вообще, так и у авторов данного исследования.

Примечательно и соотношение нормы РР и СЯ: “сближение норм СЯ и РР” [Там же: 136]; “углубление разрыва между СЯ и РР” [Там же: 137].

Трудно согласиться с высказываниями Г. Gladkova по поводу конкуренции *стандартного* и *коллоквиального*, т.е. разговорного языка. Так, по ее мнению, последний может “сильно конкурировать со СЯ, поскольку является коммуникативно более комфортным и с этой точки зрения более выгодным, экономичным. Противопоставление СЯ и КЯ в регламентированной сфере нейтрализуется, а сфера нейтрализации регламентированного поведения расширяется” [Там же: 388]. Между тем эти феномены не могут конкурировать друг с другом, ни “сильно, ни слабо”, так как имеют разную природу: литературный язык – это конкретный идиом, в то время как так называемый КЯ пока что является все же конструктом. Мало того, использование литературного языка соответствует речевому стандарту данного коммуникативного ареала, чего нельзя сказать о разговорных идиомах. Другое дело – интерференция отдельных элементов этих феноменов на уровне текста. Сказанное, разумеется, не исключает, как указывалось в наших работах, что лица со сниженной языковой компетенцией могут использовать в ареале высших коммуникативных функций привычный для них речевой узор, однако это речевое поведение, несомненно, будет маркированным, оставаясь на периферии подсистемы. Остается также не ясным, что имеет в виду исследовательница, говоря о нейтрализации противопоставления СЯ и КЯ в сфере регламентированного поведения и пр. В разделе о массовой коммуникации встречается чрезвычайно спорное утверждение о том, что “Массовая коммуникация неминуемо должна конкурировать именно с другой, уже существующей языковой нормой общесоциального характера – с РР” [Там же: 88]. Можно лишь недоумевать, как тип коммуникации может конкурировать с языковым идиомом. Это феномены принципиально различной природы, они отнюдь не являются изофункциональными, что изначально исключает возможность возникновения конкуренции.

Соблюдая верность традиции, Г. Gladkova не включает диалекты в состав разговорной речи – последняя ею определяется как “территориально неограниченная разновидность, или же приближающаяся к такому состоянию” [Там же: 147]. Иными словами, территориальные диалекты “выводятся за скобки”, они обречены, о чем в книге говорится с жесткой категоричностью: “Диалекты отмирают, обречены на гибель” [Там же: 87]. Моя позиция по данному вопросу отличается, что и подкрепляется соответствующей аргументацией, приводимой в монографиях, к текстам которых можно было бы отослать читателя. Добавлю лишь, что в большинстве славянских языков, включая и болгарский, и русский и т.д., региональные идиомы характеризуются значительной сохранностью, в силу чего нет основания выводить их за рамки современной разговорной речи.

С обличительным пафосом говорит Г. Gladkova об устной разновидности чешского литературного языка; ср.: “Искусственность, дезидеративность, характер конструкта остается клеймом устной формы ЧСЯ (чешского стандартного языка. – Г.Н.) до сих пор. Споры о идиоме *hovorová čeština* так и не стихают. В чешском языке различия двух основных разновидностей НЯ (*hovorová*, т.е. *mluvená spisovná čeština* – *obecná*, т.е. *kolokviální čeština*) сигнализируются рядом очень ярких фонологических и морфологических черт... О существовании отдельной наддиалектной субстандартной разновидности уже давно никто не спорит... То, что менее известно особенно иностранцам, это факт, что *obecná čeština* как разновидность НЯ отнюдь не едина, а существует целый ряд ее вариантов (как минимум чешская, моравская и силезская)” [Там же]. Данное категоричное высказывание более чем спорно. Позиция по этому вопросу изложена мною в ряде работ, в том числе и в более ранней публикации [Нещипенко 1985]. Интересные трактовки этого феномена содержатся в блестящих работах Б. Гавранека, Я. Белича, К. Гаузенблаза, А. Едлички, Я. Хлоупека, Ф. Данеша, Я. Корженского, П. Сгалла и мн. др. Нам не остается ничего другого, как вновь повторить, что одна из трудностей описания чешской языковой ситуации заключается в **неоднозначности** интерпретации термина *hovorová čeština*, который истолковывается и как *разговорный литературный язык*, и как

устный литературный язык, что не одно и то же. Подобная полисемия лишь запутывает дело. Авторы книги, владеющие русским языком, надеюсь, согласятся, что в русском переводе эквивалентом термина *hovorová čeština* будет *разговорный литературный язык*; соответственно эквивалентом описательного обозначения *mluvená spisovná čeština* – *устный литературный язык*. Смещение определений *устный* и *разговорный*, столь характерное для социолингвистических описаний целого ряда языков, о чем я также упоминала, затрудняет их сопоставительное изучение. Если бы термин *hovorová čeština* устойчиво интерпретировался как *устный литературный язык*, тогда, очевидно, не было бы проблем, однако трактовка его одновременно и как разговорного idioma создает трудности (сходная ситуация возникает и при интерпретации феномена *разговорный литературный язык* применительно к русской языковой ситуации). Приводимые факты являются дополнительным подтверждением нежелательности терминологической полисемии.

Что касается чешской языковой ситуации, то здесь более прочные позиции занимает феномен *obecná čeština*. Этот термин также полисемичен, однако это полисемия иного рода, с выраженной региональной подоплекой. Кстати говоря, термин *obecná čeština* имеет больше значений, чем указывает Г. Гладкова, что также усложняет дело. В настоящее время под идиомом *obecná čeština* подразумевается прежде всего **среднечешский** речевой узус. Попытки его “канонизации” в качестве **общечешского** разговорного узуса наталкиваются на сопротивление, в частности в Моравии.

Ныне в богемистике актуален не столько вопрос о феномене *hovorová čeština*, сколько о возможности включения элемента идиома *obecná čeština* в литературный узус, в том числе и в письменный. Именно эта проблема является предметом полемики и основой всех споров вокруг кодификации. Кстати, вызывает недоумение политизация Г. Гладковой конфликта вокруг реформы правописания в Чехии в 1992 г. Так, в неприязни “культурной элитой общественности” реформы правописания она видит проявление большей свободы в “посткоммунистических обществах” [Гладкова, Ликоманова 2002: 383]. Уместно задать вопрос, как она тогда объяснит неприятие реформы правописания при социализме, в начале 80-х годов, когда в результате протестов общественности²⁸ реформа правописания, равно как и деятельность Орфографической комиссии были приостановлены? Известно, что правописание является одной из наиболее консервативных языковых зон²⁹, поэтому вмешательство в нее чаще всего воспринимается болезненно, тем более, что это связано со “святой святых” – литературным языком. Подтверждением этого является судьба языкового закона и реформы орфографии в России.

Особое место в книге занимает глава о периоде национального возрождения, когда проблемы национального самоопределения, возрождения национального литературного языка, культуры, этнических традиций приобрели первостепенное значение. Здесь Г. Гладкова проявляет профессионализм и хорошую осведомленность в литературе вопроса. Положительно и то, что происходящие процессы чаще всего рассматриваются в контексте эпохи. Политизация, “осовременивание”, хотя и проявляются, но все же более умеренно. Меняется и тональность изложения: автор более уважительно относится к мнению специалистов (например, К. Гутшмидта, Н.И. Толстого, Г.К. Венедиктова, Е.И. Деминой и др.). Вполне возможно, что в данной главе представлены результаты более ранних публикаций, когда идеологическая переоценка, видимо, еще не была актуальной. Раздел основывается не на прямых, а на **косвенных** источниках, т.е. граммати-

²⁸ В то время бурную реакцию общественности вызвало интервью, предоставленное газете “Вечернее Брно” руководителем Орфографической комиссии.

²⁹ Примечателен комментарий Е.Д. Поливанова в упомянувшейся выше статье: “В виде общего правила письмо (т.е. орфография) оказывается более консервативным, чем произношение... и более прогрессивная область явлений – устная речь обычно влияет на более консервативную, т.е. на орфографию, в результате чего орфография изменяется вслед за соответствующими изменениями произношения, хотя иногда и опаздывает при этом на полтысячи и более лет” [Поливанов 1968: 219].

ках, лингвистических сочинениях, а, самое главное, на работах **других** исследователей. В связи с этим громоздкое умозрительное построение, сконструированное в теоретической главе, здесь остается невостребованным, лишая нас возможности наблюдать, как оно “работает” в материале.

Несколько слов по поводу чешских возрожденческих параллелей. Поскольку Г. Гладкова не работала непосредственно с текстами, ее оценка языковой практики того периода не только не полна, но и носит односторонний характер³⁰. Так, в частности, нельзя судить о литературной продукции того времени лишь по деятельности поэтической школы А. Пухмайера. Не учитывается и языковой уровень газетных публикаций того времени, а он совсем не так архаичен³¹. Выходившие в ту пору газеты и журналы ставили перед собой не только просветительские и патриотические задачи, нередко они использовались как средство проведения языковой политики (ср., например, редакционные комментарии, рекомендующие заменять заимствованные слова чешскими: *vm. kanál – oužlabí*; *vm. parasol – stínidlo*, дословно ‘средство, дающее тень’, т.е. ‘зонтик от солнца’). В имеющейся у меня картотеке подобных примеров не мало, в частности из “Почтовой газеты” за 1791 г.). Более разнообразным в этот период было и литературное творчество (см. [Нещименко 1968]). Ценный материал о языке эпохи чешского возрождения содержат исследования П. Гаузера, А. Камиша, Э. Дворжака и др., однако он здесь не учитывается.

Как я упоминала в статье о Й. Добровском [Нещименко 2003б], для того, чтобы составить объективное представление о нем и эпохе национального возрождения в целом, необходимо понять суть предшествующего двухвекового периода истории чешского этноса и его языка, т.е. с середины XVI по первую половину XVIII в. К сожалению, безвременная кончина А. Стиха не позволила осуществить грандиозные планы по изучению этой эпохи – будем надеяться, что это сделают его многочисленные ученики и последователи.

Одной из возможных причин, препятствовавших Й. Добровскому опереться на разговорный узус того времени, было то, что формирование проводимой им языковой политики пришлось на период классицизма с присущей ему эстетической концепцией. Согласно существующим канонам поэтический язык – в широком понимании этого слова – должен был значительно отличаться от языка “низших” жанров, а тем более от “языка улицы”. По мнению Б. Гавранека [Havránek 1936: 96], кодификация Й. Добровского является консервативной, однако это вызвано стремлением отличить литературный язык от повседневного разговорного языка. В свою очередь А. Едличка утверждает, что под влиянием живого разговорного узуса Добровский нередко отходит от старой велеславинской нормы [Jedlička 1959]. Определяя кодификацию Добровского как целостное, хорошо дифференцированное и тонкое описание нормы литературного чешского языка, А. Едличка указывает и на то, что морфологическую норму чешского языка Добровский рассматривает в динамике, как развивающийся процесс, о чем свидетельствуют приводимые им дублетные формы³². Добровский учитывает социальные и возрастные характеристики пользователей языка (старшее поколение / младшее / представители

³⁰ Хотелось бы высказать пожелание, чтобы при оценке языковой ситуации эпохи возрождения шире привлекались данные лингвистических исследований, а не только труды историков и литературоведов, как это делается в книге.

³¹ Особого внимания заслуживает деятельность М. Крамериуса, или Велеславина XVIII в., как его называли современники, бывшего издателем и редактором регулярной газеты на чешском языке. В 1786 г. он редактирует “Шёнфельдскую почтовую газету”; с июля 1789 г. самостоятельно издает “Пражскую почтовую газету”, называвшуюся с 1791 г. “Патриотической газетой” Крамериуса.

³² В своей “Подробной грамматике” Й. Добровский приводит самый обширный диалектный материал, который был ему известен не только по чужим трудам, но и из собственного опыта: он хорошо знал словацкий и другие славянские языки.

народа и пр.), обращает он внимание и на частотность тех или иных морфологических явлений и пр.

Предложенное Й. Добровским описание грамматической структуры чешского литературного языка не следует рассматривать как жесткую кодификационную регламентацию, равно как и лексический тезаурус Й. Юнгмана. В обоих случаях речь идет скорее о регистрации набора имеющихся возможностей. За пользователем языка остается возможность окончательного выбора³³. Делом последующих поколений было смягчить возникший дискомфорт умелой кодификационной политикой, однако кодификация Я. Гебауера и его сторонников была более жесткой и категоричной.

Так или иначе, деятелям возрождения удалось в исторически короткий срок преодолеть культурную стагнацию, возродить чешский язык во всей широте его коммуникативных функций, восстановить прерванную традицию использования чешского языка в сфере образования, гражданской жизни, в поэзии, философии, науках. Пафос языковой политики, проводимой деятелями национального возрождения, заключался в защите этнического языка от деструктивного влияния германизмов, языкового псевдоноваторства, включения узкорегionalных элементов (ср. критику Ф.Д. Трки и В.П. Жака, стремившихся приблизить литературный язык к наречию). Подобная защита была необходима для того, чтобы литературный язык мог успешно выполнять свою консолидирующую миссию в жизни этноса, чтобы он стал единым, обязательным, общепонятным языком.

Говоря о развитии национального языка в исследуемый период, Г. Гладкова справедливо уделяет внимание роли немецкого языка для чехов и греческого – для болгар [Гладкова, Ликоманова 2002: 361]. Значимость отечественной культурной традиции, а также идеи славянской взаимности, в частности, роль России, на мой взгляд, недооценивается.

Как известно, на развитие чешской национальной культуры и укрепление у чехов славянского самосознания огромное влияние оказали чешско-русские культурные связи. Для Добровского и других деятелей чешского возрождения русский язык был языком великого народа, носителя культурных и исторических традиций, народа, бывшего опорой для всех славян, народом-освободителем.

Имя Й. Добровского стало известно в России уже в начале 90-х гг. XVIII в. В феврале 1791 г. Н. Румянцев пытается установить связь с чешским ученым и узнать от него о чешско-русских взаимоотношениях в прошлом. В 1792–1793 состоялась поездка Добровского в Россию, где он имел возможность осмотреть библиотеки и архивы, собрания Чудовской и Лавровской библиотек, изучить некоторые памятники церковнославянской письменности, ближе познакомиться с русским языком и литературой. Это путешествие имело огромное значение для формирования отношения Добровского и других деятелей чешского возрождения к России и русскому народу. Вера Добровского в великую миссию славян в результате поездки усилилась. Он установил и в дальнейшем поддерживал живые контакты с русскими учеными. В 1820 г. его избрали членом Российской академии наук. О взглядах Добровского на взаимоотношения и классификацию славянских языков был хорошо осведомлен Н.М. Карамзин. Во время путешествия в Чехию (1821 г.) российский ученый П. Кеппен встретился в Праге с Й. Добровским, Й. Юнгманом и В. Ганкой. Интересные данные о русско-чешских взаимоотношениях приводит С.В. Смирнов [Смирнов 1974]. Как указывает последний, А.Х. Востоков отправил Добровскому снимки с Остромирова евангелия с подробным лингво-палеографическим описанием памятников, написав при этом: “Счастливы я буду, ежели Вы в на-

³³ Из письма Й. Юнгмана к А. Мареку: “Некоторые требуют, чтобы мы приняли единое решение о терминах... однако я ненавижу единовластие в литературе и с удовольствием вижу и слышу чуждые мне и противные мнения. Время решит, как должно быть, хотя, разумеется, я не отрицаю, что согласие в терминах, достигнутое уже в самом начале, было бы полезнее” [Jedlička 1974b].

граду за труды мои удостоите меня драгоценной для меня переписки с Вами! Давно уже я Вас люблю и уважаю, как учителя и вождя своего на стезе грамматических исследований, коими я занимаюсь”.

Шокирует следующее высказывание Г. Гладковой об эпохе болгарского возрождения: “Русское влияние с 40-х годов середины XIX века, бесспорно, играло особо важную роль, оно фактографически описано в объемной литературе, но, очевидно, за будущим остается задача очистить эти исследования от идеологических наслоений социалистического периода, в особенности учесть более объективно важность и других культурных центров... и от роли государственных интересов России на Балканах” [Гладкова, Ликоманова 2002: 185]. Позволительно спросить: «А что эти “другие культурные центры” не имели своих государственных интересов в Чехии и соответственно на Балканах?». Как специалист по эпохе возрождения Г. Гладкова должна была бы знать, какой страх испытывали чешские будители перед Веной. Это показывает и переписка Й. Добровского, Й. Юнгмана, Ф. Палацкого и других. Многие из деятелей чешского возрождения находились под негласным полицейским надзором. Достаточно вспомнить о драматической судьбе видного чешского писателя и кумира революционной молодежи в 1848 г. К. Сабини, который после изобличения в осведомительстве (после падения в 1860 г. баховского полицейского режима) был полностью покинут своими друзьями и почитателями. К сожалению, нравственный кодекс последующих столетий оказался более конформистским.

Власти Габсбургской монархии лелеяли мечту о национально-языковой интеграции обширной империи и в частности о создании единой австрийской государственно-политической нации, стоящей над этнической и языковой разнородностью населения [Štřítecký 1990]. В качестве общего официального языка в сфере государственного управления должен был использоваться язык немецкий; применение так называемых региональных языков разрешалось лишь на более низких уровнях общения. Несмотря на то, что формально чешский язык, наряду с немецким, и считался официальным, деловым языком – во всяком случае, это провозглашалось, в административной сфере фактически полностью господствовал немецкий язык. Процесс германизации во второй половине XVIII в. все более усиливался. Как отмечает Я. Порак [Porák 1982: 50], если в 1751 г. в городе Литомнержице записи в городских книгах еще производились на чешском языке, то через 40 лет из-за нехватки чиновников, владеющих чешским языком, лишь на немецком. В конце XVIII в. онемечиваются уже целые исконно чешские регионы, например, вокруг Жатца, Литомнержиц, Прахатиц и т.д. По декрету 1787 г. знание немецкого языка требовалось и от ремесленников. Декреты 70-х годов XVIII в. повсеместно укрепили положение немецкого языка в школах. Только с 1774 г. чешский язык начал в ограниченной степени использоваться в сфере образования, причем лишь в начальных (тривиальных) школах в сельской местности; в остальных формах начального обучения, а также в средней и высшей школе чешский язык практически не использовался. По свидетельству Й. Добровского, в 1780 г. в Чехии было примерно 130 школ, в которых обучение ранее велось только на чешском, а теперь – только на немецком языке. В 1781 г. немецкий язык был провозглашен в качестве общегосударственного языка Австрийской империи. В упомянутый период чешский литературный язык перестает быть языком науки, которым он был, наряду с латынью, в добелогорский период (т.е. до 1620 г.). В функции научного языка восстанавливается латынь, а также немецкий и французский языки. Существенно изменилась в жанровом и тематическом отношении книжная продукция на чешском языке. Судя по сохранившемуся корпусу текстов, в большинстве своем это литература религиозного содержания, наставительная, нраво-учительная и пр., предназначенная для простого народа. Литература “высших” жанров, т.е. художественное творчество в истинном смысле этого слова, в том числе поэзия, “высокая” проза и т.д., во второй половине столетия на чешском языке практически не создавалась. Сказанное, разумеется, не означает, что чешский язык в довозрожденческий период пребывал в полном упадке. Новейшие исследования подтверждают факт континуального развития различных уровней чешской грамматической системы. Тем

не менее, факт существенного сужения коммуникативного спектра чешского литературного языка отрицать трудно.

Деятели возрождения выполнили свою патриотическую миссию – в исторически короткий срок была восстановлена прерванная традиция использования родного языка в сфере образования, гражданской жизни, в поэзии, философии, науках. Это не означает, что проводимая ими культурная и языковая политика не была объектом острой критики ни тогда, ни теперь. Ныне, “задним числом”, вырывая из исторического контекста, можно, конечно, упрекать чешских будителей в том, что они не воспользовались альтернативным решением – опорой на существующий живой разговорный узус (путь, по которому пошли некоторые славянские народы) или же, что, создавая терминологическую номенклатуру на родном языке, они замедляли процесс включения чешского этноса в европейскую цивилизацию. Критические нападки, обвинения в национализме (прежде всего И. Юнгмана) особенно усилились, как отмечал А. Стих в своей лекции для зарубежных богемистов [Stich 1998 г., интернетовская версия], после “бархатной революции” 1989 г. К сожалению, это иногда имеет выраженный политический подтекст (см. [Нещименко 2003б]).

Третья глава – автор И. Ликоманова – посвящена современной языковой ситуации в Болгарии. К исследованию привлекается главным образом публичная речь, характеризующаяся преимущественным использованием литературного языка. В качестве иллюстрации автор привлекает сведения, извлеченные из различных статистических обзоров и справочников. В целом данный раздел преемственен по отношению к более ранним публикациям этого же автора. Несколько изменились, впрочем, некоторые оценки. Так, если раньше феномен РР в традициях российской (советской) социолингвистики рассматривался как разговорный литературный язык, то теперь его видоизмененный статус уже не вполне ясен. Вместе с тем И. Ликоманова по-прежнему полагает, что “представители... именно гуманитарного высшего образования составляют самую активную часть болгарского социума. По характеру своих профессий – учителя, научные работники, врачи, журналисты ежедневно общаются со многими людьми как через посредство СЯ, так и через посредство РР” [Гладкова, Ликоманова 2002: 404]. Можно лишь сожалеть, что автор не прислушалась к советам, высказанным в моей монографии 1999 г. по поводу неправомерности априорного отнесения представителей гуманитарных профессий к истинным носителям литературной нормы. Следует положительно оценить то, что И. Ликоманова обращает внимание на увеличение роли возрастного фактора в речевом поведении.

Включение главы о современной болгарской языковой ситуации не дает основания говорить о книге в целом как о синхронно-диахронном исследовании. По сути, здесь имеются два **синхронных** среза (эпоха возрождения и современный период), описание которых осуществляется по различной методике, на разнородной фактографической базе. Ср.: “Материал для нашей работы собирался ввиду неоднородного содержания самым разнообразным путем: для прошлых периодов – косвенным образом – из грамматик и лингвистических сочинений и работ, из трудов по истории, а для самого современного периода – из текстов, наиболее активно функционирующих в публичном и частном обращении – из прессы, публичного и частного общения” [Гладкова, Ликоманова 2002: 12]. Примечательна и пропорциональная несоразмерность глав: болгарское возрождение – 218 с.; современный период – немногим более 20 с. Какие бы то ни было вертикальные “нити” между обоими срезами, которые бы позволяли проследить направленность динамических тенденций, отсутствуют.

При сопоставительном, в данном случае **внутриязыковом** изучении, следовало бы стремиться к тому, чтобы анализ и синтез языкового материала осуществлялись на базе единой программы, единых оснований для сравнения (*tertium comparationis*), единого понятийно-терминологического аппарата, наконец, по возможности сходного (хотя бы в жанровом отношении) корпуса языковых фактов (ср. в этой связи [Нещименко 1980; Нещименко 1983]). При несоблюдении этих условий внутриязыковое сопоставление невозможно.

Завершая рассмотрение книги Г. Гладковой и И. Ликомановой, возвращусь к тому, о чем говорила в начале: о ее чрезмерной политизированности. Это особенно заметно при рассмотрении так называемых символических функций. Данные функции (этноинтегрирующие, этнорепрезентативные, этнодифференцирующие) присущи не только литературному, но и этническому языку в целом³⁴. Не случайно в ранние периоды существования этноса, когда у носителей этнического языка еще отсутствовало осознание его внутренней дифференциации, отчетливо сохранялось ощущение принадлежности к языку (народу) в целом; ср. хотя бы патристический пафос “Далимиловой хроники”, чешского памятника письменности начала XIV в. Символические функции являются, на мой взгляд, константой в жизни этноса. Их значимость может возрастать или же ослабевать, однако, пока жив сам этнос, вряд ли можно говорить об их нивелировании и даже полном исчезновении. Обращенные **вовне** они представляют этнос во внешнем мире, отличая его от других этносов; обращенные **вовнутрь**, т.е. во внутриэтническое языковое пространство, способствуют развитию в нем как тенденций **интеграции** (формирование наддиалектных образований, становление субстандартной разговорной формации, укрепление и совершенствование литературного языка как общеэтнического коммуникативного средства и пр.), так и дифференциации (ср. возникновение новых, отличающихся от уже существующих языковых манифестаций, например, различных видов сленга и т.д.).

Иными словами, в языковом пространстве этноса одновременно действуют две противонаправленных тенденции: а) **увеличение** многообразия конкретных форм общения, приводящее к **дроблению** языкового пространства; б) **нейтрализация** этого многообразия путем становления интегрированных речевых манифестаций, **организующих** языковое пространство, способствующих его **структуризации** [Нещименко 2003а: 126].

Проблеме символических функций в книге двух авторов уделяется большое внимание, причем как в теоретической главе, так и в главе о национальном возрождении. Последнее не удивительно, так как лейтмотивом эпохи возрождения у всех славянских народов, особенно у тех из них, которые страдали от национального гнета (к их числу, кстати, относятся и чехи, и болгары), было национальное самоутверждение и прежде всего становление национальных литературных языков **во всем многообразии** их коммуникативных функций. Впрочем, по мере приближения к современности интерес Г. Гладковой³⁵ к этим функциям явно угасает («мало ли это, если СЯ будет удовлетворительно выполнять “только” коммуникативные функции?» [Гладкова, Ликоманова 2002: 156]). Следует ли удивляться, что под новым углом зрения, вне исторического контекста, рассматривается период национального гнета у чехов и болгар. Как заявляет Г. Гладкова, ранее эта ситуация традиционно рассматривалась односторонне, т.е. акцентировалась значимость лишь развития этноса “по направлению к его самоопределению” [Там же: 159]. Пересматривается и проблема заимствований: «Рост заимствований в этнический язык и влияние иностранных языков на систему языка в целом, который так часто бросается на глаза как основная проблема актуального развития и к которому иногда сводятся все “отрицательные” явления актуального развития СЯ, в таком контексте – проблема совсем другого, более низкого ранга» [Там же: 160]. В связи с этим недоуменно спросим, почему же не так давно принимались языковые законы в таких развитых странах как, например, Франция?

Высокомерно оценивается ситуация, складывающаяся у таких наций как “словаки, словенцы, хорваты, македонцы, босненцы и др. В силу того, что последний атрибут нации – самостоятельная государственность – приобретена ими именно только в настоящий период, у них символические функции СЯ более чем актуальны: патристический пафос выдвигает их на передний план как основной признак идентификации с новооб-

³⁴ Кстати, вряд ли правомерно говорить, что “с РР никогда не связывались никакие общенациональные символические функции” [Гладкова, Ликоманова 2002: 88].

³⁵ Мы называем здесь именно Г. Гладкову, являющуюся автором соответствующих разделов.

разованным обществом. Язык служит также как основное средство дифференциации по отношению к языкам наций, с которыми они до сих пор состояли в одном государстве” [Там же: 384]. Возникает естественный вопрос: “А что, чехи всегда имели собственное государство? А как же тогда империя Габсбургов, Австро-Венгрия, Чехословакия и пр.?” Впрочем, иногда Г. Гладкова неожиданно сетует на то, что “у молодого поколения исчезает сознание исторической памяти народа, понятие народ для него теряет свой размер во времени, принцип преемственности поколений лишен смысла, чувства гордости за свою национальную принадлежность” [Там же]³⁶.

*

При написании этой статьи я не ставила перед собой задачи уличать авторов книги в плагиате (равно как не сделала этого во время доклада Г. Гладковой в Дрездене). В конце концов, каждый человек руководствуется своим собственным нравственным императивом. У нас он не совпадает.

В своих исследованиях я неоднократно подчеркивала, что предлагаемый мною подход не является некоей “истиной в конечной инстанции”, что это приглашение к дискуссии. Любая дискуссия, однако, должна быть конструктивной, аргументированной, предлагаемые новшества не должны быть самоцелью, а вытекать из взвешиваемого и квалифицированного анализа добротного языкового материала, “работать” в нем. Только в этом случае можно прийти к важным обобщениям и выводам, позволяющим понять суть языковых процессов, их перспективную, как писал М. Докулил, глубину, т.е. прогнозировать направленность дальнейшего развития. Последнее особенно возможно в диахронных исследованиях, когда облегчается апробация предварительных предположений на разных синхронных срезах с последующим выходом на глубинные системно-функциональные закономерности, языковые универсалии. Подменять научный анализ огульными, политико-идеологическими обвинениями недопустимо.

Досадно, разумеется, что, заимствовав мою концепцию, авторы не сумели реализовать заложенные в ней исследовательские возможности, многие ее положения они попросту исказили.

И тем не менее взяться за перо меня побудило прежде всего оскорбительное отношение к славистике и в первую очередь к российской науке. Подобная тональность, характерная для книги в целом, разумеется, не может не волновать нас, славистов, богемистов, для которых Чехия стала, по сути, второй родиной, которые отдали свои силы изучению и популяризации достижений богатейшей чешской культуры. Напомним в этой связи о таких замечательных представителях отечественной богемистики как С.В. Никольский, “вернувший” своими трудами о К. Чапеке этого писателя чешскому народу³⁷, как А.Г. Широкова, создавшая в нашей стране школу богемистов и т.д.

Что же касается советской социалингвистики, то ее огромные заслуги и бесспорный международный авторитет очевидны. Имена таких корифеев как Б.А. Ларин³⁸, В.М. Жирмунский, Е.Д. Поливанов, В.Н. Ярцева, Л.Б. Никольский, А.Д. Швейцер и многих других говорят сами за себя, они широко известны во всем мире. Кстати, книга А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского “Введение в социалингвистику” была переведена в свое время на чешский язык Й. Краузом [Švejcer, Nikolskij 1983]. В свою очередь среди

³⁶ Очевидно, Г. Гладковой попадались не слишком патриотичные студенты. Мне везло больше: в окружении А. Стиха находились студенты Карлова университета, не только талантливые, но и преданные чешской культуре и языку.

³⁷ В послевоенной Чехословакии имени К. Чапека сопутствовала репутация буржуазного писателя.

³⁸ Под руководством Б.А. Ларина в первые послевоенные годы формировался как русист В. Барнет. Искреннюю любовь к России этот замечательный человек и талантливый ученый пронес через всю свою жизнь. Важно подчеркнуть, что он отнюдь не связывал с Россией все постигшие его беды.

чешских ученых есть много имен, которым мы отдаем дань своего огромного уважения. Назовем лишь некоторых из них: Б. Гавранек, Я. Белич, А. Едличка, М. Докулил, В. Барнет, А. Стих, Ф. Данеш, И. Немец и мн. др.

Хотелось бы надеяться, что время все расставит по своим местам, что “зерна будут отделены от плевел” и что даже такие печальные для обоих наших народов события как 1968 г., а также последовавшая за ним “нормализация” дождутся своего непредубежденного исследователя, который отважится сказать, где в ту пору была действительно зловавшая “рука Москвы”, а где интриги местных “энтузиастов”. Может быть, тогда мы, наконец, поймем, почему стали жертвами или же попали в опалу наиболее честные, инициативные, яркие и талантливые люди, почему именно они были выбиты или отгеснены людьми, не имевшими шансов на честное продвижение в своей профессии. Нельзя не вспомнить о том, что уже в середине 90-х годов (в период бурных дебатов по поводу реформы правописания) резким нападкам в печати подвергся А. Стих: один из функционеров тогдашней ЧСАН клеймил его как “большевистскую структуру”, призывая проверить, чему он учит молодежь в стенах Карлова университета. Я сама была свидетелем искреннего возмущения А. Стиха: “Не хватает, чтобы в нашей демократической стране снова начались чистки!”. И это был тот самый А. Стих, которого в начале 80-х гг. безжалостно вышвырнули из Института чешского языка за политическую “неблагожелательность”. Все попытки воспрепятствовать этой расправе, предпринимавшиеся, по нашей просьбе, официальными представителями отечественной науки, наталкивались на жесткое сопротивление тогдашнего директора этого Института.

Во все времена чешские и российские ученые и в первую очередь слависты, плодотворно сотрудничали, они протягивали друг другу руку помощи и поддержки, невзирая на политические перипетии. В тяжелый период репрессий советские ученые находили убежище в Чехословакии, становясь украшением, в том числе и Пражского лингвистического кружка, на который так любит ссылаться Г. Гладкова. Вспоминается рассказ А.Г. Широковой о том, как во время съезда славистов в Праге в 1968 г. именно В. Барнет старался окружить вниманием советских ученых. Нельзя забыть и того, как 21 августа 1998 г. в день открытия международного симпозиума богемистов в честь 650-летия Карлова университета А. Стих делал все возможное, чтобы мы не почувствовали неприязни. Именно в этот день в торжественной обстановке Каролинума за вклад в развитие богемистики российским ученым были вручены памятные медали философского факультета Карлова университета.

В свою очередь советские богемисты и русисты в период так называемой “нормализации” проявляли заботу и внимание к своим опальным коллегам, в частности, к В. Барнету³⁹, А. Едличке, отметившему, кстати, именно в Москве, в теплой сердечной обстановке свое семидесятилетие. Советская лингвистическая пресса предоставляла возможности для публикации многим чешским ученым, лишенным этого у себя на родине. Было бы несправедливо не помнить, что именно наши ученые широко пропагандировали достижения Пражского лингвистического кружка, причем тогда, когда в Чехословакии это научное направление отвергалось как буржуазное. В этой связи нельзя не назвать фундаментальную публикацию о Пражской лингвистической школе Т.В. Булыгиной [Булыгина 1964], получившую высокую оценку Р.О. Якобсона и Й. Вахека. Особое место в этом ряду занимает изданный в Москве “Лингвистический словарь Пражской школы” Й. Вахека [Вахек 1964]. Упомянем также сборник “Пражский лингвистический кружок” [Пражский лингвистический кружок 1967]. Достижения чешской лингвистики

³⁹ Именно А.Г. Широкова безуспешно пыталась защитить В. Барнета от яростных и немолимых “нормализаторов”. Уже в 1980 г. по ее приглашению В. Барнет прочел замечательный спецкурс по теории сопоставительного изучения славянских языков на филологическом факультете Московского университета. Вспоминаются и великолепные лекции А. Стиха в этом же университете, а также в Институте славяноведения РАН.

широко популяризировались в нашей стране; ср., например, “Языкознание в Чехословакии” [Языкознание в Чехословакии 1978].

Доброй традицией и хорошей школой было обсуждение на Лингвистическом объединении ЧСАН, на семинарах, симпозиумах в Институте чешского языка, среди университетских коллег докладов наших богемистов. Вспоминается, как в конце 60-х гг. по просьбе сотрудников Института чешского языка, работавших над сходной проблематикой, я направила в Прагу уже готовую, но еще не опубликованную рукопись монографии [Нещименко 1968]. Все это говорит об отношениях доверия и порядочности. Многие чешские друзья, с которыми меня соединяют узы верной, испытанной временем дружбы, когда-то были коллегами, с которыми мы параллельно разрабатывали одну и ту же проблематику. Я счастлива, что время и обстоятельства нас не развели. И, наконец, я не могу не вспомнить о замечательном чешском ученом Милоше Докулиле, который был для меня не только другом и учителем, но и нравственным авторитетом [Нещименко 2003в].

Прочные контакты между учеными наших стран сохраняются и ныне – назовем лишь совместную работу над международными проектами, участие в конференциях и т.п. Чешские ученые щедро предоставляют нам, богемистам, возможность пользоваться лексикографическими архивами Института чешского языка ЧАН и Чешского национального корпуса в Карловом университете. Хотелось бы надеяться, что обоюдными усилиями нам удастся сохранить добрые и плодотворные традиции, столь важные для настоящего и будущего обоих наших народов.

Заключая статью, хотелось бы задать вопрос, адресовав его уже не авторам книги, а чешскому (да и болгарскому) научному сообществам (тем более, что Г. Гладкова нередко выступает от их имени): солидаризируются ли чешские (равно как и болгарские) ученые со следующими высказываниями:

– “никто (имею в виду в чешском языковом обществе и болгарском языковом обществе, в отличие от упомянутых уже словаков, сербов, хорватов и др.) не ощущает или, по крайней мере, не осознает СЯ как национально-репрезентативную отличительную черту нации, никто не связывает существование государственности с языковым вопросом” [Гладкова, Ликоманова 2002: 285];

– “не является ли часть проблем только следствием субъективной интерпретации языкознанием актуальной ЯСит, не тонут ли языковеды в стереотипах, созданных родным языкознанием как национальной – по общественному заказу – наукой, традицией, порожденной эпохой возрождения и последующих, также патетически патриотических, этапов эмансипации нации, образования государственности, или же идеологическими штампами эпохи социализма?.. Вопросы такого типа вызваны присутствием в языковедческих трудах (и в родно-язычном обучении), очевидно, идеологически зависимых или даже тенденциозных оценок развития и характера СЯ у отдельных славянских народов” [Там же: 380];

– “в период социализма требование проникновения этнического языка (а особо СЯ) во все сферы общения доведено до крайности” [Там же: 160];

– “символические функции СЯ не являются в современной чешской и болгарской ЯСит, как и в части других славянских языков актуальными: целей НВ было достигнуто, наличие всех атрибутов нации, включительно и СЯ совсем привычно и естественно. В регламентированной сфере нет надобности демонстрировать их в явном смысле, никто не боится возможности утраты национальной самобытности” [Там же: 383].

Хочется надеяться, что далеко не все ученые разделяют подобные взгляды, поскольку разработка проблематики социолингвистики, теории литературного языка имеет в чешской науке давние плодотворные, если не сказать блистательные, традиции.

Надежду вселяет и то, что с суждениями Г. Гладковой резко контрастирует мнение Я. Корженского: “В настоящее время нередко приходится слышать о том, что национализм (патриотизм, осознание своей принадлежности к той или другой национальности и пр.) является исключительно политическим, эстетическим, культурным порождением романтизма и что в период до или же после расцвета романтизма надобность в этом от-

падает, становясь всего лишь негативным проявлением ущемленности, маргинальности (перевод наш. – Г.Н.)” [Корженский 2005]⁴⁰.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина 1964 – Т.В. Булыгина. Пражская лингвистическая школа // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Вахек 1964 – Й. Вахек. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964.
- Виденов 1982 – М. Виденов. Опыт за типология на българската езикова ситуация през възраждането. София, 1982.
- Гладкова, Ликоманова 2002 – Г. Гладкова, И. Ликоманова. Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Praha, 2002.
- Гладкова 2002 – Г. Гладкова. Опыт интерпретации развития современной языковой ситуации // Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart / Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen. Dresden, 25. – 28. Oktober 2000. 2002.
- Корженский 2005 (в печати) – Я. Корженский. Европейская коммуникация: глобализация и этничность // Глобализация и этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. 2005 (в печати).
- Ликоманова 1994 – И. Ликоманова. Синтаксис на българската разговорна реч (в съпоставка с руски, чешки, полски език). София, 1994.
- Нещименко 1968 – Г.П. Нещименко. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII–XX вв. М., 1968.
- Нещименко 1980 – Г.П. Нещименко. Очерк демунивативной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII – середина XX вв.). Praha, 1980.
- Нещименко, Широкова 1981 – Г.П. Нещименко, А.Г. Широкова. Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историко-культурный аспект. М., 1981.
- Нещименко 1983 – Г.П. Нещименко. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.
- Нещименко 1985 – Г.П. Нещименко. Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985.
- Нещименко 1998 – Г.П. Нещименко. Значимость оппозиции “носитель – пользователь” языка (языкового диалога) для изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание. XII. Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. М., 1998.
- Нещименко 1999 – Г.П. Нещименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina philologiae slavicae. Bd. 121. München, 1999.
- Нещименко 2001 – Г.П. Нещименко. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1.
- Нещименко 2003а – Г.П. Нещименко. Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.
- Нещименко 2003б – Г.П. Нещименко. Великий чешский ученый Йозеф Добровский // Славяноведение. 2003. № 6.
- Нещименко 2003в – Г.П. Нещименко. Памяти выдающегося чешского ученого Милоша Докулила // ВЯ. 2003. № 2.
- Нещименко 2004 (в печати) – Г.П. Нещименко. Переименовывать или не переименовывать? (О некоторых терминологических проблемах в славистике) // Международная конференция “Стандарт – субстандарт – синхронные и диахронные аспекты”. Заседание Комиссии по изучению славянских литературных языков при МКС. Варна; Шумен (в печати).
- Проблемы славянской диахронической социалингвистики 1999 – Проблемы славянской диахронической социалингвистики: Динамика литературной нормы. М., 1999.

⁴⁰ Автор статьи выражает искреннюю признательность В.А. Дыбо и Д. Шлосару за внимательное прочтение статьи в рукописи, а также за ценные советы и замечания, которые по мере возможности были учтены.

- Поливанов 1968 – *Е.Д. Поливанов*. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Пражский лингвистический кружок 1967 – Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. М., 1967.
- Смирнов 1974 – *С.В. Смирнов*. К истории русско-чешских научных связей в I половине XIX века // Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3–4. 1974. Slavica Pragensia XVII. Praha, 1974.
- Толстой 1988 – *Н.И. Толстой*. К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его “стандартности” // История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Языкознание в Чехословакии 1978 – Языкознание в Чехословакии. Сборник статей. 1956–1974. М., 1978.
- Encyklopedický slovník češtiny 2002 – Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002.
- Havránek 1936 – *В. Havránek*. Vývoj spisovného jazyka českého // Československá vlastivěda. Roč. II. Praha, 1936.
- Havránek 1963 – *В. Havránek*. Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
- Jedlička 1959 – *А. Jedlička*. Josef Dobrovský a tvaroslovná kodifikace spisovné češtiny // Studie o jazyce a literatuře národního obrození. Praha, 1959.
- Jedlička 1974a – *А. Jedlička*. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.
- Jedlička 1974b – *А. Jedlička*. Jungmannovy zásluhy o nový český jazyk spisovný // Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3–4. Praha, 1974.
- Karhanová 2004 – *К. Karhanová*. Nejde jen o formu, ale i o obsah: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti // Naše řeč. 2004. № 2.
- Krčmová 2000 – *М. Krčmová* – Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 48. 2000. – Рец. на кн.: *Г.П. Нецименко*. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков).
- Neščímenko 1986 – *Г.П. Neščímenko*. К problému diferenciacie národního jazyka. Teze přednášky v JS v Brně dne 11.12.1985 // Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj československých jazykovědců. 1986. № 1–2.
- Porák 1983 – *Ј. Porák*. K situaci v češtině před obrozením. Přednášky z 26. běhu Letní školy slovan-ských studií v roce 1982. Praha, 1983.
- Stich 1998 – *А. Stich*. Kořeny české kulturní totožnosti: Jak to bylo s českým jazykem a literaturou v pobělohorském období // Britské listy 1998 (интернетовское издание).
- Stich 2004 – *А. Stich*. Jazykověda – věc veřejna. Praha, 2004.
- Střítecký 1990 – *Ј. Střítecký*. České identity // Přítomnost. 1990. № 3.
- Švejcер, Nikolskij 1983 – *А.Д. Švejcер, L.B. Nikolskij*. Úvod do sociolingvistiky. Praha, 1983.
- Tváře češtiny 2000 – *І. Bogoczová, K. Fic, J. Chloupek, E. Jandová, M. Krčmová, O. Müllerová*. Tváře češtiny // Spisy filozofické fakulty Ostravské univerzity. № 132. Ostrava, 2000.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2005 г. Г.Ф. БЛАГОВА

**НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИЛЬМИНСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ТУРКМЕНСКИХ ДИАЛЕКТОВ***

С 1925 года, когда А.Н. Самойлович на страницах ныне раритетного издания отметил мощное начало тюркологической деятельности Н.И. Ильминского, научное творчество этого ученого редко привлекало внимание позднейших исследователей.

Роль Ильминского в изучении туркменского языка отечественными тюркологами освещена в контексте его лингвистических воззрений, практики перевода и преподавательской методики.

Впервые в русском переводе печатается краткий лингвистический очерк Ильминского "О языке туркменов".

В славной плеяде отечественных тюркологов, внесших свой вклад в научное изучение туркменского языка и его диалектов, – И.Н. Березин, Н.И. Ильминский, А.Н. Самойлович, А.П. Поцелуевский¹ – Николай Иванович хронологически занимает второе место. Впервые в российской тюркологии сведения о туркменском языке иранского Прикаспия добыл иранист и тюрколог И.Н. Березин во время своей поездки по Ближнему Востоку в 1842–1845 гг. [Березин 1845; 1847; Berèzine 1848]. Оба они были учениками А.К. Казем-бека.

По словам А.Н. Самойловича, Березин обнаружил "полное отсутствие специальной лингвистической подготовки, которой он в школе получить не мог и которой он не приобрел и впоследствии – путем изучения существовавшей в его время литературы, как это сделал другой блестящий ученик Казем-бека, бывший тремя годами моложе Березина, Ильминский" [Самойлович 1925: 165].

На необходимости теоретической подготовки для востоковедов настаивал И.Ю. Крачковский, когда в письме к своему коллеге А.Н. Самойловичу от 23.07.1905 г. писал о той "широте взгляда, которой подчас у многих из нас и наших му'аллимов не

* При написании статьи были использованы материалы о Н.И. Ильминском, собранные Ф.Д. Ашниним: в свое время он имел намерение составить цикл очерков об отечественных тюркологах, а также о А.А. Бобровникове. Это ксерокопии ряда статей и книг Ильминского, машинописные и переписанные от руки его же письма. Сюда включена также копия письма внучатой племянницы Николая Ивановича – М.Я. Ильминской от 12.03.1982 г. к И.Г. Добродомову по поводу его выступления в радиопередаче "В мире слов" (7.06.1981 г.), всего 10 с. материалов + Приложение № 1 "Оппозиция в Совете братства Гурья и в Училищном совете Синода", ее письма к Ф.Д. Ашнину и выполненные для него ксерокопии работ Н.И., библиографическая подборка.

Материалы переданы нам сыном Федора Дмитриевича – Ф.Ф. Ашниним – для целевого использования, за что приносим ему искреннюю благодарность.

¹ Кратко об истории изучения туркменского языка в России см. [Благова, Грунина и др. 2004: 122–123].

видно из-за многочисленных масдаров” (РНБ. Ф. 671. Д. 209); в частности, и школа Казем-бека отгородилась “стеной масдаров” от достижений западноевропейского языкознания².

Н.И. Ильминский (1822–1891 гг.) окончил в 1846 г. Казанскую духовную академию, где благодаря энергичному влиянию проф. Д.Ф. Гусева студенты усердно занимались также математикой, физикой, новыми (западноевропейскими) языками. Казанская академия имела особое назначение – приготовить миссионеров-знатоков восточных языков, в том числе вменено было академическому начальству приготовить своих профессоров арабского и татарского, монгольского и калмыцкого языков [Загоскин 1865: 3]. Выбор пал на Н.И. Ильминского и А.А. Бобровникова (как единственного студента, знавшего монгольский язык еще в семинарии) [Там же], в будущем – автора “Грамматики монгольско-калмыцкого языка” (1849 г.)³, которую О.Н. Бётлингк признавал “замечательнейшим явлением в современной филологии” [Русский биографический словарь 1908: 118–119].

Ильминский был оставлен при духовной академии в должности учителя естественных наук и “турецко-татарских языков”; в 1847 г. ему присвоена степень магистра и бакалавра той же академии. В это же время в Казанском университете преподавал И.Н. Березин, с 1846 г. – экстраординарный профессор по кафедре турецко-татарских языков того же университета. Скорее всего, в этот казанский период (Березин с 1855 г. уже ординарный профессор факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета) Н.И. Ильминский с безоглядной щедростью дарил свое время, свой труд старшему коллеге-профессору. Можно предположить, что именно это имелось в виду, когда Самойлович писал: “Только из писем Ильминского Березину мы узнаем о том крупном участии, которое Ильминский принимал некоторое, по крайней мере, время в судьбе трудов Березина”⁴ [Самойлович 1925: 167].

В 1851–1854 гг. Ильминский командирован в Константинополь, Дамаск, Каир и др. По возвращению из этого путешествия по Ближнему Востоку с осени 1854 г. преподавал в Казанской духовной академии на противомусульманском отделении восточные языки и некоторые другие предметы [Кононов 1989: 103].

² Араб. *му‘аллим* “учитель”, *масдар* “отглагольное имя”.

В приводимых цитатах оставлена без изменения старая терминология и словоупотребление: иноверцы, инородцы; турецкий язык (языки), турецко-татарские языки вм. тюркские языки; турколог, туркология вм. тюрколог, тюркология; киргиз-казакский, киргизский язык вм. казахский язык, киргизы вм. казахи; наречие вм. язык (иногда – диалект).

³ Сведения М. Загоскина позволяют внести уточнения в словарную статью об Н.И. Ильминском в той ее части, которая касается его службы в Оренбургской Пограничной комиссии: “Здесь он нашел себе друзей в лице И.А. Алтынсарина (...), А.А. Бобровникова, В.В. Катаринского (...) и др.” [Кононов 1989: 103]. На самом деле друзьями и единомышленниками Ильминский и Бобровников были со студенческих лет в духовной академии: оба окончили Казанскую духовную академию в 1846 г.; о своем безвременном умершем в 1865 г. однокурснике Ильминский писал: “Труды Бобровникова свидетельствуют о необыкновенных его дарованиях, и потеря его весьма чувствительна для ориентальной науки в нашем отечестве” [Ильминский 1865: 40 (примеч.)]. В.В. Катаринскому (1846–1902 гг.) во время пребывания Ильминского в Оренбурге (декабрь 1858 – декабрь 1861 г.) было всего 12–15 лет; добрые отношения между ними завязались много позднее. В “Библиографическом словаре отечественных тюркологов” отсутствуют сведения об изучении туркменских наречий как Березиным, так и Ильминским [Кононов 1989: 44, 103], хотя в более раннем издании такие сведения имеются [Кононов 1982: 240].

⁴ «В предисловии ко II тому своей “Библиотеки” (см. [Березин 1849–1851]) Березин сообщает, что Ильминский приготовил русский перевод татарского текста, а из писем Ильминского к Березину мы узнаем, что он сличал начало сочинения, являющееся переводом из истории Рашид эд-Дина, с персидским подлинником, читал корректуры и указывал издателю его промахи» [Самойлович 1925: 168].

В эти годы Н.И. Ильминский впервые в истории тюркологии готовит к изданию (по списку Г.-Я. Кера) чагатайский текст “Бабур-наме” [Ильминский 1857]; о работе Ильминского над памятником см. [Благова 1961; 1993: 16–19, 27–37, 48 и сл.; 2005]. Вскоре Ильминский издает другой важный средневековый памятник – “Кысас ал-анбийā” (Казань, 1859 г.). Для издателя этих памятников необходимо было знание и чагатайского, и более раннего литературного языка; позднее Ильминский отзовется об этом как о “моей прежней ревности к книжному <...> языку” [Ильминский 1892: 5].

Работа Н.И. Ильминского по подготовке к изданию текста “Бабур-наме” была настолько исследовательски глубокой, что, используя проникновенные слова Н.Д. Дмитриева, можно сказать: “мировое творение Бабура оставило неизгладимую память в сознании” Ильминского, он “сроднился с этим автором, его творением, с филологической ценностью и литературной судьбой последнего” [Дмитриев 1954]. Издательский приоритет отечественного ученого веско подчеркнул в 1917 г. исследователь творчества Бабура А.Н. Самойлович: «Шестьдесят без малого лет тому назад (1857 г.) в Казани, в издании Н.И. Ильминского, по списку петроградского академика Кера, появился впервые подлинник главнейшего труда Бабура: “Бабур-наме”» (Самойлович: РНБ. Ф. 671. Д. 82. Л. 7).

В стенах духовной академии в 1855–1856 гг. у Н.И. Ильминского сложилось твердое убеждение, что “лучшим средством для борьбы с иноверческой пропагандой может быть только школьное просвещение и народцев”, “которое развило бы в них охоту к самостоятельному, беспристрастному размышлению, обогатило бы их здравыми понятиями о природе и истории и внушило бы им уважение к свидетельствам достоверным” [Зеленин 1902: 183, 105]. Поэтому Ильминский не считал нужным преподавать студентам специальную “полемику против мухаммеданства”. Отступление от учебной программы и “крамольные идеи” вызвали недовольство академического начальства, что вынудило Ильминского в конечном счете уйти из духовной академии (1.IX.1858 г.) [Знаменский 1892а: 104–105].

Знаток не только литературных тюркских языков средневековья, но и живого разговорного татарского языка, а также турецкого, арабского, персидского языков, Ильминский, выйдя из духовного звания (вместе со своим единомышленником А.А. Бобровниковым), перешел на гражданскую службу: с 31.XII.1858 г. он – переводчик Оренбургской Пограничной комиссии⁵ [Кононов 1989: 103]. Сам он писал об этом так: “В октябре 1858 г. я приехал в Оренбург с намерением поступить на службу в Пограничную комиссию. Председателем Комиссии в то время был ученый ориенталист профессор Василий Васильевич Григорьев, а в числе советников комиссии был мой товарищ Алексей Александрович Бобровников. Меня интересовал киргизский язык, которого в Казани я не имел случая узнать, потому что о нем не было ничего в литературе... В.В. Григорьев придумал для меня особый, живой способ изучения киргизского языка. Он прикомандировал ко мне троих киргизских юношей... из первого выпуска Оренбургской киргизской школы, которые по окончанию курса в 1857 г. были по собственному прошению оставлены при Пограничной комиссии для практического изучения де-

⁵ Оренбургская Пограничная комиссия была основана в 1799 г. – как “своего рода филиал Азиатского департамента Министерства иностранных дел России”. “Ввиду важности внешнеполитической роли, которую играла Оренбургская Пограничная комиссия, ее штат пополнялся первоклассными специалистами-востоковедами, которые умело сочетали исполнение служебных обязанностей с научными исследованиями. Об этом свидетельствуют биографии известных русских востоковедов П.И. Демезона (1807–1873 гг.), В.В. Григорьева (1816–1881 гг.), В.В. Вельяминова-Зернова (1830–1904 гг.), Н.И. Ильминского (1822–1891 гг.) и других, которые в разное время служили в Оренбурге” [Матвиевская, Зубова 2002: 162]. Принюсим искреннюю благодарность Г.В. Строковой, указавшей нам на эти сведения в книге двух авторов. Приводимые в цитате даты жизни востоковедов мною выверены и исправлены по “Биобиблиографическому словарю отечественных тюркологов” [Кононов 1989: 85, 78], как и имя Н.И. Ильминского (1822–1891 гг.; сведения о годах жизни ученого у авторов отсутствуют), Григорьев г.р. 1816 г. (не 1818 г.).

лопроизводства... В.В. Григорьев написал по-русски бумагу, которую мне поручил переложить при помощи этих киргизов на чисто-киргизский язык. ...Киргизские толмачи и стали посещать меня каждый день для перевода" [Ильминский 1891: 13, 14]. "С самого приезда в Оренбург, когда я стал заниматься с киргизскими юношами, я часто выспрашивал киргизские названия предметов по сортам, а частью случайно, при переводах и разговорах, попадались мне неизвестные из татарского языка слова киргизские. Я их записывал в особую тетрадь и за две зимы 1858–59 и 1859–60 годов у меня накопилось несколько сот таких слов, которые, однако же, не имели точного определения. Во время степной командировки летом 1860 г., находясь постоянно среди киргиз в их кочевьях и обстановке, я имел возможность не только приумножить свое собрание киргизских слов, но и точно определить их значение. Таким образом составилась небольшой словарь киргизско-русский, к которому я придал, в виде предисловия, краткий очерк не всей киргизской грамматики, но лишь ее особенностей от татарского языка"; «...едва успел мне Кулубеков записать под диктовку Марабая сказку Ир-Таргын, также татарскими буквами. В Казани я напечатал Самоучитель⁶ и Ир-Таргына отдельными брошюрками, а словарь киргизско-русский, под заглавием "Материалы к изучению киргизского наречия" – в Ученых записках Казанского университета, из которых я получил сотни две отдельных оттисков. Эти книжицы и служили потом учебным пособием в киргизских школах» [Там же: 32–33].

Так, благодаря творческой атмосфере в Оренбургской Пограничной комиссии, созданной ее сотрудниками, тремя востоковедами – В.В. Григорьевым, А.А. Бобровниковым и Н.И. Ильминским – при активном участии их учеников из молодых казахов, окончивших Оренбургскую киргизскую школу, "сочувствующих и расположенных к русскому образованию", в первую очередь – И.А. Алтынсарина, Ильминскому удалось не только глубоко изучить живой разговорный казахский язык, но и составить (по дальновидной инициативе В.В. Григорьева) первые элементарные учебные пособия на казахском языке, Самоучитель русской грамоты для казахов.

"Материалы к изучению киргизского наречия" Ильминского ценил П.М. Мелиоранский, составитель первой грамматики казахского языка⁷ [Мелиоранский 1894; 1897], который, по выражению В.В. Бартольда, считал исследования живых наречий "наиболее плодотворными и необходимыми" [Самойлович 1907а: 010]. А.Н. Самойлович называл Ильминского "первым по времени исследователем казак-киргизского языка" [Самойлович 1915: 161]. Ильминского можно было бы назвать и первым по времени этнографом казахского народа [Ильминский 1860].

При изучении именно "казак-киргизского" языка у Н.И. Ильминского сформировалось воззрение на живой народный язык "как на подлинный документ для лингвистических исследований" (из его письма кн. Ухтомскому, 1870 г. цит. по: [Знаменский 1892б: 431]).

⁶ «В.В. Григорьев озаботился еще в 1861 г. составлением для степных киргизских школ учебника русского языка. Когда осенью 1860 г. я вернулся из степной командировки, В.В. Григорьев поручил мне составить учебник русского языка для киргизских школ, по-русски и по-киргизски. Пособий у меня под руками почти никаких не было: тогда и русская школьная литература была небогата. Я составил книжку под заглавием: "Самоучитель русской грамоты для киргизов". В двух отделах: в первом, после русской азбуки и немногих примеров для чтения, изложены грамматические формы и правила в виде разговоров и кратких предложений; во втором отделе было помещено несколько статей разного, большую частью реального содержания. Этот самодельный мой русский текст усердно перелагал на киргизский язык Бахтияров... Бахтияров перелагал постоянно под моим наблюдением...» [Ильминский 1891: 30–31].

В 1986 г. было отмечено 125-летие со дня выхода в свет этого Самоучителя как первого учебника русского языка для казахов [Ведерников 1986]; см. также [Ведерников 1982].

⁷ "При переходе с III курса на IV, в 1890 г. П.И. Мелиоранский был командирован факультетом <восточных языков СПб. Университета> в Оренбургскую губернию и Тургайскую область для изучения на месте казак-киргизского наречия и собирания материалов по фольклору. Этому же наречию <...> посвящена была и зачетная студенческая работа П.М. Мелиоранского" [Самойлович 1907а: 03].

В 1859 г. Н.И. Ильминский принял участие в экспедиции для съемки восточного берега Каспийского моря (т. е. на территории Туркмении), начиная почти от Мангышлака до персидской границы; эта экспедиция продолжалась с 1 мая по октябрь. “Я был назначен в нее в качестве толмача при сношениях с туркменами. Памятником моего участия в этой экспедиции осталось некоторое, очень малое, количество материала туркменского языка” [Ильминский 1891: 19]. При всей скромности этой констатации следует учитывать, что, как подметил П.М. Мелиоранский, исследователь отличался особенным даром проникновения в строй тюркских языков, а научная добросовестность Ильминского, увлечение от души изучением языка непосредственно от его носителей не позволяли ему постулировать то или иное наблюдение как языковой факт без непрерывных перепроверок его на носителях языка [Ашнин 1978: 39, 46], и в этом он был очень строг не только к себе, но и к другим исследователям⁸.

Письма Ильминского этого периода из Туркмении изобилуют впечатлениями о стране, туркменах, общении с ними. Приведем выдержки из писем к жене, Екатерине Степановне. “Так как я имею симпатии со всеми азиатцами – татарами, киргизами и след<овательно> с туркменами, то туркмены оплачивают мне тем же сочувствием” (12.06.[1859] – Отдел рукописей РГБ. Ф. 424. Картон 2. Д. 18). “Я по-видимому им понравился, тряхнул стариной, двумя-тремя арабскими пословицами и текстами из Корана и вообще несу такую благочестную ахинею, что заинтересовал <нрзб.> знакомые только похваляют. ...С здешними туркменами у меня страшная дружба, водой не разольешь... Ты помнишь, как я увлекался татарами, киргизами, так же я увлекаюсь и туркменами” (письмо от 14.05.1859 [Там же]).

“Н.И. Ильминский в письме к А.А. Шифнеру <от 29.12.1859 г.> поделился своими наблюдениями над туркменскими наречиями йомудов и эсен-или (човдуров)” [Кононов 1982: 241]. А.А. Шифнер (1817–1879 гг.) – экстраординарный действительный член Имп. Академии наук в Петербурге, исследователь многочисленных тюркских, монгольских, финских, палеоазиатских, кавказских, иранских, тибетских, санскрита и других языков, директор Этнографического музея в Петербурге – издал прежде не публиковавшиеся труды М.А. Кастрена (грамматики койбальского и карагасского наречий) [Кононов 1989: 258]. В своей работе Шифнер пользовался высококвалифицированными консультациями Ильминского: во всяком случае, известно еще одно более раннее письмо последнего к тому же адресату (25.07.1858 г.), посвященное татарской фонетике [Pminsky 1859].

Письмо о языке туркмен было напечатано незамедлительно [Pminsky 1860]. Ведь даже через 40 с лишним лет после его публикации А.Н. Самойлович писал: “Наречия туркменских племен до сих пор принадлежат еще к числу тех, которых не коснулось или мало коснулось научное исследование европейцев. Первый достойный внимания опыт в этом направлении был сделан русским ориенталистом Березиным над наречием персидских (астрабадских) туркменов. Другой русский востоковед, Ильминский произвел несколько ценных наблюдений над говорами йомудов и эсен-или. Ряд маленьких и ненадежных заметок, скорее о письменном языке туркменов дал Вамбери”⁹ [Самойлович 19076: 0184]. Перечень последующих работ по туркменскому языку настолько не-

⁸ Из письма Ильминского к акад. Б.А. Дорну от 4.01.1864 г.: “как необходимо тексты поверять самому на месте, этому лучшим доказательством служит то, что в хрестоматии Ильи Николаевича Березина так названная *Трухменская* сказка нимало не походит на трухменское <наречие>, а представляет весь характер киргизский, только немного подмалеванный татарскою рукою. После этого извольте верить этим текстам, без надлежащей критической осторожности” (цит. по: [Самойлович 1925: 170]).

⁹ Говоря в этой рецензии о сборнике пословиц и поговорок, приложенном к учебнику С. Агабекова, А.Н. Самойлович обратил особое внимание на «отступления от живой народной речи в угоду письменности или более или менее ненародному произношению тех “наиболее грамотных из среды туркмен” и других “хорошо знакомых с тюркменским наречием” лиц, содействием которых автор пользовался» [Самойлович 19076: 0187].

значителен, что Самойлович не забывает даже и о “нескольких оригинальных строках, посвященных туркменскому наречию”, в военном сочинении Гродекова “Война в Туркмении” (СПб., 1883. Ч. I: 85) [Самойлович 1907б: 0185].

В своей магистерской диссертации А.Н. Самойлович отмечает особо точность и достоверность ценных диалектологических сведений Ильминского: “Мои наблюдения над морфологией туркменских наречий совпадают с наблюдениями Ильминского, Ueber die Sprache der Turkmenen, Mél. As. IV, 63–74” [Самойлович 1914: 024 (примеч.)]. Заметим, что в автографе списка “Литература по туркменскому языку”, подготовленном в начале 50-х годов Н.К. Дмитриевым для ознакомления студентов Тюркской (туркменской) группы Восточного отделения филологического факультета МГУ (автограф хранится в личном архиве Л.С. Левитской), числится и эта работа Ильминского [Ueber die Sprache der Turkmenen] (сообщено Л.С. Левитской).

Дальнейшая жизнь Ильминского складывалась, как он пишет, следующим образом: “Поездка моя в Казань была в феврале 1861 г. Между тем в Казанском университете открылись две восточных кафедры – арабского и турецко-татарского языка. Я был выделан на вторую. Пока производилась переписка о перемещении меня из Оренбурга в Казань, я вернулся в Оренбург и оттуда окончательно переехал в Казань в декабре 1861 года” [Ильминский 1891: 33].

К университетскому преподаванию “турецко-татарского языка” (т. е. тюркских языков) Ильминский, по всей вероятности, подготовлял себя исподволь. Во всяком случае, в том же году в “Ученых записках” Казанского университета вышло его обширное “Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка”, где авторство скромно указывается в скобках – “(Преподавателя Н. Ильминского)” [Ильминский 1861: 3]. С 1863 г. – экстраординарный профессор. С 1867 г. – редактор журнала “Известия и Ученые записки имп. Казанского университета” [Периодическая печать 1959: 464].

Можно считать, что это был первый проспект курса¹⁰, который впоследствии прочно утвердился в университетских программах усилиями П.М. Мелиоранского, А.Н. Самойловича, Н.К. Дмитриева, С.Е. Малова и исторически носил разные названия. В начале XX в. П.М. Мелиоранский этот курс называл “Введение в изучение турецких наречий”, затем А.Н. Самойловичем именовался “Введение в изучение турецких племен и наречий”, в 20-е годы Самойловичем – “Введение в изучение турецких народов и языков” и позднее – “Введение в туркологию”, Н.К. Дмитриевым в конце 20-х – начале 30-х годов – “Введение в языки тюркской системы”, начиная с 40-х годов – “Введение в туркологию” (все эти названия реэюмированы в нашем вступительном комментарии к статье Н.К. Дмитриева “Введение в языки тюркской системы” [Дмитриев 2001: 125–126]).

Развивая во “Вступительном чтении” тезис: “Основание и материал к исследованию всякого живого наречия есть живая речь народа, которому оно принадлежит”, Ильминский обратился к слушателям с призывом активизировать фиксацию и посильное собиранье языкового материала непосредственно от носителей языка: “... во всяком случае вы можете оказать великую услугу науке даже простым, но добросовестно точным, собираньем и приведением в известность сырых материалов” [Ильминский 1861: 40, 42]. Как бы подтверждая эту свою мысль, Ильминский в качестве практического “Прибавления” приводит собранные им диалектные материалы – а) слова и фразы кашгарского диалекта, записанные им от ахуна, прибывшего в Оренбург через Коканд, б) башкирский рассказ, записан в Оренбурге в 1861 г. со слов башкирина из рода кыпсак, а также в) наречие алтайское (материалы которого доставлены автору Я.И. Фортунатовым) [Ильминский 1861: 43–59].

Н.И. Ильминского, как впоследствии и А.Н. Самойловича, интересовали вопросы классификации тюркских языков; по этим вопросам он полемизировал с И.Н. Березиным. Во “Вступительном чтении” он писал: “Задачей нашей науки должно поставить изучение <...> всех тюркских наречий. Мысль эта не мое изобретение. <...> Полнее

¹⁰ Ф.Д. Ашнин называет “Вступительное чтение” первой актовой речью Н.И. Ильминского в Казанском университете [Ашнин 1978: 44].

других ученых ее представлял себе И.Н. Березин и думал выполнить ее в двух сочинениях: *Recherches sur les dialectes turcs* и *Хрестоматии*. В первом сочинении он изложил классификацию тюркских наречий. Его труд, замечательный по своей обширной идее, служит ясным доказательством, что основательную обработку тюркского языка должно начинать не с общих понятий, не с классификации, а с фактов. Нужно прежде всего привести в известность отдельные наречия и каждое вполне. Из специальных монографий, без всякого спора и натяжек, или предположений произвольных, откроется взаимное отношение наречий, обозначатся стороны, с которых должно классифицировать их <...>” [Ильминский 1861: 20–21].

Лингвистические и историко-филологические проблемы, привлекавшие Н.И. Ильминского, помимо издания памятников тюркского средневековья (“Бабур-наме” и “Кысағ ал-анбийа” Рабгузи), отразились во “Вступительном чтении” в виде той своего рода периодизации известных ему средневековых сочинений, которая была осуществлена по принципу языковой принадлежности – в зависимости от того, на древнейургском, команском (половецком) или чагатайском “наречиях” они написаны. Сюда же можно отнести первое в мировой тюркологии исследование языка “Бабур-наме” – “Материалы для джагатайского спряжения” [Ильминский 1863].

А.Н. Самойлович, которому были близки историко-филологические интересы Н.И. Ильминского, его попытки научного издания средневековых текстов, его воззрение на живой народный язык как объект исследования, привел цитату из заключительной части “Вступительного чтения” [Ильминский 1861: 42] на страницах своей магистерской диссертации [Самойлович 1914: III] в качестве первого из четырех эпитафий (высказываний его учителей – П.М. Мелиоранского, В.В. Радлова, В.Д. Смирнова), а именно: “...в сухих, неблагодарных лингвистических занятиях пусть одушевляет вас мысль, которая должна быть вам всегда присуща, что тюркская филология есть довольно обширное и маловозделанное поле, предоставленное по географическому положению России, в удел отечественной науке...”.

Осмысляя пути развития отечественной тюркологии во второй половине XIX в. в статье “И.Н. Березин как тюрколог” (написана в апреле 1919 г.), А.Н. Самойлович отмечает “несомненный трагизм” положения этого ученого: он “ступил на поприще тюркологии в неудачный момент, накануне смены средневековья нашей науки новой историей. В 40-х и 50-х годах Березин был одним из виднейших тюркологов Европы, с 60-х годов, когда в тюркологии на первый план на много лет выдвинулось изучение живых наречий в духе новых требований научного языкознания, Березин оказался в тени, будучи слишком связан с отжившей эпохой... Березину одному из первых открылись цели тюркологии, далекие от нас и поныне, но ему не удалось преодолеть подступов к путям достижения этих целей. Преодолея подступы Бётлингк. Ильминский мощно двинулся было по верному пути к открытым уже целям, но иное призвание отвлекло его решительно в сторону. Радлову суждено было возглавить новую эпоху нашей науки” [Самойлович 1925: 172].

Тем “иным призванием”, отвлекшим его решительно в сторону, было, по словам Самойловича, “дело столь высокой культурной важности, как организация просвещения” (РНБ. Ф. 671. Д. 161. Л. 1 об.), в данном случае – просвещения тюркских и некоторых финно-угорских народов разных регионов России, в особенности – Поволжья. “В истории русского просвещения Сибири, Средней Азии и Поволжья имена Н.И. Ильминского и А.А. и Н.А. Бобровниковых занимают виднейшее место, однако не находят еще достаточного и справедливого исследования. Они – деятели дореволюционного времени, и документы о них в значительной мере утрачены, подверглись уничтожению и обращены в пепел и прах. Свидетели их трудов завершили, как и они, земной путь. Но не может быть, чтобы жизнь и труды их были забыты”¹¹.

¹¹ Анонимная машинопись “Материалы об А.А. и Н.А. Бобровниковых” явно не законченная, без даты. Опираясь на памятные записи Ф.Д. Ашнина, можно предположить, что “Материалы” принадлежат перу Н.А. Васильева, казанскому знакомому семейств Е.Н. Петровской, а также В.А. Ибрагимовой-Бобровниковой, внучек А.А. Бобровникова; их в свое время разыскал в Казани Ф.Д. Ашнин и от них получил “Материалы” (см. [Благова 2003: 165–166]).

В условиях полуторавековой давности просвещение многих народов Российской империи напрямую связывалось с идеологической задачей христианизации этих народов, следовательно – с переводом на их язык вероучительной литературы. Для реализации этой последней задачи Ильминским создавались письменности на основе русской азбуки; по его замыслу, все это должно было послужить и более точной фиксации живых языков и диалектов.

Ильминский, как никто другой в середине XIX в., четко сознавал: “Инородческие языки Казанского края так отличны по своему строю от русского, что для изучения инородческими детьми нужно составлять особые книги, где бы русский язык и его правила излагались последовательно в грамматическом порядке применительно к условиям инородческих языков <...>” (цит. по письму М.Я. Ильминской И.Г. Добродомову от 22.IV.1982 г.).

Перевравшись в Казань в декабре 1861 г., Ильминский совмещает чтение лекций на историко-филологическом факультете Казанского университета, а с 1863 г. – и преподавание восточных языков в Казанской духовной академии с работой над учебными пособиями для татар на татарском же языке. Почитая народный язык особенно важным и необходимым в учебном деле, Ильминский во время своей трехлетней оренбургской службы увидел несоответствие арабского алфавита казахской фонетике и вообще неспособность к выражению звуковых особенностей различных тюркских языков. “В букваре 1862 г., составленном под влиянием уже этого взгляда, я старался употребить народный татарский язык, каким говорят старокрещенные татары Мамадышского уезда Казанской губернии, среди и при помощи которых я переводил букварь”¹². “Главная моя забота была о народности языка; алфавит же имел второстепенное значение. Я принял русский алфавит потому, что крещенные татары вообще не знакомы с арабской грамотою, а некоторые, обучавшиеся в русских школах, довольно хорошо умели читать по-русски” [Ильминский 1892: 5–6]. Что алфавит в просветительной деятельности Ильминского играл далеко не второстепенную роль, видно из публикаций некоторых материалов его переписки, в частности с В.В. Григорьевым, по вопросу о применении русского алфавита к национальным языкам [Григорьев 1862¹³; Ильминский 1883; 1892].

О творческом увлечении Н.И. Ильминского, исследователя-языковеда, переводческим делом, о тщательности в работе может свидетельствовать его письмо А.А. Бобровникову от 18.12.1862 г.: “Если б я положительно знал, что он <В.В. Григорьев> в Оренбурге, послал бы ему только что напечатанный букварь для крещенных татар русскими буквами. Язык, братец, самый что ни на есть чистейший народный, с живой натурой списанный. Я перевел в татарской деревне, и постоянно прочитывал свой перевод одному старокрещеному, и если что было ему непонятно, словечко какое или выражение, сейчас объяснивши ему мысль, общими силами добивались до настоящего выражения. И носился я с этим переводом по Казани, как курица с яйцом. Наконец, когда отпечатал, охладел и успокоился. Но все-таки достало бы еще у меня энергии показать свой перевод Василию Васильевичу, который, надеюсь, прельстился бы и звукоизображением посредством русского алфавита, совершенно по его вкусу” (по копии, хранящейся в личном архиве Ф.Д. Ашнина, из Отдела рукописей РГБ: Ф. 424. Картон 2. Д. 8). Здесь нельзя не вспомнить определения трех типов ученых востоковедов, которое было дано А.Н. Самойловичем; к первому типу он относил востоковедов, у которых “научный ин-

¹² Представляется, что это сообщение Ильминского имеет особое значение для татарской исторической диалектологии: букварь 1862 г. можно рассматривать как наиболее раннюю (почти полуторавековой давности) фиксацию диалектного языка (см. ниже о том, насколько тщательно выверялось каждое слово и выражение в татарской деревне).

¹³ В доброжелательно-критическом письме В.В. Григорьева “О передаче звуков киргизского языка буквами русской азбуки” отразилась искренняя забота автора и о киргизах (т.е. казахам), и их языке: “Как горячо желал бы я, чтобы русская азбука заменила у киргизов употребляемую теперь общемусульманскую <...>. Как много пользы должна была бы замена эта принести, по моему мнению, и киргизам, и России” [Григорьев 1862].

терес сочетается с любовью к странам и народам Востока” [Самойлович 1925: 163], – к этому типу принадлежали и Ильминский, и Самойлович.

Примерно в то же время стараниями Ильминского в Казани была открыта начальная специальная школа для детей крещеных татар. Им же была создана центральная крещено-татарская школа; впоследствии заведование этой школой принял на себя его ученик и последователь В.Т. Тимофеев (крещеный татарин, 1836–1895 гг.). В этих школах нашла практическое применение совокупность методических приемов, которые были разработаны Ильминским в результате упорного поиска лингвистических основ такого обучения.

Как писал Ф.Д. Ашнин, “Вернувшийся из Оренбургской пограничной комиссии с богатым материалом по казахскому языку и фольклору Ильминский-лингвист в течение десятилетия еще преобладал над Ильминским-педагогом” [Ашнин 1978: 44]. И.Я. Яковлев в рукописных воспоминаниях о своем учителе сообщал: “Вечно он писал или диктовал другим <...>, причем диктовал, ходя по комнате нервно, быстрыми шагами, ясно, логично, без вставок и поправок...” (Научный архив ЧувГИГН, отд. II, ед. хр. 523, инв. № 1507, л. 41; цит. по [Ашнин 1978: 55]).

Сохранились сведения о рукописном “очерке татарского языка” Н.И. Ильминского, который он послал В.И. Вербицкому вслед за своим “Букварем для крещеных татар” в 1863 г. В письме Ильминскому от 1.07.1866 г. Вербицкий отозвался: «Драгоценнейшим источником для меня служит теперь Ваш “Очерк татарского языка” <...>» (цит. по: [Ашнин 1978: 44, 45]). Татарско-русский словарь Н. Остроумова, изданный в Казани в 1892 г., на самом деле является трудом трех лиц: Н.И. Ильминского, Н.П. Остроумова, А.А. Воскресенского (по сведениям М.Я. Ильминской).

Н.И. Ильминский активно включился в работу над “Грамматикой алтайского языка” [Грамматика 1869], фактически став ее истинным творцом (см. [Ашнин 1978: 61, 35–40; 1981: 10–15]), обозначив при этом свою авторскую бескорыстность словами: “Чужой чести принимать на себя я не намерен” (письмо к начальнику алтайской миссии от 27.05.1869 г., цит. по [Ашнин 1978: 59]). Оценочные высказывания ведущих тюркологов XIX в. о “Грамматике алтайского языка” резюмированы Ф.Д. Ашниным (“прекрасная грамматика”, “образцовое грамматическое сочинение по тюркским языкам” и т.п.) [Ашнин 1978: 35–39, 57; 1981: 15]).

Целенаправленная новаторская деятельность Ильминского, охватывающая магистральные направления тюркологии, а также русского просвещения Поволжья, Сибири, Средней Азии и Казахстана¹⁴, не осталась незамеченной: в 1871 г. он был избран членом-корр. Академии наук.

Впоследствии, высоко оценивая творческий подвиг Н.И. Ильминского, А.Н. Самойлович назвал его первым в ряду отечественных научно-подготовленных теоретиков-лингвистов в области тюркологии, выдвинувшихся во второй половине XIX в.: Ильминский, Корш, Залеман, Мелиоранский, Ашмарин [Самойлович 1928: 16].

В 1868 г. Ильминский стал руководителем вновь образованной Постоянной переводческой комиссии, при Братстве Гурия (образована согласно высочайше утвержденным Правилам 18.03.1868 г.), состоявшей из трех членов Совета братства и решавшей вопрос о качестве и необходимости тех или иных переводов. Совет братства мог издавать под собственной цензурой религиозную литературу на всех языках Казанского края (кроме мордовского). С середины 60-х годов Ильминский обрел в лице В.Т. Тимофеева постоянного помощника в издании вероучительных книг. В 1867 г. сфера деятельности Переводческой комиссии распространилась далеко за пределы Казанского края – достигла дальних местностей Сибири. Увеличился не только объем работы, но и тематика. Стремясь снабдить учебниками национальные школы, “мы печатали перево-

¹⁴ Об участии Ильминского в деле национального образования в Туркестанском крае (см. [Знаменский 1900]; в качестве Приложения приводится “Записка Н.И. Ильминского о преподавании языков в Ташкентской учительской семинарии”).

ды не на одни только наречия Казанского края, но и на разные другие, и на мордовское, и не одни только религиозные и вероучительные книги, но также словари, грамматики и иногда подлинные образцы народной словесности иноверцев” (письмо № 103 от 22.01.1889 г., также № 102 от 16.12.1888) [Ильминский 1899: 33, 325]. Впоследствии такая инициатива вызвала гнев начальства, поскольку все это якобы “выходит за положенные Правилами границы” [Ильминский 1899: 332]. Работа ученого в Переводческой комиссии освещена в Приложении № 1 “Оппозиция в Совете братства Гурия и в Училищном совете Синода”, составленном М.Я. Ильминской).

“19.08.1872 г. Н.И. Ильминский перешел на должность директора вновь открытой в Казани инородческой учительской семинарии¹⁵ с твердым намерением осуществить свою заветную мечту – отдать все силы просвещению и сближению народов многонациональной России” [Кононов 1989: 103]. В своей просветительной деятельности Н.И. Ильминский придерживался принципа: “Родной язык составляет сущность духовной природы человека и народа и самое сильное средство к перевоспитанию и образованию”¹⁶ (цит. по [Знаменский 1892б: 456]). Отсюда два основных пункта в его просветительной системе, которые он, имея в виду школьное образование, коротко и ясно сформулировал в письме 1868 г.: “Во-первых, обучение инородцев должно происходить на их родном языке, и притом на языке народном (в противоположность книжному или попытке создать таковой язык); во-вторых, учитель непременно должен быть соплеменником своих учеников, т.е. инородцем же” (цит. по [Зеленин 1902: 178], см. также при

¹⁵ Позднее она называлась Казанской учительской семинарией; см. [Витевский 1892]. Из-за принципиальных расхождений с председателем Училищного совета при Синоде, который был убежден, что “допущение инородческих языков в школу и церковь создаст народности в ущерб и во вред русскому народу и церкви” (из материалов М.Я. Ильминской), в условиях, когда “против инородческого образования воздвигается издавна, а чем дальше, тем больше, – вражда и брань с разных сторон и разного содержания”, жизнь Ильминского как председателя Переводческой комиссии на склоне лет была сильно осложнена. Оставаясь “душой всей просветительной деятельности миссионерского отделения” Казанской духовной академии [Знаменский 1892б: 475], он вынужден был из последних сил защищать свое детище – учительскую семинарию: “Не перестают там и сям раздаваться, и подчас желчные и раздраженные, возражения. <...> Я и огрызаюсь, и верчусь на все стороны, но у меня разладилась голова: чуть что неприятно или враждебно коснется моей миссии <училищной и переводческой>, то сейчас бросается в голову, и иногда мне приходит на мысль, что я могу иметь неожиданно конец <...>. Есть люди которые почти ждут моей смерти, полагая, что я единственная опора и защита инородчества. Вот Вы и защитите бедных, едва начинающих становиться на ноги и видеть свет Христов, инородцев” (из письма К.П. Победоносцеву от 3.02.1891 г. [Ильминский 1899: 376, № 121]). А за два года до этого, душою болея за “инородческое” образование, 67-летний Ильминский напрямую обратился к обер-прокурору Синода К.П. Победоносцеву за помощью: “Убедительнейше просил бы я Вас снабдить меня советом, содействием и даже, можно сказать, ограждением” (письмо № 102 [Ильминский 1899: 321–322]). Тем не менее, последняя служебная записка Ильминского “О применении родных языков в подготовительных классах церковно-приходских школ” на заседании Училищного совета Синода 25.VI.1891 г. была встречена “в штыки” (письмо № 130).

27 декабря 1891 г. Николая Ивановича Ильминского не стало.

¹⁶ В связи с этим тезисом Ильминского интерес представляет следующее высказывание востоковеда же акад. С.Ф. Ольденбурга (1863–1934) о родном – русском – языке: “Русский язык, насколько могу судить, делает огромные успехи на Западе. Даже здесь, среди заскорузлого французского самонятия, усердно учатся всегда русскому языку и усердно переводят. Если только мы русские не окажемся в общем плохи, то дело русского языка близко к победе. Надо только, чтобы мы сами им серьезно занялись и чтобы в русской школе (на всех трех ступенях) <он> получил преобладающее значение. Форма, в которую <он> выливается, имеет огромное значение*, по-моему, на самую мысль. Своим долгим первенством Франция главным образом обязана языку” (из письма С.Ф. Ольденбурга В.Р. Розену от 17–18/29–30.12.1893 г., Париж) [Ольденбург 2004: № 64].

* Здесь имеется в виду – влияние.

жизни не изданное письмо Ильминского (1864 г.) [Ильминский 1900]¹⁷. Известный чувашевед-тюрколог Н.И. Ашмарин, у которого была бабушка чувашка и который с 13 лет проявлял интерес к чувашскому языку, в 1895–1899 гг. преподавал в Казани татарский язык в крещено-татарской школе и географию в инородческой учительской семинарии (до 1919 г.).

Самой выразительной характеристикой Н.И. Ильминского, ученого и человека¹⁸, является следующая: «...в 1884 г., когда в Отделении истории и филологии РАН “открылась... одна из вакансий ординарного академика по части ориентализма, то весьма естественно внимание Отделения остановилось прежде всего на известном знатоке этих языков, директоре Учительской семинарии в Казани Ник.Ив. Ильминском... На вопрос о согласии его занять место в Академии г. Ильминский отвечал отказом, мотивируя его нежеланием расстаться с Казанью и с кругом его там занятий, имеющих столь высокое благотворное значение для местных интересов. Но, отклоняя от себя сделанное ему предложение, г. Ильминский, в интересе науки, которой он искренно предан, и в интересе Академии, к которой он издавна принадлежит как член-корреспондент, горячо рекомендовал вместо себя, как кандидата, даже более достойного, чем сам, уже известного и самой Академии ученого исследователя тюркских языков, статского советника Василия Васильевича Радлова” (из представления академиков Ф.И. Видемана, А.К. Наука и О.Н. Бётлингга, внесенного в ОИФ АН на заседании 18.09.1884)» [Кононов 1989: 103–104].

Публикуемый ниже перевод “О языке туркменов”, выполненный известным специалистом по туркменскому и чувашскому языкам, составителем многих томов “Этимоло-

¹⁷ О переводческой и просветительской деятельности Н.И. Ильминского дает представление перечень его работ, опубликованный Ф.Д. Ашниным [Ашнин 1978: 47 (примеч. 54)]. Там же указаны статьи, где анализируются его педагогические воззрения; из составленных работ, касающихся известной в истории педагогики “системы Ильминского”, см. [Ведерников 1988]; выражаем признательность И.Г. Добродомову, указавшему нам на эту работу.

¹⁸ Для Ильминского как человека характерно и другое – отношение к молодежи. У тюрков есть пословица: *Бáлалик ўй бázар, бáласиз ўй мазар* (узб.) “Дом с детьми – базар, дом без детей – мазар (кладбище)”, букв. “могила чтимого святого”. Вопреки пословице, дом бездетных Ильминских был открыт для молодежи – не только русской, но и татарской, чувашской, казахской. В Оренбурге, например, “Алтынсарин являлся ко мне каждый вечер часам к семи и просиживал часов до двенадцати. Беседы наши главным образом состояли в объяснении слов. Я не ограничивался переложением иностранных слов на русские, но <...> распространялся в объяснении понятий, особенно когда доходила очередь до технических терминов. <...> Как симпатичнейший юноша Алтынсарин сделался приятным гостем в моей семье” [Ильминский 1891: 21]. Мать М.Я. Ильминской, в молодости часто бывавшая в этом гостеприимном доме, рассказывала, “как там было хорошо, уютно, интересно. Много молодежи: студенты, гимназисты, академики. Много пели, музицировали. Уходить не хотелось!” (из письма М.Я. Ильминской Ф.Д. Ашнину от 3.VI.1984). После безвременной смерти А.А. Бобровникова Николай Иванович вместе с женой Екатериной Степановной усыновили и вырастили трех малых его детей, своих крестников.

В 1877 г. Екатерина Алексеевна Бобровникова вышла замуж за Ивана Яковлевича Яковлева, называвшего себя “одним из главных последователей и сотрудников великого просветителя инородцев Н.И. Ильминского” (из письма В.И. Ленину от 18.12.1919 г., по сообщению М.Я. Ильминской). Николай Алексеевич Бобровников также стал ближайшим последователем и помощником Н.И. Ильминского, видным деятелем российского просвещения. См. о нем [Ильминский 1899: 349, 367, 368, 379, 383, 385, 403]. Сохранилось 5 писем Н.А. Бобровникова к А.Н. Самойловичу (ПФ АРАН. Ф. 782. Оп. 2. Д. 8).

Современники писали об Ильминском как о личности, “в высшей степени обаятельной”: “человек небольшого роста, с серыми добрыми глазами и уже седеющими волосами, ...Ильминский, не столько по своему внешнему виду, сколько по силе своих религиозных убеждений и не поддающейся описанию простоте, олицетворял в моем воображении положительный тип из народа, на отыскание которого направлены были силы таких знаменитостей, как Пушкин, Гоголь, граф Толстой и т. д. Этого мало: Ильминский всегда напоминал мне забытых святителей древней Руси” [Назарьев 1898: 711–712].

гического словаря тюркских языков” Л.С. Левитской, возвращает нас к полузабытым страницам отечественной истории изучения туркменского языка и его диалектов. Работа Ильминского представляет не только исторический, но и собственно научный интерес, поскольку в ней впервые (в 1859 г.) фиксируются особенности двух туркменских диалектов, которые получили последующее систематическое описание только в 30-е годы XX в. Отмечены существенные фонетические, морфологические и лексические черты обоих диалектов; будучи сопоставлены с современными данными, они дают определенное представление о динамике развития языка. Публикация перевода позволяет, говоря словами А.Н. Самойловича [Самойлович 1925: 163], “подвинуть вперед начатое, но далеко не законченное дело оценки научного вклада” Н.И. Ильминского, определения его места в истории тюркологии.

О ЯЗЫКЕ ТУРКМЕН

(из письма Н.И. Ильминского А. Шифнеру)

При публикации Письма Н.И. Ильминского по техническим причинам пришлось свести к минимуму арабские написания (замены помечены звездочкой перед словом) и несколько упростить принятую им усложненную систему транскрипции: гласные переднего ряда обозначены как *ä, ii*; аффикаты *ж* и *ч* – как *ǰ* и *č*. Фактический языковой материал (склонение личных местоимений, спряжение) оформлен нами в виде таблиц. Примечания переводчика к тексту даны в Списке литературы (в алфавитном порядке).

При иллюстративных примерах иногда значение, как и в Письме, приводится на немецком языке, а рядом добавляется перевод на русский, чаще же дается русский перевод. Сохранена грамматическая терминология, использованная Ильминским, вариативное употребление *йамуд* – *йомуд* заменено общепринятым *йомуд*.

Перевод с немецкого языка выполнен нами по тексту см. [Ilminsky 1860].

Л.С. Левитская

Прошлым летом мои служебные обстоятельства позволили мне посетить места кочевков туркмен на восточном берегу Каспийского моря, а также только отчасти ознакомиться с их языком.

Муравьев полагал, что диалект туркмен близок к диалекту казанских татар; И.Ф. Бламберг называет его “испорченным чагатайским”.

Перед моим посещением туркменской пустыни я имел возможность видеть несколько официальных бумаг, которые были составлены туркменами, кочующими в Хивинской области; они были действительно написаны на языке, который по своим грамматическим формам близок чагатайскому, как тот представлен в книгах и дипломатических документах из Хивы. Чагатайские формы употребляются туркменами в их сказках. Ниже следует начало сказки о Хосрове, которую я слышал в Александровском форту на Мангышлаке:

Ertegi zamanda H'osrew degän padša bar irdi. Üziniñ uylı qızı yoq perzendsiz irdi. Onıñ h'asım Räušan degän iki wäzirini bar irdi. H'asım wäziriniñ oniñda uylı qızı yoq irdi. Üzi aidıdıkı dana irdi. Räušan üzi bai uyllı qızıl' irdi. Räušan toi qıldı uylına qızına, yurdın çaqırdı. O zamanda uylı bar bolsa toji gelgändä at mindirir irdi; qızı bar bolsa h'alat kidirir irdi. Eger perzendi yoq kişi bolsa

omñ bilinä malnñ süyägin qıstırır irdi, yene buyına baýlar irdi, yene atnñ quyuruǵına da baýlar irdi. Hämmäsini padşaya baýladılar. Padşanın künli yaman bolub attandı и т.д.

Так как туркмены Мангышлака имеют соседями киргизов из племени Адай, с которыми находятся в постоянных сношениях, они знают киргизский язык и разговаривали также на этом языке со мной, так как они заметили, что киргизский я понимаю лучше, чем туркменский. Эта слабость, свойственная туркменам как всякому малоразвитому народу, мало уважать свое и стремиться похвастать чужим, вводит наблюдателя в заблуждение. Но в действительности туркмены имеют свой собственный диалект, который очень интересен и у различных племен показывает особые свойства и оттенки.

Я общался с двумя туркменскими племенами – эсен-или и йомуд.

Позволю себе сделать несколько замечаний о туркменском народном языке, при этом льщу себя надеждой, что эти замечания смогут способствовать решению вопроса, какое место надо определить этому языку среди многих ветвей тюркского языка.

Произношение туркмен отличается пристрастием к Mediae. Так, мы находим *d* вместо *t* (которое в середине слова перед гласным сохраняется редко) в начале слов (почти всегда) и в исходе перед вокализированным суффиксом, например: *daş* = **taş*, *day* = **taγ*, *duγı* = *toγı*; *dün* = **tün*; *dünämak* ‘des Nachts beten [читать вечернюю молитву]’; [‘ночевать’]; *odun* = *otun* ‘дрова’; ‘топливо’; *ot* ‘огонь’, *oda sal* ‘lege aufs Feuer [положить, поставить на огонь]’. Вместо *k* в начале слов часто слышится *g*; например, *gerek* = **keräk* [‘нужный, нужно’], *gelmäk* = **kelmäk* [‘приходить’].

Дентальные *z*, *s* произносятся таким образом, что язык осторожно кладут на верхние зубы, благодаря чему возникают звуки, которые похожи на арабские *z̤* и *ṣ̤*, но иногда они приближаются к шепеляво произносимым *d* и *t*.

y (= *j*) никогда не переходит в *ž*.

Гуттуральные *γ* и *g* постоянно сохраняются там, где они относятся к корню слова: *sıγır*, *uγıl*, *saγır* ‘глуховатый’, *uγlan* ‘парень’, *yigdä* ‘джидда (известный куст в степи)’, *yaγ* ‘масло’. Но в именных и глагольных суффиксах гуттуральный избегается, как мы это увидим позднее.

Гласные *a*, *e* имеют в начале слова аспирацию, которая близка к немецкому *h*: *helek* ‘сито’, *haidamaq* ‘гнать’; *p* переходит в середине слов в слабый *f*: *tafilır* = **tapılır*.

Склонение имен близко к османскому, т.е. вместо *niñ*, *ıñ*, *nî* после исходного согласного употребляются *iñ*, *a*, *i*. В Dativ’e слов, оканчивающихся на гласный, мы находим, что исходный гласный слился с суффиксом *a* в долгий *ā*; например: *ıılqı* ‘лошадь’, дат. ед.ч. *ıılqā*; *ada* ‘остров’, дат. *adā*.

Личные местоимения склоняются следующим образом:

Ед. число			Мн. число		
<i>men</i> ‘я’	<i>sen</i> ‘ты’	<i>ol</i> ‘он’	<i>bez</i> ‘мы’	<i>sez</i> ‘вы’	<i>olar</i> ‘они’
<i>meniñ</i>	<i>seniñ</i>	<i>oniñ</i>	<i>beziñ</i>	<i>seziñ</i>	<i>olarniñ</i>
<i>maña</i>	<i>saña</i>	<i>oña</i>	<i>bezä</i>	<i>sezä</i>	<i>olara</i>
<i>meni</i>	<i>seni</i>	<i>ont</i>	<i>bezi</i>	<i>sezi</i>	<i>olart</i>

Каждое имя может принимать слог уменьшительности *žik*, за исключением однословных корней, которые получают *žayaz*: *başžayaz* ‘головка’, *atžayaz* ‘лошадка’, *dünžayaz* ‘ноченька’.

Количественные числительные следующие: 1 – *ber*, 2 – *iki*, 3 – *üš*, 4 – *dört*, 5 – *bäs*, 6 – *altı*, 7 – *yeddi*, 8 – *sekkiz*, 9 – *doquz*, 10 – *ön*, 20 – *yigirmi*, 30 – *otuz*, 40 – *qerq*, 50 – *elli*, 60 – *altmıš*, 70 – *yetmiš*, 80 – *segseñ*, 90 – *doqsan*, 100 – *yüz*, 1000 – *miñ*.

Порядковые числительные образуются при посредстве суффикса *lan*^ž*i*. Для обозначения дробей употребляется слово *pai* 'часть': *bäš paidan dört pai aldım* 'Я взял от 5 частей 4 части = Я взял 4/5'.

Для образования раздельных числительных (Distributiva) вместо суффиксов *-r и *-šag, которые в туркменском отсутствуют, употребляется количественное числительное с "послелогом" *dan*: *bäš manädan* 'по пяти рублей', иногда числительное повторяется: *bäšdan bäšdan* 'по пяти'.

Примечательно спряжение:

у есен-или	у йомудов
<i>bartyurun</i>	<i>bartyarin</i>
<i>bartyursin</i>	<i>bartyarstin</i>
<i>bartyur</i>	<i>bartyar</i>
<i>bartyuruz</i>	<i>bartyarız</i>
<i>bartyursız</i>	<i>bartyarsız</i> <?>
<i>bartyurlar</i>	<i>bartyurlar</i>

Суффикс *-yur, -yar*, я полагаю, возник из **dur, d-* которого могло быть йотировано; это подтверждается тем, что форма, выражающая Partic. praes., образуется двояко: *üziniñ yurduñ süzini saqla idur an urnı bar* 'Имеются места (в письмах), где <туркмены> сохраняют слова своего родного языка' (N.B. это показывает, что даже в обычных письмах туркмены нередко грешат против чистоты своего языка); *men Kindirlä: bartyuran gşi derin* 'Я – человек, едущий в Киндерли'.

Подобный преобразованный вспомогательный глагол-суффикс содержит также *Gerundium* praet.: *yoqlabyurun* [?] 'Я ищу потерянное'; *nēma qarabyursin* 'Что ты ищешь?'.

Оканчивающиеся на гласный глаголы удерживают его в диалекте есен-или; у йомудов он переходит в долгий *i*. То же самое происходит с отрицательными формами.

Имперфектум, или продолженное в прошедшем, звучит у есен-или: *bartyurdım*, у йомудов: *bartyardım*. Вообще последние отказываются в Präteritum'e вспомогательного глагола от начального гласного *bardı = *bar idi, yoqtım = *yoq edim*.

Präteritum *bardım* спрягается по общетюркской грамматике. Futurum *barırın* спрягается как Präsens. Futurum отрицательной формы звучит: *barman, barmazsın, barmaz, barmazız, barmazsız, barmazlar*.

Условное наклонение *barsam* образуется по общему правилу; из него с добавлением вспомогательного глагола *ikän* образуется Optativ: *barsam ikän* 'wenn ich führe' <?>.

Imperativ: *barayın, bar, barsın, barailı, barın, barsınlar*.

Prohibitiv I лица ед. числа: *barman = *barmayın*.

Деепричастия образуются как в тюркском: *bara, barıb*. Последнее иногда употребляется в значении Indicativa: *sen barıb ma?* 'Ты пошел?'. Отрицательная форма соответствует деепричастию прошедшего времени: *barman = *barmayın*, например, *ol yerä barman bolmaz* 'Man kann nicht umhin, dorthin zu fahren'.

К деепричастиям нужно также причислить форму: *geläli, baralı = seit man gekommen, gegangen*. Она соответствует более древней, сохранившейся у киргизов форме **kelkäli, *barçalı*.

Туркмены имеют также вид супина: *barıra = *barurça; barıra gerek = barmaçı gerek = barsam gerek*. Говорят также *tafilir gerek* 'Es muss sich finden'.

Причастия настоящего времени, как дано выше: *bartyuran*; у йомудов: *bu geliyaran adam ber süz getir* (у есен-или: *getirir*) 'Этот приходящий человек принесет слово (т.е. должен что-то сказать)'. Но иногда содержит *duran = *turçan*.

Причастие прошедшего времени оканчивается на *-an* вместо *yan*, т.е. с потерей гуттурального: *baran* = **baryan*: *baran g̃si barma* ‘Есть ли человек, который ушел?’; *dañ atanda* = **tañ atqanda* ‘на рассвете’.

Глаголы, основа которых оканчивается на гласный, получают вместо него долгий *ā*: *uqān* = **oqyan*, *yasān* = **jasayan*. Аналогично этому причастие отрицательной формы должно было быть *barmān* = **barmayan*, однако, вероятно, чтобы избежать двусмысленности, употребляется совсем неправильная форма *barmadiq*; так: *baran g̃si bilir, barmadiq g̃si bilmāz* ‘Кто пришел, тот знает; кто не пришел, тот не знает’. Причастие прошедшего времени употребляется также в следующих примерах: *gelānmiš* ‘Говорят, что он пришел’, *gelāndur* ‘Нужно полагать, что он пришел’. Из этой формы образуют так же, как и в татарском, форму для отрицания наличия действия: *gürānim yoq* ‘Я не видел’. Следует отметить при этом сокращение у йомудов; в то время как есен-или говорят *gürānyoq* ‘Он не видел’, у тех слышится *gürānoq*; у этих: *gürānim yoq*, у тех: *gürāmoq*.

Причастие будущего времени: *barir, barmaz*; пример: *bilmāz yerdä don izzetli, bilir yerdä baš izzetli* ‘Там, где (его) не знают, почитаемо платье, где (его) знают, почитаема голова’ (= русской поговорке: По платье встречают, по уму провожают).

Далее мы отметим причастие, оканчивающееся на *-žaq, -žäk*, например, *baržaq, gelžäk*. Из этого причастия в сочетании с претеритумом вспомогательного глагола образуется условная форма: *baržaqtm* ‘я пошел бы’. *Dün Balquyā baržaq künlün bardı, üzüm yolını bilmüyärin, biledsiz bara bilmädim; biledim bar bolsa baržaqtm*. ‘Вчера я хотел идти в Балкую, но не мог идти туда без проводника; если бы при мне был проводник, я пошел бы’. Это, как можно видеть, в диалекте йомудов; диалект есен-или предлагает полную форму вспомогательного глагола.

Имеется вид причастия, которое звучит: *barmalı gelmäli* ‘тот, который должен идти, прийти’, *itmäli* ‘то, что должно быть сделано’. Эта форма также употребляется как *Indicativ*, или скорее *Imperativ*, в значении указания, просьбы. (N.B. Подобную форму представляют глагольные адъективы: *yemäli* ‘съедобный’, *kücmäli* ‘кочевой’.) Впрочем, причастия перифрастически могут также употребляться в значении индикатива: *gelžäkderin* ‘я приду’, *gelžäksin* ‘ты придешь’, *gelžäkderiz* ‘мы придем’.

Infinitiv: *barmaq*.

Примечательно сокращение личных окончаний ед. числа у йомудов при вопросе: *gelirmiş* ‘Ты придешь?’, *Öbāña qaidarman?* – *Ruhsat birsä qaidıyariz*. ‘Вернешься ты в аул? – Если он разрешит, вернусь’. (N.B. Вежливость туркмен требует говорить о себе во мн. числе.)

Здесь следует маленький образец диалекта йомудов:

Nefes Maqtum öbasında ma? öbasında. Uşana gelžäkmä? – *gelirin dib aidıyar. Qaçan gelžägin bildinmä?* – *işte gelir*. ‘Нефес Мактум в своем ауле? – В своем ауле. Он придет на пароход? – Он говорит, что придет. – Ты знаешь, когда он придет? – Он сейчас (вот) придет’.

Здесь я приведу несколько обычных пословиц туркмен:

Itin ağız ala bolsa qurd gürändä berigir; Qulan balası at bolmaz, qurd balası it bolmaz; Yetim uflaq saqlasan, ağızı burnuñ yağ bolur, yetim uflan saqlasan, ağızı burnuñ qan bolur (немецкий перевод пословиц нами опущен. – ЛЛ.).

В заключение я позволю себе сообщить кое-что из туркменской лексики. Море – *deñiz*; Каспийское море – *kükküz*; каждый морской залив, будь он велик, как Карабогаз-гол, или мал, как залив Балхан или Красноводский залив, называют *adki*. *Adki* означает собственно ‘горько-соленый’. Морские заливы так называются, потому что в них вода гораздо солонее, чем в море. За нужду верблюд может пить воду из моря, но никогда из залива. Для морского залива употребляют также слово *ajlaq*, т.е. ‘окруженный’, от глагола *ajlamaq* ‘окружать’, от которого происходит чаще встречающееся в употреблении *ajlanmaq*. Горько-соленая колодезная вода – *adki su*. Источниковая вода – *süiži*.

Члены семьи: дедушка – *baba*; бабушка – *tama, ine*; отец – *ata*; мать – *ana*; жена – *heläi* (араб. *hālāl*); старший сын – *tumsa*; средний сын – *urtanži*; младший – *kürfä*; внук – *aquq*; правнук – *çauhq*; праправнук – *qauhq*; сын которого – *yauhq*. Отсюда выражение: *adam*

çauluň güriür, yauluň günmäs “Человек может видеть своего внука, но правнука он может не видеть”. Старший брат – *aça*, младший – *ini*, старшая сестра – *igeçi*, младшая – *ууа*.

Названия лошади по полу и возрасту: лошади вообще, без различия пола: *yulqi*, жеребец – *yäbi*, мерин – *ai’ur yäbi*, ахта *yäbi*, кобыла – *baital*, жеребенок в 1, 2 и 3 следующие годы – *qulun*, *yafaç*, *tai*, *qunan*, *dünän*, *bäšli*, *altli*.

Названия баранов: баран без различия пола: *qöyün*, баран в стаде – *quç*, матка – *sa’uq* (у есен-или), *sa’mal* (у йомудов). Только что родившийся ягненок – *quzi*, однолетний – *isček*, двухлетний – *öwäç* (йомуд), *qunan qöyün* (есен-или), трехлетний – *mañ qöyün* (йомуд), *dünän qöyün* (есен-или), четырехлетний – *mañramaz* (йомуд), *ulu yašli* (есен-или).

Названия верблюдов: верблюд вообще – *düyä*; двухгорбый самец – *bu’ra*; самка – *irek*; молодой, в начале 1-го года – *küçäk*, 2-го года – *üñiq*, 3-го года – *iki yaşar*, 4-го года – *üñ yaşar*, 5-го года – *çtur*¹⁹, 6-го года – *iki dišli* (в этом году получает верблюд два больших зуба); одногорбый верблюд, самец – *irkek*, самка – *arwana*; помесь одногорбого и двухгорбого верблюда: самец – *iner*; самка – *maуа*. Молодняк всех видов имеют называют одинаково.

Названия коз: коза вообще – *geçi*; козел – *teke*, кастрированные козел – *serke*, коза – *geçi*, козленок в 1-й год – *u’lag*, во 2-й год самец – *erkek*, самка – *doç*, у есен-или самец – *isček*, самка – *doçgeçi*; на 3-й год – *öwäk teke* или *serke* или *geçi*, на 4-й – *mañ teke* и т.д., на 5-й – *mañramaz teke* и т.д. Есен-или не имеют особых названий для двух последних. Для вождения козьего стада выбирается взрослый козел, его не стригут и называют *уq*.

Названия пальцев, начиная от большого (у есен-или): *başam*, *suwam*, *wrtam*, *atsız*, *silaça*.

Fingernaase: расстояние между вытянутыми большим и указательным – *süyäm*; между вытянутыми большим и мизинцем – *qarım*; между вытянутыми указательным и мизинцем – *sirä*, между указательным и безымянным – *aqsaq sirä*. У йомудов называют пальцы, начиная с большого: *başam barmaq*, *süyäm barmaq*, *wrtam barmaq*, *u’ul’zaq*, *sekelek*.

Части головы: лоб – *alm*; темя, макушка – *kelle* (есен-и.), *defe* (йом.); затылок – *insä*; висок [височная часть щеки] – *duluçum* (есен-и.), *çeke* (йом.).

У туркмен вообще известен двенадцатилетний китайский цикл. Названия лет имеют лишь звуковые особенности. 1 – *siçan*, 2 – *si’ur*, 3 – *bars*, 4 – *tüüşan*, 5 – *lū*, 6 – *yılan*, 7 – *yulqi*, 8 – *qoyun*, 9 – *bižin*, 10 – *taqiq*, 11 – *it*, 12 – *doñuz*.

Из числа названий месяцев мухаммаданских лишь некоторые отклоняются от обычных арабских: *aşir-ai* (араб. **aşura* = Muharrem); *öt yaqar* = Schaban (при новолунии месяца Шабан зажигают костер, огонь и из палатки выносят в поле); *wraz-ai* = Ramadhan; *beiram-ai* = Schawal; *boş-ai* = Dzulkade; *qurban-ai* = Dzulhidsche.

Осевшие на берегу туркмены занимаются рыбной ловлей. Они ловят три вида рыбы: осетр – *bäkrä*, севрюга (*acipenser stellatas*) – *süürük*, белуга – *duqi*. Продукты из рыбы: рыбий клей – *yelim*, икра – *uwıldırıq*, вязига – *qı’ırdaq*. Насколько искусно туркмены ловят рыбу гарпунами, настолько же искусно они управляют своими лодками. В их языке большой корабль называют *içan*, большую лодку с мачтой – *girdä*; лодку средней величины – *lödkä*; маленькую плоскую лодку, на которой туркмены плавают вдоль своих очень мелководных берегов и привозят из Персии рабов – *qulaz*; парус – *elkän*, мачта – *bu’alıq*, рея – *keleten*; помост, на котором установлена мачта, – *azna*²⁰; банка – *utra*, руль – *sifendä*²¹ (из перс.?), рукоятка руля – *deste* (перс.), весло – *çab*; якорь – *lawır*, канат – *if*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алиев, Бориев 1929 – А. Алиев, К. Бориев. Русско-туркменский словарь. Ашхабад, 1929.

¹⁹ В диалектах туркменского языка имеется слово *çetir* ‘четырёхлетний верблюд’ (эрсари, сарык [Аразкулиев и др. 1977: 197]; нохур [Мухьев 1959: 83. 84]). В нохурском диалекте отмечено *o’juq* ‘верблюжонок’ [Мухьев 1959: 83].

²⁰ Ср. турк. диал. *azza* ‘брус, доска’ и *jazna* ‘поперечные доски в лодке’ [Атаджанов 1958: 101].

²¹ Ср. турк. *sujlent* ‘руль’ [Алиев, Бориев 1929: 349].

- Аразкулыев и др. 1977 – С. *Аразкулыев* и др. Краткий диалектологический словарь туркменского языка. Ашхабад, 1977 (на турк. яз.).
- Атаджанов 1958 – М. *Атаджанов*. Салырский диалект туркменского языка: Дисс. ... канд. филол. наук. Ашхабад; Мары, 1958 (на турк. яз.).
- Ашнин 1978 – Ф.Д. *Ашнин*. Первая печатная научная грамматика алтайского языка: Проблема авторства // Тюркологический сборник 1975. М., 1978.
- Ашнин 1981 – Ф.Д. *Ашнин*. Первая печатная научная грамматика алтайского языка: (Вопрос о названии) // Тюркологический сборник 1977. М., 1981.
- Березин 1845; 1847 – И.Н. *Березин*. Годичный отчет путешествующего по Востоку // ЖМНП. 1845. Ч. 53; 1847. Ч. 55.
- Березин 1849–1851 – И.Н. *Березин*. Библиотека восточных историков, издаваемая И. Березиным. Т. 1–2. Казань, 1849, 1851.
- Благова 1961 – Г.Ф. *Благова*. К вопросу о подлинности текста “Бабур-наме” по Керовскому списку // Краткие сообщения Ин-та народов Азии АН СССР. Вып. XLIV. М., 1961.
- Благова 1993 – Г.Ф. *Благова*. Из истории тюркской текстологии: А.Н. Самойлович – исследователь “Бабур-наме”. М., 1993.
- Благова 2003 – Г.Ф. *Благова*. Об А.А. Бобровникове – из забытых и неизвестных источников (По личному архиву Ф.Д. Ашнина) // Монголоведение в новом тысячелетии: (К 170-летию организации первой кафедры монгольского языка в России) / Материалы Международной научной конференции. Элиста, 2003.
- Благова 2005 – Г.Ф. *Благова*. Н.И. Ильминский и А.Н. Самойлович: работа над “Бабур-наме” // Восток (Oriens). 2005. № 1.
- Благова, Грунина, Левитская, Поцелуевский 2004 – Г.Ф. *Благова*, Э.А. *Грунина*, Л.С. *Левитская*, Е.А. *Поцелуевский*. Александр Петрович Поцелуевский (1894–1948) // Восток (Oriens). 2004. № 5.
- Ведерников 1982 – В.Н. *Ведерников*. Николай Иванович Ильминский (1822–1891) // Русская речь. 1982. № 2.
- Ведерников 1986 – В.Н. *Ведерников*. Первый учебник русского языка для казахов // Русск. яз. в нац. шк. М., 1986. № 12.
- Ведерников 1988 – В.Н. *Ведерников*. Особенности развития методики обучения русскому языку в национальных школах Поволжья и Казахстана. Дисс. ...канд. филол. наук. М., 1988²².
- Грамматика 1869 – Грамматика алтайского языка / Сост. членами алтайской миссии. Казань, 1869.
- Григорьев 1862 – В.В. *Григорьев*. О передаче звуков киргизского языка буквами русской азбуки (письмо к Н.И. Ильминскому). Казань, 1862.
- Дмитриев 1954 – Н.К. *Дмитриев*. Официальный отзыв на канд. дисс.: Г.Ф. *Благова*. Характеристика грамматического строя (морфологии) староузбекского литературного языка конца XV века по “Бабур-наме” [М., 1954], ркп.
- Дмитриев 2001 – Николай Константинович Дмитриев. К 100-летию со дня рождения. М., 2001.
- Загоскин 1865 – М. *Загоскин*. Воспоминание об Алексее Александровиче Бобровникове // Сибирский вестник. Иркутск, 1865. № 42–43 (28. VI и 6. VII. 1865).
- Зеленин 1902 – Д.К. *Зеленин*. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев (К 10-летию со дня смерти 27. XII. 1901 г.) // Русская школа. СПб., 1902. № 2.
- Знаменский 1892а – П. *Знаменский*. На память об Н.И. Ильминском. Казань, 1892.
- Знаменский 1892б – П. *Знаменский*. История Казанской духовной академии за первый (дорепорформенный) период ее существования. Вып. 2. Казань, 1892.
- Знаменский 1900 – П.В. *Знаменский*. Участие Н.И. Ильминского в деле инородческого образования в Туркестанском крае. Казань, 1900 (см. также: Русская школа. 1902. № 7, 8).
- Ильминский 1857 – Н.И. *Ильминский*. Бабер-намэ или Записки Султана Бабера / Изд. в подлинном тексте Н. И. [льминским]. Казань, 1857.
- Ильминский 1860 – Н.И. *Ильминский*. Древний обычай распределения кусков мяса, сохранившийся у киргизов. Пояснение одного места в Истории моголов Рашид-Эддина [письмо Н.И. Ильминского к П.С. Савельеву]. СПб., [1860].

²² Один из начальных вариантов заглавия кандидатской диссертации В.Н. Ведерникова формулировался иначе: “Становление методики преподавания русского языка как неродного во второй половине XIX века (на материале Казанского учебного округа)”.

- Ильминский 1861 – *Н.И. Ильминский*. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка // Уч. зап. Казанск. ун-та. Кн. III. Казань, 1861.
- Ильминский 1863 – *Н.И. Ильминский*. Материалы для джагатайского склонения. Из Бабернамэ // Уч. зап. Каз. ун-та. Вып. 1–2. Казань, 1863.
- Ильминский 1865 – *Н.И. Ильминский*. Об А.А. Бобровникове // Православное обозрение. Казань, 1865. Т. 17, май.
- Ильминский 1871 – *Н.И. Ильминский*. Практические замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках. Казань, 1871.
- Ильминский 1883 – *Н.И. Ильминский*. Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языкам. Казань, 1883.
- Ильминский 1888 – *Н.И. Ильминский*. Беседы о народной школе. Казань, 1888.
- Ильминский 1891 – *Н.И. Ильминский*. Воспоминание об И.А. Алтыгсарине. Казань, 1891.
- Ильминский 1892 – *Н.И. Ильминский*. О применении русского алфавита к инородческим языкам // *Н.И. Ильминский*. Избранные места из педагогических сочинений, некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни / Издание почитателей покойного. Казань, 1892.
- Ильминский 1899 – *Н.И. Ильминский*. Письма Н.И. Ильминского к К.П. Победоносцеву. Казань, 1899.
- Ильминский 1900 – *Н.И. Ильминский*. О способах обучения инородцев (отд. отт. из: Церковные ведомости. 1900. № 2).
- Кононов 1982 – *А.Н. Кононов*. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Изд. 2-е, доп. и испр. Л., 1982.
- Кононов 1989 – *А.Н. Кононов*. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Изд. 2-е, перераб., подготовил А.Н. Кононов. М., 1989.
- Матвиевская, Зубова 2002 – *Г.П. Матвиевская, И.К. Зубова*. Владимир Иванович Даль. 1801–1872. М., 2002.
- Мелиоранский 1894 – *П.М. Мелиоранский*. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. I: Фонетика и этимология. СПб., 1894.
- Мелиоранский 1897 – *П.М. Мелиоранский*. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. II: Синтаксис. СПб., 1897.
- Мухыев 1959 – *Х. Мухыев*. Нохурский диалект туркменского языка. Ашхабад, 1959 (на турк. яз.).
- Назарьев 1898 – *В.Н. Назарьев*. Вешние всходы // Вестник Европы. Т. II. Апрель. 1898.
- Ольденбург 2004 – *С.Ф. Ольденбург*. Переписка В.Р. Розена и С.Ф. Ольденбурга // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. 2. М., 2004.
- Периодическая печать 1959 – Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник. М., 1959.
- Русский биографический словарь 1908 – Русский биографический словарь. Т. 3. СПб., 1908.
- Самойлович 1907а – *А. Самойлович*. Памяти П.М. Мелиоранского // Зап. Вост. отделения Русск. археолог. об-ва. 1907. Т. XVIII. Вып. 1.
- Самойлович 1907б – *А.Н. Самойлович*. – Зап. Вост. отделения Русск. археолог. об-ва. 1907. Т. XVII (1906). Вып. 2–3. – Рец. на: *С. Агабеков*. Учебник тюркменского наречия с приложением сборника пословиц и поговорок тюркмен Закаспийской области. 1904.
- Самойлович 1914 – *А.Н. Самойлович*. Абду-с-Саттар кзы. Книга рассказов о битвах текинцев / Изд., пер., примеч. и введением снабдил А.Н. Самойлович. СПб., 1914 (Изд. фак-та вост. языков СПб. ун-та, № 34).
- Самойлович 1915 – *А.Н. Самойлович*. Запретные слова в языке казак-киргизской замужней женщины // Живая старина. 1915. Год 24 (1915). Вып. 1–2.
- Самойлович 1925 – *А.Н. Самойлович*. И.Н. Березин как турколог (1818–1918) // Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. I. Л., 1925.
- Самойлович. РНБ. Ф. 671. Д. 82. –Тексты стихотворений императора Бабура и переводы их, сделанные А.Н. Самойловичем. С предисловием А.Н. Самойловича // РНБ. Отдел рукописей. Фонд 671. Дело 82.
- Самойлович 1928 – *А.Н. Самойлович*. Вильгельм Томсен и тюркология // Сб. Памяти В. Томсена: К годовщине со дня смерти. Л., 1928.
- Berèzine 1848 – *I. Berèzine*. Recherches sur les dialectes musulmans. I. Système des dialectes turcs. Casan, 1848.
- Ilminsky 1859 – *N. Ilminsky*. Zur tatarischen Lautlehre. Aus einem Briefe des Prof. Ilminsky an A. Schiefner // Bull. hist.-philol. de l'Académie imp. des sciences de St.-Pb. 1859. Т. XV. № 3.
- Ilminsky 1860 – *N. Ilminsky*. Ueber die Sprache der Turkmenen. Aus einem Briefe des Herrn Ilminsky an A. Schiefner // Bull. hist.-philol. de l'Académie imp. des sciences de St.-Pb. 1860. Т. I (отд. отт.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2005 г. А.Г. СОНИН

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ**

Автор проводит анализ, обобщение и первичное теоретическое осмысление основных направлений экспериментального исследования поликодовых текстов в западной когнитивистике и психолингвистике (на материале более чем 350 экспериментов). В обзоре обосновывается необходимость обращения к лингвистическому анализу функционирования вербального текста в поликодовых произведениях, соединяющих в едином графическом пространстве семиотически гетерогенные составляющие – вербальный текст в устной или письменной форме, изображение, а также знаки иной природы.

Роль смешанных вербально-изобразительных поликодовых форм в культуре нового тысячелетия неизменно повышается. В этой связи следует указать, что сначала кинематограф, названный седьмым и “самым народным” из искусств, а затем и телевидение, быстро превратившееся в важнейшее орудие формирования общественного сознания, стали неотъемлемой частью жизни современного общества. К этим средствам коммуникации следует добавить комикс (“девятое искусство”), рекламу в ее журнальном, плакатном или телевизионном вариантах, массовую компьютеризацию, а также все менее виртуальную сеть интернета.

Зрительная информация, воздействующая на индивида по схеме “от увиденного к усвоенному”, получает все более широкое распространение, нарушая монополию печатного текста на передачу информации в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Как справедливо замечает П. Вайан, инструкции по эксплуатации все больше напоминают комиксы, настенные правила безопасности – детский альбом-раскраску, панели управления электробытовых приборов нередко содержат только идеограммы [Vaillant 1999]. Печатная продукция сдает свои позиции под натиском телевидения и интернета. В то же время сами газеты и журналы продолжают увеличивать долю зрительной информации в предлагаемом читателю материале.

Во все времена иконографические знаки предпочитались типографическим как на вывеске перед лавкой торговца или мастерской ремесленника, так и на родовом гербе дворянина, а такой важный элемент христианской культуры, как религиозное образование масс, в большой степени опиралось на иконы, фрески или витражи храмов.

Склонность человека к “совершенствованию изобразительной техники при стабильности вербальных средств информации” отмечается российскими исследователями Н.И. Гореловым и К.Ф. Седовым [Горелов, Седов 1998: 50]. Проследивая историю совершенствования коммуникативных возможностей человека, ученые приходят к выводу,

что “для человека естественно увеличивать объем зрительной информации, ее ресурсы и возможности сравнительно с другими видами и средствами коммуникации” [Горелов, Седов 1998]. Что же касается использования письменных вербальных текстов в качестве основного средства коммуникации, то для этого, по мнению П. Вайана, необходимо выполнение по меньшей мере трех условий:

- использование языка, общего для всего населения рассматриваемой территории,
- всеобщее начальное образование,
- низкий уровень миграции населения за пределы пространства, на котором используется родной язык [Vaillant 1999].

Положение, отвечавшее всем трем условиям, сложилось во многих европейских странах в начале 20-го столетия, что и обусловило роль, отведенную печатному вербальному тексту. Однако уже во второй половине этого столетия в связи с усилением процессов глобализации положение начинает меняться. В значительной степени расширяются процессы интеграции в мировой экономике, а новые средства коммуникации позволяют следить в режиме *on-line* за событиями в любой точке мира. В создаваемой совместными усилиями планетарной “большой деревне” межкультурная коммуникация перестает зависеть от миграции населения, а использование единого и понятного всем языка опять встает на повестку дня. Новые способы социального взаимодействия приводят к появлению новых типов текста: вновь возникает необходимость использовать в вербальных произведениях идеографические и другие изобразительные элементы, что не может не вызывать изменение социального статуса смешанных, поликодовых средств коммуникации.

Очевидно, что новые тексты предполагают также новые способы чтения, репрезентации и концептуализации. Можно предположить, что когнитивные механизмы, используемые при постраничном чтении вербального текста на материальном носителе, отличаются от тех, что задействованы индивидом при чтении гипертекстов в интернете, а репрезентация содержания поликодового вербально-рисуночного текста строится иначе, чем репрезентация содержания вербального текста. В связи с этим перед наукой о языке встают задачи выяснения специфики мотивационных, когнитивных и других механизмов, используемых для понимания порождаемых цивилизацией текстов нового типа, раскрытия особенностей в отношениях между разными перцептивными модальностями и семиотическими системами в рамках одного текста, установления степени эффективности и целесообразности использования таких текстов и многие другие.

При этом какими бы весомыми ни были указанные выше прагматические факторы, обуславливающие интерес к поликодовым текстам, не менее важен сугубо теоретический интерес, который они представляют для лингвистики. Обращение к вербально-изобразительным произведениям способно обогатить традиционную лингвистику. Современная наука безоговорочно признала, что “многие понятия лингвистики предстанут в ином свете, если их восстановить в рамках дискурса – языка, присвоенного говорящим, – в условиях интерсубъектности, без которой невозможна коммуникация” [Benveniste 1966: 266]. Отношения текст–изображение информативны для лингвиста. Они делают возможным анализ в двойном контексте. Движение от текста к изображению и назад эксплицирует значимость различных компонентов ситуации общения. Сопряжение текста и рисунка дает исследователю возможность оценить, насколько те или иные явления языка связаны с внеязыковыми (с кинетической и мимической модальностями речи, другими компонентами, представленными в кадре). Однако, в первую очередь, вербально-ликтографические произведения представляют интерес для “внешней”, в сосюрковском понимании, лингвистики – тех областей языкознания, которые изучают язык через призму его функционирования в обществе, как это делает социолингвистика, и в его отношении к психическим процессам, изучаемом психолингвистикой. Для последней текст, функционирующий в сопряжении с невербальными компонентами рисуночного произведения, обретает новую глубину, позволяет сделать еще одну попытку раскрыть механизм работы “черного ящика” мыслительной деятельности уже не на основе анализа восприятия линейного вербального произведения, а с учетом “экстралингвистичес-

ких” компонентов речевой ситуации. Значительный интерес представляет анализ таких текстов и для когнитивно ориентированной лингвистики. Появление новых технологий, позволяющих комбинировать письменный текст, рисунок, звук, анимацию, вызывает немало теоретических вопросов относительно воздействия на индивида каждой из отдельно взятых составляющих, относительно когнитивных механизмов их интеграции, относительно самой способности индивида их интегрировать и многие другие. Поэтому интерес к исследованию поликодовых текстов в лингвистике неуклонно растет.

В настоящем обзоре освещаются основные направления экспериментального исследования поликодовых текстов в западной когнитивистике и психолингвистике. Поликодовыми будут называться тексты, построенные на соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных составляющих – вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков иной природы.

Обобщение и первичное теоретическое осмысление исследований этих текстов актуально и значимо, поскольку исследования в указанной области остаются довольно разрозненными, а многочисленные данные разбросаны в самых разных изданиях.

В обзоре рассматриваются:

- 48 экспериментов с поликодовыми текстами, проведенных Леви и Лентцом [Levie, Lentz 1982],
- исследование Левина и его коллег [Levin, Anglin, Carney 1987], в котором сравниваются результаты 150 экспериментов,
- фундаментальная работа Рейнвайна [Reinwein 1998], в которой содержится информация о более чем 350 экспериментах. В ходе изложения рассматриваются и другие работы, посвященные исследованию поликодовых текстов.

Анализ перечисленных материалов показывает, что по характеру сравниваемого материала могут быть выделены три основных направления исследований. Во-первых, сравнению могут подвергаться вербальный текст и его иллюстрированная версия. Во-вторых, могут сравниваться две по-разному иллюстрированные версии одного и того же вербального текста. В-третьих, анализ может быть направлен на выявление различий между влиянием на реципиента каждой отдельно взятой гетерогенной составляющей поликодового текста, то есть воздействие изобразительной информации сравнивается с воздействием вербального текста. Последнее, хоть и проводится некоторыми исследователями, связано с серьезной методической проблемой установления семантической эквивалентности семиотически гетерогенных текстов – необходимой процедуры, без которой сравнение теряет всякий смысл. Поскольку суждение об эквивалентности текстов разной знаковой природы крайне затруднительно, исследователи, работающие в этой экспериментальной парадигме, пытаются решать эту проблему с помощью проведения пропозиционального анализа рисуночной составляющей или демонстрировать материал в два приема: сначала вербальный текст в обеих группах, а затем повторно тот же вербальный текст в одной и иллюстрации в другой, сравнивая эффективность второго предъявления. Однако и в этом случае встает серьезная проблема – проблема адекватного тестирования. Поскольку контрольный тест обычно проводится вербально, он формально не нейтрален по отношению к обеим версиям. В связи с указанными трудностями далее будут преимущественно рассмотрены первые два направления.

1. СРАВНЕНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ И НЕИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ВЕРСИЙ

Этот вид сравнений – наиболее распространенный (и, по-видимому, самый простой) способ установления роли гетерогенных составляющих в понимании поликодовых произведений и механизмов их взаимодействия. Из 371 проанализированного экспериментального сравнения между монокодовой вербальной и поликодовой иллюстрированной версиями результаты 134 сравнений свидетельствуют о лучшем понимании и запоминании иллюстрированных текстов по сравнению с монокодовой версией (ср. Табл. 1).

Лишь в пяти сравнениях обнаружено превосходство вербальной версии. Наконец, 232 сравнения не позволили установить значимых отличий в понимании текстов двух типов.

Результаты сравнения иллюстрированной и неиллюстрированной версий

Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
134 (36%)	5 (1%)	232 (63%)	371 (100%)

Последний показатель требует отдельного разъяснения. С точки зрения статистики, в интерпретации значимых и незначимых результатов существует определенная асимметрия. Когда результат, согласующийся с выдвинутой гипотезой, оказывается статистически значимым, исследователь вправе заявлять о существовании постулируемого различия между сравниваемыми модальностями. Напротив, когда результат статистически не значим, это не позволяет сделать вывод о подтверждении противоположной гипотезы (гипотезы о незначимости различий). Поэтому обнаружение значимого отличия не может быть интерпретировано как доказательство отсутствия такого отличия. Как следствие, не могут быть сопоставлены приведенные в таблице числа значимых и незначимых результатов. Сопоставимы только значимые результаты: 134 сравнения, свидетельствующие в пользу иллюстрированных текстов, и 5 сравнений, указывающие на преимущества вербальной версии.

Эти цифры говорят о бесспорном преимуществе поликодовых текстов, а потому имеет смысл выделить те факторы, которые модулируют влияние иллюстраций. К ним были отнесены:

- наличие/отсутствие вербальных компонентов внутри иллюстрации, форма предъявления текста (письменно – устно) и, как следствие, разные виды речевой деятельности, осуществляемой испытуемыми (чтение – аудирование),
- тип вербального текста (нарративный – информативный),
- возраст испытуемых и уровень их подготовки, соотношение между объемом вербального текста и количеством иллюстраций,
- форма контроля понимания экспериментальных текстов (ответы на вопросы, выбор правильного ответа, пересказ, подстановка слов, выполняемые на основе текста действия).

Предлагаемый список не претендует на полноту, но отражает те основные моменты, по которым может развиваться исследование поликодовых текстов. Далее изложены основные закономерности, выявленные при работе по каждому из перечисленных направлений.

Вопреки мнению многих исследователей, присутствие внутри иллюстрации вербальных компонентов, призванное усилить связь между гетерогенными составляющими, не повышает эффективность иллюстрации (ср. Табл. 2).

Таблица 2

Эффект присутствия вербальных компонентов внутри иллюстрации

	Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
Без ВК	38%	1%	61%	292
С ВК	30%	3%	67%	79

Наоборот, там, где иллюстрация не включает вербальный текст, она оказывается эффективней (хотя преимущество незначительно: 38% vs. 30%). Представляется, что интересным развитием работы в этом направлении могло бы стать изучение зависимости между этой переменной и фактором “возраст” при работе с учащимися начальной и средней школы. Такие результаты позволяют давать рекомендации по оформлению учебников для этой категории учащихся с опорой не только на интуицию экспертов-пе-

дагогов, но и на позитивные экспериментальные данные. Последнее предположение основано на анализе зависимости результатов эксперимента от возраста испытуемых (ср. Табл. 3). Полученные данные убедительно показывают, что демонстрация иллюстраций учащимся начальной школы значимо эффективней, чем использование иллюстраций в текстах для студентов и взрослых (42% vs. 26%, $p < .003$). Подобные результаты отмечены также при сравнении показателей студентов и взрослых с данными, полученными в экспериментах с учащимися более старшего школьного звена (43% vs. 26%, $p < .007$).

Таблица 3

Зависимость результатов от возраста испытуемых

	Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
Студенты/Взрослые	26%	1%	73%	122
Средняя школа	43%	1%	55%	76
Начальная школа	42%	2%	56%	154
Дошкольники	32%	0%	68%	19

Показатели подобных экспериментов с дошкольниками несколько ниже, чем с учениками. По-видимому, для эффективного использования поликодовых текстов необходимо, чтобы в целом были сформированы элементарные навыки смыслового восприятия каждого из компонентов. В противном случае преимущественное внимание к одной (в первую очередь вербальной) составляющей и отсутствие автоматизма в операциях, обеспечивающих построение ментальной репрезентации вербального содержания, приводит к когнитивной перегрузке и не позволяет устанавливать достаточных связей с механизмами построения репрезентацией другой составляющей.

Следует заметить, что противопоставление экспериментов, в которых использовались либо письменные, либо устные тексты, не дает значимых результатов (см. Табл. 4).

Таблица 4

Зависимость результатов от формы предъявления вербального текста

	Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
Чтение	35%	1%	64%	288
Аудирование	43%	1%	56%	83

Иллюстрация незначительно эффективней при устной презентации вербальной составляющей (43%–35%; $p < .09$). Как показывают экспериментальные данные, более действенным оказывается соединение устного текста не с изобразительным материалом, а с одновременным письменным представлением того же текста “слово в слово” [Реннеу 1989].

Что касается классификации по типу используемых в качестве материала текстов, многие исследователи полагают, что использование иллюстраций в нарративных текстах отличается от их использования в текстах информативных. Первые чаще всего самодостаточны, а иллюстрации в них избыточны, тавтологичны, реализуют скорее эстетическую функцию, служат для украшения. В информативных и, прежде всего, технических текстах иллюстрация – важный элемент, без которого понимание текста может быть не только затруднено, но и просто невозможно. Связь между их составляющими выражена гораздо четче, нередко сам вербальный текст эксплицитно отсылает к рису-

ку, схеме или чертежу. В качестве примера может быть использован проведенный автором статьи эксперимент, в котором сравнивалось воздействие на испытуемых 2 текстов: рецепта миндального печенья и рассказа о проведенных каникулах [Sonine 2003]. Влияние иллюстраций гораздо четче прослеживалось в рецепте как информативном тексте. Однако анализ всех экспериментальных данных, опубликованных за последние десятилетия, показывает, что значимых различий в эффективности использования иллюстраций в разных функциональных типах текста не обнаруживается.

Нельзя не отметить явную зависимость эффективности иллюстрации от количества приходящихся на нее слов. Наиболее убедительные результаты достигнуты при использовании текстов, в которых на одну иллюстрацию приходится не более 25-ти слов (55%). Чем больше слов приходится на иллюстрацию, тем хуже результат (ср. Табл. 5).

Таблица 5

Зависимость результатов от соотношения количества слов и иллюстраций

	Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
<25	55%	0%	45%	84
25–50	39%	0%	61%	61
50–100	34%	2%	64%	47
>100	31%	0%	69%	106

Следующее сопоставление позволяет в некоторой степени релятивизировать вышеизложенное (ср. Табл. 6). Представленные в ней числа свидетельствуют о том, что значимость получаемых результатов в высокой степени зависит от способа контроля: наибольшее число экспериментов, давших основание говорить о значимом превосходстве поликодового текста, – те, в которых испытуемым предлагалось вставить пропущенные слова (73%); однако эта специфическая форма контроля мало употребима, а самой распространенной можно считать анкетные вопросы, в которых информанту не предлагаются варианты ответов (44% успешных исследований). Что касается достаточно неожиданного результата сопоставления, продемонстрировавшего, что при контроле с помощью тестов, построенных на выборе между предзаданными вариантами ответов, показатели хуже (26%), то этот факт еще ожидает своего теоретического осмысления.

Таблица 6

Зависимость результатов от формы контроля

	Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
Подстановка	73%	0%	27%	15
Вопросы	44%	2%	55%	121
Пересказ	31%	0%	69%	105
Выбор ответа	26%	2%	72%	99

2. СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ВЕРСИЙ ОДНОГО ТЕКСТА

Переходя ко второму направлению исследований (сравнение разных иллюстрированных версий), также можно выделить несколько оснований для противопоставления:

- реализм иллюстраций, статичность/динамичность иллюстраций, адекватность иллюстраций,
- последовательность предъявления гетерогенных составляющих.

Проблема зависимости эффективности иллюстративного материала от его реализма, понимаемого как сходство с изображаемым, подробно освещается в работах Дуайра и его учеников [Dwyer 1970; 1978]. Согласно одной распространенной позиции, реализм иллюстраций помогает воспринимателю построить более точную ментальную репрезентацию содержания текста и, как следствие, лучше понять и запомнить его. Согласно мнению других исследователей, реалистические иллюстрации несут слишком много избыточной информации, которая мешает реципиенту, так как необходимость принимать в расчет большее количество деталей ведет к перегрузке когнитивной системы и к сбоям в ее работе. Результаты большого числа экспериментальных исследований, посвященных этой проблеме, крайне противоречивы, что не позволяет представителям каждой из сторон окончательно доказать свою правоту.

Похожая ситуация складывается и в споре об эффективности динамических иллюстраций. Несмотря на попытки некоторых исследователей доказать, что динамичные (анимированные версии) или киноверсии более эффективны, нередко в экспериментальных условиях испытуемые демонстрируют лучшее понимание статичных версий. Более того, недавно опубликованное исследование Лоу показывает, что в случае недостаточной подготовки реципиента в той области, к которой относится текст, динамика может оказаться помехой в усвоении предлагаемого материала [Lowe 2003].

Интересные результаты дают те эксперименты, в которых выявляется значимость последовательности предъявления гетерогенных компонентов. Если различия в пространственном взаиморасположении составляющих практически не влияют на результат понимания и запоминания текста, то предъявление иллюстрации до предъявления вербального текста или после него почти всегда значимо. В 11 из 12 изученных случаев результаты показывают, что влияние иллюстрации, показанной перед текстом, эффективней, чем влияние иллюстрации, предъявленной после текста (см., например [Blanc, Tapiero 2002; Bransford, Johnson 1972; Dean, Enemoh 1983; O'Keefe, Solman 1987; Reinwein 1993]). Другими словами, эффект от использования иллюстрации выявляется лишь в тех случаях, когда испытуемому дается возможность создать на основе изображения базу для ментальной репрезентации предъявляемого текста.

Эти результаты полностью согласуются с предложенной автором обзора моделью понимания поликодового текста [Сонин 2003], одновременно ставя под сомнение позицию, разделяемую многими отечественными авторами, согласно которой изображение в рекламном или сетевом тексте иллюстрирует содержание вербальной составляющей. Работа с экспериментальным материалом показывает, что при описании подобных текстов точнее говорить об иллюстрации рисунка словом. Это связано с тем, что при восприятии изображения обработка проходит по направлению от идентификации к непосредственной активации семантических репрезентаций, а лексические репрезентации задействуются позже. Напротив, при обработке вербального текста семантические репрезентации, связанные с каждым из слов, активируются уже после того, как в обработке были задействованы лексические сети [Gernsbacher 1990; Kintch 1988]. В результате базовая репрезентация содержания текста (его первичное понимание) строится преимущественно на основе обработки изобразительной составляющей. Поэтому влияние вербальной составляющей на понимание поликодового текста рассматривается как модулирующее, а определяющая роль в его понимании признается за изобразительным рядом.

Особого внимания заслуживают исследования, в которых преднамеренно используются неадекватные иллюстрации (обычно гетерогенные составляющие в экспериментальных текстах комплементарны: они дополняют и частично дублируют друг друга). При всей экологической несостоятельности таких экспериментов (или же благодаря ей), они представляют определенный интерес для раскрытия когнитивных механизмов понимания поликодовых текстов. Действительно, если адекватная иллюстрация положительно влияет на понимание и запоминание текста, то логично допустить, что несовместимая иллюстрация будет затруднять соответствующие процессы. Именно эта гипотеза и верифицируется в подобных экспериментах. Пожалуй, первыми, кто использовал эту методику, были Кетчем и Хит [Ketcham, Heath 1962]. В их эксперименте одна из двух версий предложенного испытуемым текста сопровождалась географическими картами, никак не связанными с рассказанной историей убийства, ареста, суда и казни. Вто-

рая версия сопровождалась изображением геометрических форм. Неадекватные карты оказали четко выраженное отрицательное влияние на ответы испытуемых по содержанию текста, в то время как вторая – геометрическая – версия никак не повлияла на понимание текста. Это позволяет говорить о естественной установке реципиента на поиск смыслового изоморфизма между составляющими поликодового текста, отказ от которой происходит лишь тогда, когда несовместимость очевидна. Более поздние работы других исследователей показали, что тексты с несовместимыми составляющими дают худшие результаты как по сравнению с обычными поликодовыми текстами, так и по сравнению с монокодовыми вербальными текстами.

Кроме исследований понимания и запоминания лингвистической информации, когда изобразительная информация рассматривается как интерферирующий неравноправный элемент, проводятся исследования несовместимости между видеорядом фильма и его звуковой дорожкой. В этом случае роль изобразительной информации велика: видеоряд – никак не менее важный источник информации, чем звукоряд. В качестве примера может быть приведено исследование Хейза и Бернбаума [Hayes, Birnbaum 1980], в котором реципиентам в трех разных группах предлагалось три вида экспериментального материала: в первой группе – видео- и звукоряд одного фильма, во второй – видеоряд фильма А со звуком фильма В, а в третьей – видеоряд фильма В со звуком фильма А. При этом вопросы контрольного теста касались как визуальной, так и звуковой информации. Результаты в группах 1 и 2 сравнивались, чтобы установить происходят ли негативные изменения с запоминанием визуальной информации при несовместимости видео- и звукоряда. Сравнение 1 и 3 позволяло определить степень искажения восприятия звуковой информации. Результаты показывают, что в нормальной версии изображение и звук запоминаются одинаково хорошо, а при их несовместимости ухудшается запоминание звуковой, вербальной информации, но не визуальной. Это позволяет утверждать, что, по крайней мере у детей, визуальная составляющая доминантна.

Было бы упущением не упомянуть в обзоре о некоторых экспериментальных парадигмах, не вписывающихся ни в одно из указанных направлений. Это в первую очередь исследования, направленные на определение влияния изобразительной составляющей на мотивационную сферу испытуемых – их предпочтения и установки. Соответствующие измерения проводятся обычно в ходе экспериментов, посвященных специфике когнитивной обработки составляющих, когда параллельно с основным заданием исследователи предлагают испытуемым выразить свое отношение к предъявляемым текстам, указать знакомство с каким текстом – иллюстрированным или неиллюстрированным – вызывает у них больший интерес, доставляет больше удовольствия. Исследования, большинство из которых проводилось со студентами университетов, показали положительное влияние иллюстраций на предпочтения испытуемых: в 42% анализируемых случаев информанты отдадут предпочтение поликодовому тексту против 3% для монокодового текста (ср. Табл. 7).

Таблица 7

Роль иллюстрации в воздействии на мотивационную сферу испытуемых

Поли > моно	Моно > поли	Различие незначимо	Общее число
42%	3%	55%	36

Однако, как известно, взаимодействие между эмоцией и когницией сложно, нелинейно, и далеко не всегда удастся проследить связь между таким предпочтением и пониманием/запоминанием текста. Предпочитаемая поликодовая версия может пониматься и запоминаться не лучше, чем другая. Например, если в эксперименте Брайана и его сотрудников иллюстрированная версия отличается, согласно измерениям, от вербальной версии аффективно, то это никак не сказывается на эффективности когнитивной обработки обоих текстов. И наоборот, в эксперименте Гури-Розенблита диаграмма, сопро-

вождающая текст, никак не повлияла на интерес испытуемых к этому тексту, хотя улучшила его запоминание.

Наконец, обзор не был бы полным без упоминания тех экспериментов, в которых различия в когнитивной обработке моно- и поликодовых текстов выявлялись при помощи контроля действий испытуемых, производимых на основе полученной в тексте информации. По-видимому, это наиболее надежный способ контроля, так как предлагаемые испытуемым контрольные вербальные тесты на понимание и запоминание не одинаково нейтральны по отношению к каждой из составляющих. Гораздо более важные результаты можно получить, контролируя время, затраченное на выполнение описанных в тексте действий, и сравнивая количество допущенных в этих действиях ошибок. Что касается точности производимых испытуемым движений или точности выполнения задачи, иллюстрированная версия дает лучшие результаты. Кроме того, измерение времени выполнения экспериментального задания постоянно показывает, что иллюстрированная версия позволяет действовать быстрее, хотя иногда более высокая скорость выполнения сочетается с более высоким количеством ошибок при действиях по иллюстрированной версии.

В целом, предложенный обзор при всей его краткости призван помочь исследователям, которые занимаются поликодовыми текстами, соотнести свои позиции с основными направлениями исследований западных коллег.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сонин 2003 – А.Г. Сонин. Общепсихологические и когнитивные механизмы понимания мультимедийных текстов // Вопросы психолингвистики. 2003. № 1.
- Горелов, Седов 1997 – И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. Основы психолингвистики. М., 1997.
- Benveniste 1966 – E. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. I. Paris, 1966.
- Blanc, Tapiero 2002 – N. Blanc, I. Tapiero. Construire une représentation mentale à partir d'un texte: le rôle des illustrations et de la connotation des informations // Bulletin de psychologie. № 55 (5). 2002.
- Bransford, Johnson 1972 – J.D. Bransford, M.K. Johnson. Contextual prerequisites for understanding: some investigations of comprehension and recall // Journal of verbal learning and verbal behavior. № 4 (2). 1972.
- Dean, Enemoh 1983 – R.S. Dean, P.A.C. Enemoh. Pictorial organization in prose learning // Contemporary educational psychology. № 8. 1983.
- Dwyer 1970 – F.M. Dwyer. Exploratory studies in the effectiveness of visual illustrations // Communication review. № 18. 1970.
- Dwyer 1978 – F.M. Dwyer. Strategies for improving visual learning. State College, Pennsylvania, 1978.
- Gernsbacher 1990 – M.A. Gernsbacher. Language comprehension as structure building. Hillsdale (New Jersey), 1990.
- Hayes, Birnbaum 1980 – D.S. Hayes, D.W. Birnbaum. Preschooler's retention of televised events: Is a picture worth a thousand words? // Developmental psychology. № 16 (5). 1980.
- Kintsch 1988 – W. Kintsch. The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-integration model // Psychological review. № 95 (2). 1988.
- Levie, Lentz 1982 – W.H. Levie, R. Lentz. Effect of text illustrations: A review of research // Educational communication and technology journal. № 30 (4). 1982.
- Levin, Anglin, Carney 1987 – J.R. Levin, G.J. Anglin, R.N. Carney. On empirically validating functions of pictures in prose // D.M. Willows, H. Houghton (eds.). The psychology of illustrations. V. 1: Basic research. New York, 1987.
- Lowe 2003 – R.K. Lowe. Animation and learning: selective processing of information in dynamic graphics // Learning and instruction. № 13. 2003.
- O'Keefe, Solman 1987 – E.J. O'Keefe, R.T. Solman. The influence of illustrations on children's comprehension of written stories // Journal of reading behavior. № 19 (4). 1987.
- Penney 1989 – C.G. Penney. Modality effect and the structure of short-term memory // Memory and cognition. № 17. 1989.
- Reinwein 1993 – J. Reinwein. L'effet de la mise en page d'un livre sur l'appariement texte – illustration en lecture // Revue de l'Association canadienne de linguistique appliquée. № 15 (1). 1993.
- Reinwein 1998 – J. Reinwein. L'illustration et le texte – revue analytique des recherches expérimentales, 1998 (version web <http://www.unites.uqam.ca:lireimage>).
- Sonine 2003 – A.G. Sonine. Compréhension des textes multimodaux: exemple de la bande dessinée. Thèse de doctorat. Université de Nantes, 2003.
- Vaillant 1999 – P. Vaillant. Sémiotique des langages d'icônes. Paris, 1999.

РЕЦЕНЗИИ

А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. Второе издание, переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг. М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с.

Первое издание рецензируемой книги (далее ДНД-1) вышло в свет в 1995 г. Оно содержит, с одной стороны, систематический обзор главных особенностей средневекового диалекта Новгорода и Пскова и проблем, связанных с ним, а с другой, практическое издание всех (кроме самых незначительных) берестяных грамот и некоторых других текстов, важных для понимания средневекового диалекта Новгорода и Пскова (они расположены в хронологическом порядке и снабжены всевозможными вспомогательными материалами – переводами, комментариями, словоуказателями и т.д.). Критика приняла работу, в основном, с воодушевлением и, судя по доступным нам данным, читателя тем более. Книга успешно выполнила пробел между академическими изданиями берестяных грамот, доступными только узкому кругу специалистов, и знаменитой популяризаторской книгой В.Л. Янина “Я послал тебе бересту...” (три издания: 1965, 1975, 1998). Главным достоинством ДНД-1 является великоленно продуманная внутренняя организация, предоставляющая читателю возможность сравнительно легко и быстро проникнуть в язык и содержание берестяных грамот.

Новое издание (далее ДНД-2) воспроизводит структуру предшественника (иногда совершенствуя ее) и учитывает как берестяные грамоты, обнаруженные между концом 1994 г. и концом 2003 г., так и результаты берестологических исследований, проведенных в последние годы, прежде всего в области датирования (ср., например [Зализняк 2000]).

Бросается в глаза количественный рост книги. В то время как ДНД-1 насчитывает 720 страниц, в ДНД-2 их уже 872, причем страницы нового издания и чуть больше по формату. Можно сказать, что около двадцати процентов материалов ДНД-2 является новым по отношению к ДНД-1, не считая многочисленных случаев более или менее основательной переработки уже существующего текста. Количество нового текста приблизительно соот-

ветствует количественному росту корпуса берестяных грамот, имевшему место в последние десять лет (с. 15–16).

Введение (с. 3–8) посвящено заметкам общего характера – задачам и строению работы. Им предшествует краткое изложение терминологического аппарата, состоящего из пяти “идиомов” (по терминологии Марузо [Марузо 1960: 114]), которые, по мнению автора, следует различать “при описании языковой ситуации в Новгородской земле XI–XV вв.”, а именно: 1. Церковнославянский язык; 2. Наддиалектная форма древнерусского языка; 3. Древнепсковский диалект; 4. Совокупность восточноновгородских говоров; 5. Диалект самого Новгорода и непосредственно прилегающих к нему районов.

Сравнительно с ДНД-1 здесь появились некоторые инновации:

(а) Термин “стандартный древнерусский язык” заменен выражением “наддиалектная форма древнерусского языка”, во избежание нежелательных ассоциаций с языковым нормированием в современном понимании (ср. также с. 3).

(б) Терминология больше не отражает общепринятую, но далеко не общепринятую (и к тому же для средневекового Новгорода не очень релевантную) гипотезу о возможной исторической связи между, с одной стороны, определенными единицами вышеупомянутой терминологической системы и, с другой, восточнославянскими племенами, известными из ПВЛ. Вместо таких формулировок, как “севернокривичский диалект (или все кривичские диалекты)” (ДНД-1, с. 36), теперь читаем, к примеру, “новгородско-псковский диалект” (ДНД-2, с. 41)¹.

¹ Термин “кривичский ареал” иногда употребляется в работе приблизительно в значении “ареал, где встречаются говоры новгородско-псковского диалекта” (ср., например, с. 52).

Нам представляется, что упомянутые изменения значительно повышают функциональность системы. Ценно это главным образом потому, что языковая ситуация в средневековом Новгороде отличалась, судя по всему, определенной запутанностью, так что все постороннее рискует помешать читателю.

Само собой разумеется, что роли, отводимые в рецензируемой книге отдельным элементам изложенного выше пятичленного понятийного аппарата, сильно различаются между собой. Работа посвящена преимущественно ранней зафиксированной фазе (XI – нач. XIII в.) идиомов 5 и 3 (ср. с. 8). Более конкретно: главным предметом ДНД-2 являются специфические восточнославянские говоры, непосредственно продолжающие общеславянский диалект, противостоящий всему остальному славянскому миру тем, что в нем отсутствует эффект второй палатализации и присутствует окончание *-e* в им. падеже ед. числа муж. осклонения (тип *посадьнике*). Судя по имеющимся данным, в первую очередь по берестяным грамотам, именно к этому диалекту принадлежали говоры коренного населения Новгорода и окрестностей. Восточноновгородские же говоры (идиом 4), которые, по-видимому, продолжали общеславянский диалект, в принципе не отличающийся от нормального славянского состояния (судя прежде всего по ономастическим данным), в ДНД-2 существенной роли не играют, главным образом потому, что они пока слабо документированы на материале конкретных текстов (ср. с. 14–15).

Место церковнославянского языка (т.е. идиом 1) в комментарии не нуждается. Иначе обстоит дело с идиомом 2, т.е. с “наддиалектным древнерусским”. Как уже было известно ко времени выхода ДНД-1, в течение двенадцатого столетия писавшие берестяные грамоты, по крайней мере в Новгороде (для Старой Руссы и Пскова соответствующих данных пока не имеется), постепенно начинали заменять некоторые особенности местного говора (идиом 5) их географически более распространенными эквивалентами: например, тип *посадьнике* стали заменять типом *посадьникъ*, хотя нет сомнения, что у себя дома продолжали говорить *посадьнике*. При этом имеющийся материал довольно ясно показывает, что данные замены, во-первых, не следует понимать как церковнославянизмы (хотя чаще всего формально они совпадают с соответствующими церковнославянскими особенностями) и, во-вторых, что они в стилистическом отношении не являлись нейтральными, а ощущались средневековыми новгородцами как подходящие в первую очередь для более или менее официального или

формального стиля. Об этом свидетельствуют разные данные, например, корреляция между выбором типа *посадьнике* или *посадьникъ* и орфографической системой, которую мы находим в обновленной Таблице 5 (с. 101).

Современному человеку необходимо определенное напряжение, чтобы понять всю многозначительность данного процесса, ибо для нас нет ничего более естественного, чем пользоваться “нормированной” или “общенародной” разновидностью языка в письмах власть имущим. Но, каким бы естественным нам ни представлялось такое положение дел, оно должно иметь свои исторические корни. Ибо наддиалектной формы древнерусского языка не существовало до того момента, как впервые какие-то новгородцы стали рассматривать свой родной говор как неподходящий для формальных писем, даже к другим новгородцам. Вопрос о том, как и когда это произошло, представляет собой один из ключевых вопросов, касающихся русского языка как общественного явления. Ниже мы еще вернемся к этой теме.

Часть первая (“Грамматический очерк древненовгородского диалекта”, с. 11–226, ср. в ДНД-1 с. 9–210) осталась в основном без изменений. Однако некоторые новшества заслуживают внимания.

Возможность сюрпризов даже на современном этапе берестологии наглядно иллюстрирует обнаруженная в 1997 г. берестяная азбука (778), где как особые единицы (т.е. графемы) фигурируют отдельно большой юс классического вида и большой юс “без вертикального среднего штриха” [НГБ 11: 16]. До сих пор эти две разновидности большого юса рассматривались как варианты одной и той же графемы (ДНД-2, с. 30). Документов, в которых употреблялись бы два больших юса друг возле друга, пока не обнаружено, но это вряд ли может вызвать недоумение, поскольку большой юс без вертикального среднего штриха вообще в текстах появляется крайне редко.

В разделе “Краткий обзор исторической фонетики” (с. 38–92, ср. ДНД-1, с. 33–75) прибавлены два новых параграфа, а именно § 2.15а “Вопрос о протетическом [j]” (с. 53–54) и § 2.15б “Мена редуцированных” (с. 54–55), частично содержащий материал, перенесенный из § 2.22. К счастью, такие перестановки текста в книге встречаются редко, причем всегда мотивированно.

Примечательное новшество касается как раз одного из явлений, острее всего отделяющих новгородско-псковские говоры от южных и восточных соседей. Как упоминалось выше,

новгородско-псковские говоры отличаются от всех остальных славянских диалектов в первую очередь тем, что в них не была проведена вторая палатализация, тогда как эффект прогрессивной (бывшей третьей) палатализации можно наблюдать хотя бы в случае праслав. *k (например, *z[a]dъnъnъcъ* ‘наследство’, № 607/562). Не считая скандинавской лексики типа *варяг* (на бересте представленной словом *колбъяг*, № 222), фактический материал по *g и *x пока что сводится к местоимению *vъx-, которое, как известно, в Новгороде обнаруживает непалатализованное *x* (тип *vъоу* ‘всю’). Отметим, между прочим, что десятилетие, отделяющее ДНД-2 от ДНД-1, прибавило не только пять дополнительных примеров типа *vъоу* к уже имеющимся двум десяткам (№ 893, 818, 944, 850, 806), но также и ранние примеры наддиалектного типа *всю* “в грамотах официального или полуофициального характера” (№ 831, 870), до сих пор не встречавшиеся вообще (с. 46).

В 1998 г. наконец впервые обнаружались примеры с рефлексами праслав. *g в позиции прогрессивной палатализации в лексике славянского происхождения, а именно *не лего* <не *льго*> ‘нельзя’ (с. 46–47).

В этой связи важно подчеркнуть, что подобные примеры (*льга, польза, ...*) очень широко зафиксированы и за пределами новгородской земли и даже в лехитских языках (например, польск. *ulga* ‘облегчение; льгота’). Вообще в восточнославянском ареале (кроме самого юга) трудно найти недвусмысленные рефлексы праслав. *g с эффектом прогрессивной палатализации. К сожалению, как почти всегда, когда речь идет о прогрессивной палатализации, потенциальный материал крайне скуден. Состоит он, кроме типа *lbg-, только из (а) двух существительных *a*-склонения (**ęga, *stęga*), (б) маргинального суффикса *-*ęgy*/*-*ęga*, (в) ряда глаголов типа **dvigati* и (г) существительных с германским суффиксом *-*ing-*. Это более или менее все². В восточнославянском ареале (опять же кроме самого юга) дело обстоит следующим образом:

(а) Господствует (*баба*-)*яга*, ср. польск. *jędza* ‘ведьма’. С существительным **stęga* свя-

² Предполагаемое праслав. **tridъzъ* не находит подтверждения в материале (совершенно прав здесь [Lunt 1981: 19], менее эксплицитно уже [Milewski 1937: 9]). Заимствованное из германского существительное **gobdъza* ‘богатство’ вне старославянского, по-видимому, встречается только с *z, а не с рефлексом *g с эффектом прогрессивной палатализации.

заны разные трудности, например, широкое распространение реликтовых форм типа *зги* <**stęgy* и стилистика современного слова *сте-зя*, явно указывающая на церковнославянского происхождения. Современное русское *польза*, как известно, также является церковнославянизмом, тогда как *нельзя* продолжает древний дат. падеж ед. числа *lęzъ* с эффектом второй палатализации и аналогическим окончанием.

(б) Характерно противопоставление древнерусского *работягъ* ‘раб’ [Срезневский 1843–1903] с польским *robociądzъ* ‘dziecko, parvulus’ [Słownik 1953 ff.] и древнечешским *robotězъ* ‘otrok, robotník’ [MSS 1979: 416; Novák 1934/1984: 140], ср. также [Арумаа 1976: 33].

(в) В восточно-славянском и в лехитском господствует тип *двигать*.

(г) Скандинавский тип *варяг*, как известно, трудно считать решающим, поскольку он, возможно, просто недостаточно древний, чтобы вообще быть релевантным для данного вопроса. С другой стороны, общеславянский тип *князь* охватывает почти исключительно слова более или менее технического характера и само слово *князь*, если оно не является прямым церковнославянизмом, означает общественное явление, возникшее на самом юге восточнославянского ареала, так что вполне может продолжать южную фонетику, или, как говорит А.А. Зализняк: “Характер слова таков, что оно вполне могло использоваться на всей территории Руси в наддиалектной форме” (с. 47). В этой связи большой интерес представляет неоднократно зафиксированная форма дательного падежа ед. числа *кнѣязюу* (например, 745, ср. 872), с твердым /z/. Появление твердого /z/ именно в данной форме является естественной инновацией в системах, уравнивших всякий исторический источник /z’u/ (и /s’u/) путем последовательного выравнивания в пользу непалатализованного *g (и *x) в парадигмах, подвергшихся прогрессивной палатализации.

Небезынтересно отметить, что рефлексы фитонима **vъxъ* ‘ядовитое растение из семейства зонтичных’, совсем недавно введенного в дискуссию о прогрессивной палатализации Ф.Р. Минлосом [Минлос 2001; Минлос, Терентьев 2002], обнаруживают ту же географию.

Получается, что аналогическое обобщение непалатализованного *g или *x в парадигмах большинства слов, подвергшихся прогрессивной палатализации, характерно для огромного восточно-славянского, а частично и лехитского, ареала и что специфичность новгородско-

псковского диалекта сводится к одному лишь местоимению *весь*³.

В главе “Морфология” (93–154, ср. ДНД-1: 76–135) сообщаются среди прочих новые данные, касающиеся взаимоотношений между новгородским окончанием *-е* в форме им. падежа ед. числа муж. рода *о*-склонения и вневгородским *-ѣ*, т.е. между типами *посадыни* и *посадыникъ*. Как отмечалось выше, уже давно было известно, что по крайней мере с шестидесятых или семидесятых годов двенадцатого столетия писавшие берестяные грамоты стали пользоваться вневгородским типом *посадыникъ* даже в контакте с согражданами, хотя бы как стилистически маркированным вариантом наряду с местным типом *посадынике*. Великолепным ранним примером является № 724 (с. 350–354, “вероятно, 1161–1167 гг.”; ср. также [Vermeer 1997: 31–43]). На основании материала, содержащегося в ДНД-1, об общественных факторах, способствовавших такому развитию, можно было только догадываться.

В периоды А (“XI – 1 четв. XII в.”) и Б1 (“ок. 1125 – ок. 1160 г.”) вневгородский тип *посадыникъ* почти полностью ограничен грамотами, не обнаруживающими вообще никаких новгородских особенностей и поэтому поддающимися (хотя бы теоретически) толкованию как именущие иногороднее происхождение. В ДНД-1 единственным убедительным исключением является грамота № 736б (ДНД-2, с. 263–265, “стратигр. 10-е – 30-е гг. XII в.”), где находим и *възляе*, и *възляль*.

В настоящее время насчитывается около шести ранних грамот с таким выбором языковых средств. Оказывается, что почти все они так или иначе связаны или с князем, или с лич-

ностями, находившимися на самом верху новгородского общества. В случае грамоты № 736б есть основания предполагать, что за адресатом кроется новгородский посадник Иванко Павлович (1134–1135, с. 262, ср. [НГБ 10: 36]). Новооткрытые экземпляры следующие:

– № 907 (с. 255–257, “стратигр. кон. XI – нач. XII в., внестратигр. предпочт. первое 20-летие XII в.”), например, форма им. падежа ед. числа *възляль, потаиль*, но *въткале* и форма род. падежа ед. числа *татъбѣ*. В этой грамоте некий Тук, очевидно действуя в роли следователя, сообщает Гюряте подробности о некоторых преступлениях, упомяная при этом и “татъбоу князю”, т.е. кражу, так или иначе касающуюся князя. Гюрята “практически надежно отождествляется” с одноименным посадником (с. 256).

– № 831 (с. 302–305, “стратигр. 2 четв. XII в.”), например, форма им. падежа ед. числа *даяль, поляль*, ср. также *-с-* в род. падеже мн. числа *весьхо <всѣхъ>*, но род. падежа ед. числа *Коузьме*. Адресат Рагуил, “как следует из содержания документа, – родовитый боярин, имеющий не только собственную дружину, но и своего священника (и следовательно – фамильную церковь), занимающий крупный административный пост” [Гиппиус 2004: 180].

– № 849 (с. 318–319, “стратигр. сер. XII в.”), например, форма им. падежа ед. числа *самъ*, но род. падеж ед. числа *Маренѣ* и “несклоняемое действительное причастие презенса” *възьмя*. Документ принадлежит к обширному комплексу берестяных грамот, обнаруженных в основном в 1998 г. и связанных с Петром (“Петроком”) и некоторыми другими лицами, прежде всего Якшей и Мареной. Содержание грамот, принадлежащих к данному комплексу, недвусмысленно показывает, что Петрок, хотя сам был новгородцем, являлся представителем или агентом князя в его делах с новгородцами, а именно что переписка между князем и новгородцами шла через него. (О Петроке см. в особенности [Гиппиус 2004: 164–174].)

– № 852 (с. 325, “стратигр. 2 четв. – сер. XII в.”), например, форма им. падежа ед. числа *сторовъ* “жив-здоров”, с наддиалектным окончанием, но с новгородским *ст-* (ср. с. 85). Хотя от этой грамоты сохранился только конец заключительного предложения, содержание недвусмысленно показывает, что в ней князь играл решающую роль.

– Блок № 793 + 806 (с. 312–313, “стратигр. 60-е–80-е гг. XII в.”), например, форма им. падежа ед. числа *самъ/ѣ*, но *Борисе*. В этих сильно фрагментированных грамотах ничто не указывает на элитарный общественный контекст. Правда, в них упоминается некий Илья,

³ Напомним, что большинство хоть сколь-ко-нибудь приемлемых теорий прогрессивной палатализации (начиная с работ [Бодуэн де Куртенэ 1893: 15; Шахматов 1896: 703–705]) постулирует парадигмы с чередованиями, в которых формы с эффектом прогрессивной палатализации противопоставляются формам без него: например, **ovьca/*ovьky, *edza/*egy, *otьca/*otьkѣ, *kъnedza/*kъnegѣ* (впервые [Zubatý 1910: 152], позднее, например [Трубецкой 1922: 228–230; Milewski 1937: 13–15] и др.). Если на славянском юге в таких парадигмах всегда обобщаются результаты палатализации (и даже расширяются в таких примерах как ст.-сл. *навѣщаемъ* ‘учим, познаём’), на севере дела обстоят гораздо сложнее и в определенных условиях обобщаются или “восстанавливаются” как раз непалатализованные согласные. О прогрессивной палатализации см. также [Vermeer 2003].

который описывается как “Полюдов староста”, но староста – это все же не посадник и не князь. Может быть, не случайно, что грамоты, принадлежащие к данному блоку, являются существенно более поздними, чем остальные названные здесь тексты.

Если все перечисленные грамоты можно считать показательными, то языковая практика, при которой тип *посадьнике* стал заменяться типом *посадникъ*, появилась не позже начала двенадцатого века среди членов новгородской элиты, ежедневно общающихся с Рюриковичами, язык которых отличался отсутствием таких новгородизмов, как тип *посадьнике*, и которые одновременно занимали даже более высокое общественное положение, чем новгородские посадники. В общественном контексте, где тесно сотрудничали, с одной стороны, представители династии, а с другой, коренные новгородцы, последние легко и почти незаметно могли перейти на использование типа *посадникъ* и в письмах к своим согражданам, со временем превращая тип *посадьникъ* из совершенно чуждого элемента в составную часть новгородской языковой действительности (ср. [Зализняк 2003: 220–221]). Нам представляется, что появившаяся в последние годы возможность своими глазами наблюдать за этим процессом, по важности не уступает открытию отсутствия в Новгороде и Пскове эффекта второй палатализации.

“Нервом” рецензируемой книги является, однако, часть вторая: “Тексты с комментариями” (с. 227–694, ср. [ДНД-1: 211–580]), составляющая в каком-то смысле ее главное богатство. Новое издание пополнено берестяными грамотами, обнаруженными в последние годы, а именно, новгородскими грамотами (№ 754–950) и первой грамотой, найденной на Новгородском Городище, а также грамотами из Старой Руссы (№ 28–38), Твери (№ 3–5), Торжка (№ 1–19). Так как критерии для помещения текстов в ДНД-2 сравнительно с первым изданием стали несколько свободней, мы находим в нем более сорока ранее уже известных, но не включавшихся в ДНД-1 текстов, к которым относятся прежде всего азбуки (например, № 591, 460), а также различные фрагменты.

Поучительно, но и чрезвычайно занятно прочитать весь этот корпус подряд, внимательно наблюдая, как языковое состояние одиннадцатого века постепенно превращается в диалект, уже во многом существенном совпадающий с современным русским языком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арумаа 1976 – *P. Arumaa*. Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studi-

um der Slavischen Sprachen II: Konsonantis-
mus. Heidelberg, 1976.

Бодуэн де Куртене 1893 – *И.А. Бодуэн де Куртене*. Два вопроса из учения о “смягчении”, или палатализации в славянских языках. Оттиск из “Уч. Зап. Имп. Юрьевского Университета”, 1893.

Гиппиус 2004 – *А.А. Гиппиус*. О нескольких персонажах новгородских берестяных грамот XII века // НГБ 11. 2004.

Зализняк 2000 – *А.А. Зализняк*. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // НГБ 10. 2000.

Зализняк 2003 – *А.А. Зализняк*. Значение берестяных грамот для истории русского языка // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения / Ред. В.Л. Янин. М., 2003.

Марузо 1960 – *Ж. Марузо*. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.

Минлос 2001 – *Ф.Р. Минлос*. Об одном нетривиальном фонетическом соответствии (рус. *вѣх*, зап.-укр. *весь*, морав. *veš*) // Die Welt der Slaven. 46. 2001.

Минлос, Терентьев 2002 – *Ф.Р. Минлос, В.А. Терентьев*. Рус. диал. *вѣх*. Этимология // Studia linguarum 1–2, Memoriae A.A. Korolev dicata. 2002.

НГБ 10 – *В.Л. Янин, А.А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000.

НГБ 11 – *В.Л. Янин, А.А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 гг.). М., 2004.

Срезневский 1893–1903 – *И.И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893–1903.

Трубецкой 1922 – *N.S. Troubetzkoy*. Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun // Revue des études slaves. 2. 1922.

Шахматов 1896 – *А.А. Шахматов*. К истории звуков русского языка // ИОРЯС. 1. 1896.

Lunt 1981 – *Horace G. Lunt*. The progressive palatalization of Common Slavic. Skopje, 1981.

MSS 1979 – *Malý staročeský slovník / J. Bělič (red.)*. Praha, 1979.

Milewski 1937 – *Rocznik slawistyczny*. 13. 1937. Rec.: R. Eklblom. Die Palatalisierung von *k*, *g*, *ch* im Slavischen. Uppsala; Leipzig, 1935.

Novák 1934/1984 – *K. Novák*. Slovník k českým spisům Husovým. Praha, 1934 [Nachdr. besorgt von G. Freidhof. München, 1984].

Słownik – Słownik staropolski / *K. Nitsch (red.)*. Warszawa, 1953– (продолжающееся издание).

Vermeer 1997 – *W. Vermeer*. Notes on medieval Novgorod sociolinguistics // *Russian linguistics*. 21. 1997.

Vermeer 2003 – *W. Vermeer*. Comedy of errors or inexorable advance? Exploring the disfunctionality of the debate about the progressive

palatalization of Slavic // *Studies in Slavic and general linguistics*. 30. 2003.

Zubaty 1910 – *J. Zubaty*. Výklady etymologické a lexikální // *Sborník filologický*. 1. 1910.

B. Vermeer

T. Givón. Bio-linguistics: The Santa Barbara lectures. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. xviii + 383 p.

“Биолингвистика” Т. Гивона представляет собой мультидисциплинарный компендиум, оригинальное научное исследование и учебное пособие одновременно. Модель, по которой образовано слово *биолингвистика*, выражает заявку на введение в лингвистический обиход термина, репрезентирующего новую научную дисциплину. Заявка эта представляется обоснованной. Как будет развиваться эта дисциплина и насколько употребительным станет термин, покажет время.

Предисловие, десять глав и эпилог посвящены формулированию, доказательству и иллюстрации основного положения биолингвистики: язык является ареной действия и в то же время результатом адаптивных механизмов.

В предисловии Гивон отмежевывается от идеалистической традиции в языкознании и провозглашает отказ от жесткого разграничения биологии и культуры. “Биолингвистика” посвящена памяти Дж. Гринберга. Это посвящение – не формальная дань памяти. Корни эволюционного подхода к языку Гивон видит в научной идеологии Гринберга – во внимании к взаимодействию постоянного (универсального) и изменчивого (разнообразного) в языке.

В первой главе (“Язык как результат биологической адаптации”) основные идеи биолингвистики напрямую связываются с законами биологии (“матери всех гуманитарных наук”), в которой – это доказывается убедительным цитированием – всегда господствовал здравый смысл. На здравый смысл в “Биолингвистике” – равно как и в других своих сочинениях – всегда опирается и Гивон. “Биолингвистика” представляет собой очередной этап в развитии функционализма. На основе здравого смысла строится аксиоматика биолингвистики. В частности, признается, что природа, происхождение и развитие языка определяют его основные функции: передача и хранение информации.

Со свойственной Гивону четкостью и лаконичностью в первой главе вводятся основные понятия новой научной дисциплины. Когнитивная система отражения и система кодирования представляют собой две составные части знаковой коммуникации людей. Система отра-

жения включает в себя лексикон концептов, пропозициональную информацию и мультипропозициональный дискурс. Система кодирования состоит из периферийного сенсомоторного и грамматического кодов. Последний рассматривается как инструмент для быстрого порождения речи путем конвенционализации и автоматизации соответствующих элементов смысла и, как и остальные компоненты порождения речи, является результатом действия адаптивных процессов.

Из небольшого по объему, но в высшей степени убедительного обзора современных биологических представлений следует, что (биологические) организмы характеризуются функционально мотивированной организацией, изменчивостью вследствие отбора и популяционной вариативностью. Такого рода представления кладутся в основу биолингвистической теории, поскольку биология является фундаментом всех систем, обеспечивающих коммуникацию. Вариативность в языке должна рассматриваться не как нечто исключительное, а как естественное явление, связанное с адаптивным характером языка. Логически связанным с предыдущими является и следующий тезис: вследствие огромного количества факторов, влияющих на постоянно изменяющуюся, находящуюся в динамическом равновесии систему языка, языковые универсалии не могут быть абсолютными, а значит и не должны рассматриваться как таковые лингвистами. Как следствие, Гивон настаивает на том, что жестких границ между функциональным, типологическим и историческим языкознанием не существует.

Методом *reductio ad absurdum* доказывается несостоятельность структуроцентристского подхода в типологии. В первой главе также впервые появляется сквозной (отрицательный) герой “Биолингвистики” – Н. Хомский, которого Гивон считает своим главным идеологическим противником.

Одна из особенностей научного стиля Гивона заключается в том, что теоретические положения разного уровня обобщения всегда опираются на обширный, неожиданный и разноплановый лингвистический материал, кото-

рый служит для доказательства или для иллюстрации. В частности, и основные положения, сформулированные в первой главе, блистательно иллюстрируются анализом разнообразия пассивных конструкций в разных языках. Эта развернутая иллюстрация позволяет пронаблюдать взаимодействие случайного и закономерного в функционировании и историческом развитии языка, в закреплении способов кодирования того или иного значимого элемента.

В теоретический фундамент биолингвистики – как предмета науки, так и учебной дисциплины – включено также положение о диахронической обусловленности языкового разнообразия.

Поразительное сходство процессов, приводящих к становлению грамматических конструкций и к формированию биологических особенностей в процессе эволюции, не случайно – оно определяется самой адаптивной природой языка, отсутствием четкой границы между биологией и культурой. Вариативность, которая в сосюррианской лингвистике трактуется как артефакт, на самом деле является кардинальным свойством языка, объясняемым неединственностью путей, ведущих к становлению новых языковых средств на базе разных исходных функциональных элементов. Это равно относится и к (синхронной) вариативности в одном языке, и к межязыковому разнообразию.

В преамбуле ко второй главе (“The bounds of generativity and the adaptive basis of variation”) Гивон “сталкивает лбами” две противоположные, крайние доктрины: хомскианские представления о грамматике как об алгоритме, работающем по абсолютно жестким правилам, и теоретические положения П. Хоппера [Hopper 1987; 1991], который считает, что грамматика полностью подвижна (“flexible”). Гивон противопоставляет этим радикальным лингвистическим теориям основанное на здравом смысле описание грамматики, находящееся в согласии с законами биологии, с когнитивными и коммуникативными закономерностями. Такое грамматическое описание не допускает впадения ни в одну из возможных крайностей. Примеры такого подхода (не только в грамматике) Гивон видит, например, у Сепира и Есперсена, в прототипической теории Э. Рош, в некоторых биологических исследованиях (Э. Майр, Дж.Т. Боннер и др.).

В основной части второй главы Гивон полемизирует не только с современниками – представителями “экстремальных” взглядов (Хомским и Хоппером), – но и с их предшественниками, со всей традицией, идущей от Платона (Бл. Августин, Декарт, Рассел), с идеями о том, что категории разума (“mind”) являются ясны-

ми, четкими, дискретными. Также упоминаются предшественники Хомского и Хоппера в области психологии, а именно исследователи ориентированной на логику семантики – для первого и недискретных активируемых семантических сетей – для второго.

В качестве фундамента для своего рода “среднего пути” при анализе грамматических категорий берется прототипическая теория, основы которой кратко излагаются в главе 2. Разумеется, свои соображения Гивон доказывает “на примерах” – каждый из них представляет собой законченный научный текст, который может жить и вне учебника. Самым выразительным мне представляется анализ спонтанной коммуникации на английском. Достаточно большой фрагмент диалога может дать тем читателям, которые раньше не имели дела с естественной разговорной речью, хорошее представление о том, как далеко она от идеальной грамматики. Производит впечатление и фрагмент “перевода” с реальной грамматики на идеальную. Статистическая обработка диалога, однако, показывает, что отклонений от нормативной грамматики в устной речи оказывается только около 2%. Тем самым факты говорят о том, что в грамматике сложным образом переплетены строгая платонянская подчиненность порождающим правилам и виттгенштейнианская свобода (“rigid Platonic generativity” и “Wittgensteinian free-for-all”).

Причины такого положения вещей (изложенные в заключении ко второй главе) кроются в самой природе грамматики: грамматика служит ускорению коммуникации и поэтому должна быть автоматизированной, но отчасти она должна быть и подвижна (“flexible”) для того, чтобы адаптивные изменения и процесс обучения были возможны.

Третья глава (“The demise of competence”) начинается с обсуждения (не)конфигурационности. Открытие существования так называемых неконфигурационных языков поставило под сомнение самые основы формального грамматического описания: универсальность структур составляющих, зависимостей и линейного порядка слов как формальных аспектов грамматализованных предложений. Включаясь в обсуждение проблем, связанных с (не-)конфигурационностью, Гивон отмечает, что, как это ни удивительно, не существует никаких статистических сведений о распределении конфигурационных и неконфигурационных черт в естественных текстах, и рассматривает эту ситуацию как естественное следствие из базовых теоретических положений генеративизма, которые в общем и не предполагают обращения к чему-либо, кроме хорошо опре-

дактированных письменных текстов или искусственных примеров, не имеющих контекста.

Гивон замечает, что прототипический неконфигурационный язык – и почему-то никто не удивляется этому факту – всегда оказывается принадлежащим “экзотической, племенной, бесписьменной, незападной культуре”, в то время как прототипический конфигурационный язык всегда оказывается “стандартизированным, письменным, литературным, западным, английским”.

Далее, естественно, излагаются результаты сравнения устного английского с письменным и их обоих с “неконфигурационными” языками. Изложить по-русски суть этого рассуждения придется с нарушением привычной сочетаемости лингвистических терминов. Дело в том, что в русской лингвистической традиции термины “язык” и “речь” употребляются исключительно в (пост)сословных значениях. Слово сочетания “устный язык” и “письменный язык” выглядят по-русски достаточно странно, а английские словосочетания “oral language processing” и “written language processing” дословно эквивалента, как мне представляется, вообще не имеют. Существуют устойчивые терминологические сочетания “порождение речи”, “восприятие речи”, “речевая деятельность”. Представляется, однако, что перевод термина “language” как “речь” в данном случае недопустим, тем более, что третья глава посвящена как раз обсуждению жесткого генеративистского противопоставления – “competence – performance”. Итак, главное в рассуждении Гивона состоит в том, что одним из следствий адаптивной природы “устного” языка является удивительно высокая скорость оперирования им (= осуществление речевой деятельности на нем). Эта быстрота достигается автоматизированностью процесса. Именно поэтому опора исключительно на письменный язык, не характеризует столь высокой скоростью и автоматизированностью, для построения грамматической (общелингвистической) теории является по меньшей мере странной. Тем самым competence – этот “методологический *deus ex machine*” Хомского – является не чем иным, как эмпирически необоснованным философским предрассудком, унаследованным и у Платона, и у позитивизма.

Для создания корпуса разговорного английского была применена остроумная методика. Испытуемые порознь смотрели один и тот же фильм, при этом им сообщали, что фильмы не идентичны. В свободной беседе они пытались найти различия. Количественное сравнение неконфигурационных черт в устном дискурсе по-английски с разговорным юте – юто-ацтекским языком, традиционно считающимся не-

конфигурационным, – показало, что само понятие неконфигурационности не наполнено никаким смыслом.

В заключении к третьей главе обсуждается содержание понятия “competence”. Это понятие, как утверждает Гивон, служит прикрытием для лингвистов, которые стремятся свести объект исследования лингвистики к отредактированному письменному языку. Однако результаты эксперимента, проведенного Гивоном, еще раз подтвердили тот факт, что, с одной стороны, грамматика не может на 100% подчиняться правилам, но, с другой стороны, она не может быть и на 100% дискурсивно-обусловленной, подвижной (flexible, emergent). Поскольку грамматика является автоматизированным инструментом для порождения и восприятия речи, уровень ее подчиненности правилам (“генеративности”) не может опуститься ниже 90–80% (данные описанного эксперимента находятся в полном соответствии с этим теоретическим предположением).

Основной теоретический итог этой главы затрагивает статус понятия “компетенции” (“competence”), которое, согласно Гивону, следует реинтерпретировать как тот уровень речевого “употребления” (“performance”), который достигается при максимальной автоматизированности (и, следовательно, подчиненности правилам). При таком понимании понятие компетенции оказывается методологической базой для исследования оперирования информацией в биологических средах.

Четвертая глава (“Human language as an evolutionary product”) содержит междисциплинарные сведения, касающиеся языковой эволюции. Все “продукты эволюции” вырастают из эволюционно более старых систем – основная идея четвертой главы заключается в том, что функционирование человеческого языка вырастает из системы обработки зрительной информации у приматов. Вопросы, относящиеся к этому положению, связаны с врожденными механизмами функционирования языка. Естественно, Гивон включается в пресловутую полемику между генеративистами и функционалистами о модулярности или единстве речемыслительного механизма человека (interactionism vs. modularity) и обсуждает две крайние точки зрения. 1) Все модули, обеспечивающие речевую деятельность, не являются собственно языковыми, они продолжают выполнять свои эволюционно более старые, не связанные с языком функции. 2) Все модули, обеспечивающие речевую деятельность, являются эволюционно новыми или, по крайней мере, существенно измененными для выполнения новой задачи. От функционалиста естественно ожидать приверженности первому из двух положений. Однако

Гивон, склонный придерживаться точек зрения, основанных на фактах, а не на априорных идеологически окрашенных убеждениях, признает, что истинный ответ на этот вопрос еще не найден, и отмечает (как одну из трех возможностей), что искомая истина может оказаться где-то посередине.

Далее Гивон переходит к предположению о том, что в процессе языковой эволюции должны были иметь место два цикла развития языкового кода: появление лексикона и появление грамматики. Следовательно, должны существовать “адаптивные” причины для обоих. Для их выявления в четвертой главе с функционально-адаптивной точки зрения рассматривается человеческая коммуникация.

Сначала уточняются и наполняются новым, в частности, психологическим, содержанием введенные ранее понятия. Рассматриваются на новом витке составляющие системы отражения (“cognitive representation system”).

“Лексикон концептов” (“conceptual lexicon”) описывается как сеть, состоящая из узлов и связей между ними. Эта сеть содержит относительно стабильные лексические концепты. В психологической литературе лексикон концептов обычно называется семантической памятью.

“Пропозициональная информация” (“propositional information”), кодируемая грамматически при помощи клаузы, соответствует тому, что в когнитивной психологии обычно называется эпизодической памятью.

Дискурс (включающий больше, чем одну пропозицию, “multi-propositional discourse”) состоит из более мелких единиц, самые маленькие из которых закодированы как цепочки клауз. В психологии многопропозиционный уровень признается особым уровнем отражения, несмотря на то, что он часто смешивается с уровнем отдельной пропозиции в рамках понятия эпизодической памяти.

Далее Гивон высказывает соображения по поводу коммуникативно-знаковых кодов. Периферийный сенсомоторный код – фонетические слова, т. е. планы выражений слов – включает перцептивное декодирование и артикуляторное кодирование. Особенно подробно обсуждается грамматический код. Грамматика – эволюционно наиболее молодой компонент коммуникации (приводятся факты, подтверждающие это положение). В главе анализируются грамматика как структурный код (в специальной таблице сопоставляются грамматические функции и соответствующие структуры).

Затем обсуждаются и иллюстрируются закономерности пре- и протоморфологической коммуникации с целью продемонстрировать ее

ориентированность на использование лексических, а не грамматических средств, что представляет собой еще один аргумент в пользу того, что эволюционно лексикон предшествует грамматике.

В соответствии с основной задачей четвертой главы описывается нейрофизиология системы обработки зрительной информации у приматов – эта система предстает как несомненно интерактивная и иерархически организованная. Обработка зрительной информации распадается на два потока: узнавание статических объектов и распознавание динамических объектов (эпизодов). Таким образом, устанавливаются ряды соответствий: “распознавание объектов – семантическая память – лексикон” и “пространственные отношения/движение – эпизодическая память – пропозиции”.

Следующий шаг в развитии темы – обзор фактов, связанных с нейрофизиологией языка человека. Разумеется, рассматривается вопрос о том, являются ли модули, вовлеченные в речевую деятельность, предназначенными исключительно для нее или нет.

Обзор фактов – в основном обобщение современных знаний о мозговой локализации функций, различные экспериментальные данные и данные афизиологии – приводит к заключению о том, что нейронные цепи, обеспечивающие речевую деятельность человека, сформировались на базе эволюционно более старых структур, прежде всего – компонентов системы зрительной обработки информации. В поддержку этого утверждения приводятся три группы аргументов. Во-первых, это аргументы в пользу того, что зрительно-жестовая знаковая система преобладала на ранних стадиях коммуникации человека; во-вторых, это аргументы в пользу того, что в дальнейшем произошел переход к устно-слуховой знаковой системе, и наконец, это аргументы в пользу того, что становление грамматики было самым поздним шагом в развитии языка.

Эти положения – и прежде всего последнее – подтверждают представление о языке как о результате эволюции, возникшем путем аналогии и функциональной перестройки нейронных структур, существовавших до появления человека. Иными словами, модули, обеспечивающие речевую деятельность, не новы (эволюционно), и не предназначены исключительно для коммуникации посредством языка. Этот комплекс идей хорошо согласуется с закономерностями освоения родного и неродных языков.

Пятая глава (“An evolutionary account of language processing rates”) по сути дела представляет собой единый комплекс вместе с четвертой. В ней излагаются результаты эксперимента,

подтверждающего гипотезу, согласно которой нейронные механизмы, обеспечивающие обработку языковой информации человеком, являются результатом развития системы обработки зрительной информации у приматов.

Сравнение некоторых известных ранее фактов и новых экспериментальных данных выявило поразительное совпадение временных параметров обработки зрительной информации и порождения речи, что трактуется как подтверждение изложенной выше гипотезы.

Четвертая и пятая главы композиционно и содержательно могут рассматриваться как кульминация всей книги. Последующие главы представляют собой развитие, следствия, иллюстрирование сформулированных в четвертой и пятой главах положений.

Шестая глава ("The diachronic foundations of language universals") переносит рассуждения о законах эволюции в область типологических исследований. Глава начинается с краткой истории представлений о языковом разнообразии и о принципиальном сходстве языков ("diversity vs. univesality"). Затем обсуждаются принципы таксономии явлений, которые описываются типологически. Предлагаются и иллюстрируются функциональный подход к типологии. Основная идея заключается в том, что единственным основанием для сравнения структур должна быть общность или, по крайней мере, схожесть функций. Демонстрируется бесперспективность подхода (от Блумфилда до Хомского), при котором универсалии рассматриваются только в синхронном аспекте. Этот подход уподобляется биологии XVIII века и классификации Линнея. Имеющей объяснительную силу является только эволюционная теория, поскольку структуры, выражающие функции, являются результатом различных путей грамматикализации. Исходные ("source") структуры могут быть разными, но их функциональное содержание всегда имеет какие-то общие черты, лежащие в основе "вырастания" новой функции из старой в процессе грамматикализации. Гивон специально отмечает, что принятый им объяснительный, эволюционный, функциональный подход к типологическим обобщениям был заложен Дж. Гринбергом.

Другое направление развития положений, представленных в четвертой и пятой главах, представляет собой седьмая глава ("The neuro-cognitive interpretation of 'context' "). Одним из центральных объектов рассмотрения в этой главе является избирательное внимание. Кратко обсуждаются уже знакомые объекты: лексикон (= семантическая память) и текст (= эпизодическая память). Специально рассматривается понятие "оперативная память" ("working

memory" = внимание). Оперативная (или кратковременная, "short-term") память определяется как небольшое по объему и времени хранения *вместилище для активированной информации в широком смысле слова, т.е. информации, на которой сконцентрировано внимание*. Она включает осознанное направленное внимание и неосознанные компоненты.

Как не требующий доказательств принимается (и с этим трудно спорить) тот факт, что коммуникация – это взаимодействие систем отражения действительности участников коммуникативного акта. Это взаимодействие основано на принадлежности одной культуре, на общем контексте текущего дискурса и ситуации, что отражается в семантической, эпизодической и оперативной памяти соответственно. Благодаря трем перечисленным компонентам, слушающий получает доступ к референтам дискурса, используемым говорящим.

Затем следует описание экспериментальных данных. Испытуемые должны были пересказывать содержание диалогов. Анализ результатов показал, что испытуемые хорошо помнят роли коммуникантов в диалоге (кто и кому что-то сказал), типы отдельных речевых актов и эксплицитно выраженные переменные, связанные с эпистемической модальностью. Интересно, что в своих пересказах испытуемые никогда не делают таких указаний на эпистемическую оценку передаваемой коммуникантами информации и их речевые интенции, которые были бы основаны на имплицитных грамматических средствах. Грамматика, будучи автоматизированным инструментом для порождения и восприятия речи, автоматизирует – среди прочего – и доступ к постоянно меняющемуся контексту коммуникации.

Таким образом, эпизодическая память формируется и через сознательную, и через бессознательную активацию внимания. Внимание селективно и обеспечивает функционирование сложной системы (а не "честного зеркала") отражения действительности. Релевантность информации и перспектива обеспечивают речевую деятельность в соответствии с принципом "выполний в первую очередь самую срочную задачу", что делает возможным оперирование устно-слуховым языком в необычайно жестких временных рамках. Доведение до сознания информации требует дополнительного времени. Не удивительно, что грамматика – наиболее совершенный и эволюционно молодой инструмент ускорения передачи информации – используется без участия сознания, в частности, и тогда, когда она используется для имплицитной передачи интенции и эпистемических оценок передаваемой информации. В ситуации прессинга речевого

времени большое количество (иррелевантных) деталей “объективной” ситуации должно утрачиваться. Постоянно меняющиеся эпистемически-интенциональные оценки содержания коммуникации релевантны только в момент речи. Именно неосознанное оперирование ими является адекватным результатом адаптации.

Последний вопрос, обсуждаемый в седьмой главе, касается того, как люди моделируют состояние сознания своих партнеров по коммуникации, – делать это необходимо, потому что для осуществления коммуникации требуется, чтобы то, что находится в сфере внимания и “перспектива” в значительной степени были общими для говорящего и слушающего. Самый простой способ достичь этого результата заключается в том, чтобы уподобить свое собственное состояние сознания состоянию сознания другого коммуниканта. Это уподобление вовсе не должно быть осознанным, по всей видимости, оно является результатом эволюционного изменения более примитивных функций.

В восьмой главе (“The grammar of the narrator’s perspective in fiction”) развиваются положения, сформулированные в седьмой главе, в применении к нарративу. Подробно рассматривается еще один аспект перспективы – “голос” рассказчика. Глава построена как анализ нескольких образов современной художественной прозы. Основной вывод этого анализа заключается в том, что даже, если рассказ ведется от третьего лица, в художественной прозе (в отличие от научной и публицистической) происходит постоянная смена перспективы. Эта смена перспективы может быть выражена как лексическими, так и грамматическими средствами. Контроль над сменой перспективы осуществляется рассказчиком от третьего лица. Эти результаты хорошо интерпретируются в рамках эволюционного подхода. Нарратив в художественной прозе представляет собой естественное развитие обычной непосредственной (“face-to-face”) коммуникации, в которой перспектива, разумеется, контролируется говорящим. Художественная проза вводит читателя в непосредственную коммуникацию действующих лиц. Передача контроля над перспективой рассказчику от третьего лица – это прием, служащий для создания воображаемой художественной реальности.

В девятой главе (“The society of intimates”) коммуникация в контексте культуры рассматривается в рамках эволюционного подхода и сама культура представлена как результат адаптации. Законы организации коммуникации в примитивном “обществе своих” (“society of intimates”) сравниваются с законами органи-

зации коммуникации в “обществе чужих” (“society of strangers”).

Доверие и сотрудничество – результат культурной и биологической эволюции – являются основными принципами организации “общества своих”. Эти же принципы лежат в основе “островков близости”, существующих в современных сложных обществах. Социокультурные механизмы сотрудничества “своих” унаследованы от приматов, и поведение в рамках сотрудничества не является сознательным, будучи результатом скорее “ритуализации” или “грамматикализации”, чем сознательного принятия решений. Адаптивные предпосылки для сотрудничества заключаются в том, что в первобытных обществах выживание индивида в огромной степени зависит от выживания других членов сообщества. Тем самым культура и эволюция взаимозависимы и дополняют друг друга.

Основные особенности “общества своих” демонстрируются на примере одного из примитивных сообществ Меланезии. Один из главных принципов этого общества – никаких контактов с чужими, – а также сложный и длительный процесс вхождения “чужого” в сообщество, после чего “чужое” становится “своим”, сравнивается с похожими явлениями в сообществах животных (не только приматов, но и других млекопитающих).

Затем демонстрируются “недостатки” коммуникации в “обществе своих” (на примере сообществ, говорящих на юто-ацтекском языке юте и на чибчанском языке нгобе). Основные принципы такой коммуникации – это направленность на достижение согласия и следование культурным канонам, в связи с чем культура может рассматриваться как механизм автоматизированного социального поведения.

Недостатками коммуникации в “обществе своих” являются замедленный процесс принятия решений и стандартность результата. Изменения в экономике приводят к изменению общественной системы. Для решения новых задач становится необходимой иерархическая (вертикальная) организация, которая предполагает коммуникацию с чужими. “Общество чужих” (как и биологическая популяция) неоднородно. Его неоднородность создает основу для эволюционирования от “общества своих” к сложноорганизованному современному “обществам чужих”.

Свойством последнего является создание нового типа общности и однородности с помощью информационных средств и одновременно сохранение сфер близкого общения. В сложных современных обществах существует сложившийся в процессе адаптации механизм

обращения к сознательному принятию решения в нестандартных культурных контекстах.

Последняя забавная (и грустная) десятая глава ("On the ontology of academic negativity") перемещает читателя из дружелюбного "общества своих" в академические сферы, которые характеризуются как "маленький пруд, полный голодных акул". В главе обсуждаются философские, лингвистические и антропологические причины "негативизма" в научной среде.

Гивон обращается к философии науки и показывает логические бреши в построении современных научных теорий. Поскольку логическая непровержимость научных теорий не может быть достигнута, соревновательный момент в науке неизбежен. Соревновательность в данном случае означает отрицание чужих мыслей и теорий. Лингвистический анализ отрицания в научном дискурсе показывает, что оно отличается от собственно логического. В научной полемике не столько отрицаются отдельные утверждения, сколько делается указание на то, "что лелеемые оппонентом убеждения неверны и что говорящий знает лучше". Более того, поскольку в большинстве культур идеи ("дети чьего-то разума") трактуются как неотъемлемые части тела, отрицание чьих-то идей означает и отрицание их автора. Антропологические причины для враждебности в научной среде таковы: в "обществе своих" выражение отрицания может привести к отчуждению, губительному для индивидуума, но в "сообществе чужих" человек может переместиться и создать новые социальные отношения.

Таким образом, десятая глава является композиционно, но не содержательно последним штрихом в обосновании эволюционного подхода к языку и в стирании грани между биологической эволюции, с одной стороны, и эволюции языка и культуры – с другой.

Эпилог, в котором из научного фона выделяется фигура Джозефа Гринберга, звучит в некоторой степени оптимистично.

Эта книга заставит одного читателя задуматься о своей научной и философской платформе или переосмыслить ее, другого – напротив, укрепиться в своих взглядах благодаря коммуникации с единомышленниками, а именно с самим автором "Биолингвистики" и с другими исследователями, открывающими свои мысли и научные позиции в многочисленных разноплановых выдержках, приводимых в книге.

Читатель оказывается вовлеченным в живую полемику, представляющую собой суть современной лингвистики. Автор "Биолингвистики" не равнодушный сторонний наблюда-

тель этих давно тянущихся дебатов, он яростный защитник системы функционалистских (противопоставляемых формалистским) идей.

Уровень обобщения, принятый в этой книге, невероятно высок – возможно, он максимально высокий для книги о языке – что нашло свое отражение в названии. При этом оказалось чрезвычайно трудным представлять текст в сокращенном и обобщенном виде, как требует жанр рецензии, поскольку при высочайшем уровне обобщения положения, формулируемые на всех без исключения уровнях иерархии текста, связаны между собой, и концепция перестает иметь смысл при изъятии хотя бы одного из них.

Не все компоненты собственно информационной составляющей книги, а также более или менее частные соображения являются новыми: с большей их частью можно было ознакомиться в многочисленных предыдущих публикациях Т. Гивона (прежде всего, [Givón 1979a; 1979b; 1984; 1990; 1995]). Некоторые фрагменты повторяются дважды даже в "Биолингвистике". Но эффект *déjà vu* обманчив. Включенные в различные контексты, одни и те же факты и идеи демонстрируют различные аспекты целостной теории.

Что касается самой теории, то она представляется глубоко и разносторонне обоснованной и органичной. Аргументация, исполненная здравого смысла, заставляет читателя принять теорию и присоединиться к сообществу биолингвистов. Биолингвистика представляет собой новую ступень в обобщении огромного количества исследований, многие из которых уже сами по себе являлись обобщающими. Я думаю, что появление этой книги открывает новый этап развития лингвистики.

Как всякая концептуальная книга "Биолингвистика" не может не вызывать по крайней мере некоторых возражений. Так, например, Гивон в разных контекстах несколько раз говорит о том, что чем выше стадия, на которой осуществляется оперирование языком, тем больше оно автоматизировано и тем меньше при этом совершается ошибок. Между тем, мои многолетние наблюдения над отклонениями в русской устной речи позволяют утверждать, что в речи образованного взрослого едва ли меньше ошибок, чем в речи трехлетнего. Большинство ошибок взрослых являются как раз следствием скорости протекания речевых процессов, которая достигается автоматизацией.

Кроме того, что "Биолингвистика", несомненно, является лингвистическим исследованием нового типа, это еще замечательный учебник, позволяющий воспитать здравомыслящего лингвиста, который не испугается ни

мельчайших деталей частного исследования, ни теоретических высот обобщающей теории.

“Биолингвистика” очень живая и веселая книга. Чувствуется, что ее автор не раз пробовал свое перо в художественной прозе. Хотя к последней “Биолингвистика”, разумеется, не относится, представляется вполне уместным говорить о ее литературных достоинствах. В частности, возникает приятная иллюзия непосредственной (face-to-face) коммуникации с автором, что в полной мере соответствует жанру – курсу лекций. Даже без проведения специальных подсчетов можно быть уверенным в том, что средний индекс частотности слова (обратно пропорциональный разнообразию лексических единиц) в этой книге гораздо ниже, чем обычно бывает в научном тексте. Изложение строится с опорой на многочисленные и разносторонние культурно значимые ассоциации. Я думаю, “Биолингвистика” является не только лингвистическим, но и общекультурным событием.

Единственное, что огорчает русского читателя в этой книге, это то, что в огромном списке литературы не упоминается ни одного русского автора. А между тем, идеи, развиваемые в русской нейрофизиологии, психологии, лингвистике как в современной, так и в классической – я имею в виду, прежде всего, школу Выготского–Лурия и их многочисленных последователей, – очень созвучны Гивону. А связанные с именем Бахтина идеи русского литературоведения, касающиеся законов поли-

фонии в художественном тексте, созвучны тем разделам книги Гивона, где анализируются закономерности смены перспективы в художественной прозе. Разумеется, сказанное не является упреком Гивону, а лишь сожалением о том, как сложилась ситуация в отечественной науке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Givón 1979a – *T. Givón*. On understanding grammar. New York, 1979.
- Givón 1979b – *T. Givón*. From discourse to syntax: grammar as a processing strategy // *T. Givón* (ed.). Discourse and syntax. New York; San Francisco; London, 1979.
- Givón 1984 – *T. Givón*. Syntax: A functional-typological introduction. V. I. Amsterdam, 1984.
- Givón 1990 – *T. Givón*. Syntax: A functional-typological introduction. V. II, Amsterdam, 1990.
- Givón 1995 – *T. Givón*. Functionalism and grammar. Amsterdam, 1995.
- Hopper 1987 – *P. Hopper*. Emergent grammar. Berkeley, 1987.
- Hopper 1991 – *P. Hopper*. On some principles of grammaticalization // *E.C. Traugott, B. Heine* (eds.). Approaches to grammaticalization. Amsterdam, 1991.

М.В. Пусакова

What makes grammaticalization?: A look from its fringes and its components / *W. Bisang, N. Himmelmann, B. Wiemer* (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2004. 354 p.

Становление современной “теории грамматикализации” как особого направления исследований правомерно связывается с выходом монографии немецкого лингвиста Кристиана Лемана “Размышления о грамматикализации” в 1982 г. (ср. также переиздание [Lehmann 1995]). С тех пор на протяжении уже более 20 лет это направление переживает бурное развитие, и наряду с монографиями К. Лемана, Б. Хайне, П. Хоппера, Э. Траугот, Дж. Байби и др. проблематика, связанная с процессами грамматикализации, обсуждалась в целом ряде сборников статей – см., например, двухтомник “Подходы к грамматикализации” [Traugott, Heine (eds.) 1991], а также последовавшие за ним “Перспективы грамматикализации” [Pagliuca (ed.) 1994], “Пределы грамматикализации” [Giacalone Ramat, Hopper (eds.) 1998], “Новые размышления о грамматикализации” [Wischer, Diewald (eds.) 2002] и пр.

В ряду публикаций, посвященных текущему состоянию исследований в данной области, особое место занимает и недавний сборник “Что составляет грамматикализацию: взгляд со стороны ее периферии и ее компонентов”. Его основу составили работы, написанные по материалам докладов на семинаре “Грамматикализация vs. лексикализация”, проведенного в 2001 г. в г. Констанц (Германия). Как отмечают во вводной статье редакторы сборника Б. В и м е р и В. Б и з а н г, участников семинара интересовали не только (и не столько) “классические” случаи грамматикализации типа перехода полнозначного слова в грамматический показатель, сколько случаи спорные и “промежуточные”. Традиционные параметры грамматикализации, в том числе и те, которые обсуждаются в знаменитой работе К. Лемана, далеко не всегда представляются необходимыми (или же достаточными) для адекватной характеристики грамматических явлений. На пе-

ресецинии грамматики и лексики, грамматики и фонологии, грамматики и прагматики создаются своего рода “периферийные зоны”, которые с трудом поддаются описанию и объяснению в традиционных терминах. В связи с этим, ощущается потребность в разработке “расширенной” теории грамматикализации, которая учитывала бы не только ядерные компоненты (core components) данного процесса, но и его периферию (fringes). Наиболее перспективным представляется подход, рассматривающий конструкцию как основную единицу, подвергающуюся грамматикализации; альтернативные подходы – например, чисто “категориальный” (category-based), т.е. ориентированный исключительно на семантические изменения, или чисто “морфологический” (morpheme-based), отводящий ведущую роль утрате автономности языковым знаком, – не позволяют адекватно охарактеризовать соотношение между грамматикализацией и другими типами языковых изменений.

Поскольку подавляющее большинство авторов сборника живут и работают в Германии, он дает достаточно полное впечатление о том, что можно назвать “немецкой школой” исследований по грамматикализации. Другая особенность этой книги (важная и для российского читателя) состоит в том, что значительная часть составляющих ее работ посвящена грамматическим явлениям славянских языков. Исследование процессов грамматикализации в славянских языках занимает пока достаточно скромное место в рамках “теории грамматикализации”¹, поэтому такое “массовое” привлечение славянского материала можно только приветствовать.

Помимо вводной статьи в сборник вошло десять работ, объединенных в четыре группы: “Общие проблемы”, «Создание грамматики “снизу” и “сверху”»: Между фонологией и прагматикой», “Грамматическое словообразование” и “Роль лексической семантики и конструкций”. Рассмотрим вначале содержание статей, посвященных более общим вопросам и не затрагивающих материал славянских языков.

В статье “Лексикализация и грамматикализация: противоположны или ортогональны?” Н. Химмельман справедливо указывает на то, что при характеристике данных процес-

сов ведущую роль нередко играет так называемая “метафора ящика” (box metaphor): лексика и грамматика представляются в виде двух ящиков, а процесс перехода в одну или другую сторону – в виде “перекладывания” вещей из одного ящика в другой. Это создает иллюзию того, что процессы лексикализации и грамматикализации строго противоположны по направлению (а кроме того, это способствует обманчивому представлению о том, что можно провести строгую границу между лексикой и грамматикой, разделив их по разным “ящикам”). Более адекватен другой подход, который можно назвать “процессным”: стоит четко указать, какие типы процессов имеют место в каждом из случаев и уже на основании этого решить, противоположны лексикализация и грамматикализация или нет. Принципиальное различие между двумя этими явлениями состоит в степени лексической обобщенности (lexical generality): лексикализация применяется к индивидуальным языковым единицам, создавая из сочетания элементов X и Y новую единицу XY (ср. нем. *Vergissmeinnicht* ‘незабудка’, исходно “забудь-меня-не”), т.е. сочетаемость в данном случае предельно сужается. В процесс же грамматикализации вовлечены множество единиц: элемент X начинает сочетаться с целым классом единиц Y, и происходит все большее расширение сочетаемости грамматикализуемого показателя. Такое расширение контекстов употребления показателя (или его “экспансия”) имеет место при грамматикализации на нескольких уровнях: происходит генерализация значения, увеличивается число лексем, с которыми сочетается грамматикализуемый показатель (например, артикль начинает сочетаться с собственными именами или названиями уникальных объектов), расширяется круг синтаксических контекстов, в которых допустим показатель (например, артикль исходно используются в ядерных аргументных позициях и лишь затем в периферийных). В целом, автор приходит к выводу о том, что грамматикализация и лексикализация являются далеко не “зеркальными” отображениями друг друга. Вместе с тем, у обоих явлений есть общие свойства – они представляют собой разные типы “конвенционализации” языковых выражений: их отправным пунктом являются частотные комбинации лексических единиц в дискурсе, а результатом – устойчивые способы выражения определенного содержания.

Соотношение грамматикализации и фонетических изменений является предметом суждения в работе Л. Гаэты «Исследование грамматикализации “снизу”». Если под грамматикализацией “сверху”, т.е. со стороны более высокого языкового уровня (синтаксичес-

¹ Отметим при этом, что в последние годы вышло сразу несколько тематических сборников, посвященных процессам грамматикализации в английском языке, в том числе на материале корпусных исследований; см. [Fischer et al. (eds.) 2000; Lindquist, Mair (eds.) 2004].

кого), понимается стандартное развитие конструкции в грамматический показатель (т.е. развитие “от синтаксиса к морфологии”), то грамматикализация “снизу” происходит в результате реинтерпретации фонетических чередований (“от фонетики к морфологии”). Так, умлаут в германских языках, исходно связанный с гармонией гласных, со временем утратил чисто фонетическую мотивацию и стал средством выражения грамматических противопоставлений (ср. англ. *foot* ‘нога’, ед. число ~ *feet* ‘ноги’, мн. число). В разговорном французском языке глагольное окончание 3-го лица ед. числа *-t* исчезло в позиции перед паузой, однако сохранилось, например, в вопросительной конструкции с инверсией местоимения (ср. *il part / i'paʁ/ 'он уходит' ~ part-il? /paʁ'ti/ 'уходит ли он?'*), в результате чего последовательность / *t* / стала восприниматься как показатель вопроса и распространялась на всю глагольную парадигму (ср. *j'aime-ti?* ‘люблю ли я?', *tu aimes-ti?* ‘любишь ли ты?', *il aime-ti?* ‘любит ли он?'). Статья содержит массу примеров подобных типов языкового развития, прежде всего из романских и германских языков. Закономерный вывод, который делает автор, состоит в том, что система языка по сути своей “морфоцентрична”: морфологические грамматические показатели могут возникать как “сверху”, из слов, так и “снизу”, из фонетического материала, т.е. имеет место своего рода “центробежное” развитие от синтаксиса к морфологии и от фонетики к морфологии. Признание направленности языковых изменений “центробежной” позволяет, по мнению автора, избежать некоторых проблем, связанных с гипотезой о принципиальной “однонаправленности” грамматикализации.

В статье С. Гюнтер и К. Мутц “Грамматикализация или прагматикализация? Развитие прагматических маркеров в немецком и итальянском языках” рассматривается достаточно актуальная в последние годы проблема дискурсивной природы грамматикализации. Как было показано в свое время в работах Э. Трауготт, грамматические показатели в ходе своей эволюции движутся в сторону все большей “субъективизации” значения: языковые единицы с более объективным “пропозициональным” значением могут постепенно приобрести “текстовое” или “экспрессивное” значение, т.е. начать использоваться в дискурсивной либо прагматической функции (см. [Traugott 1990; 1995; 2003; Traugott, König 1991]). К. Гюнтер и К. Мутц описывают два примера аналогичного развития: немецкие подчинительные союзы *obwohl* ‘хотя, несмотря на’ и *wobei* ‘причем’ стали использоваться как дискурсивные слова, указывающие на коррекцию

утверждения или несогласие со стороны говорящего, а итальянские “модифицирующие” суффиксы (главным образом диминутивные или аугментативные) *-ino-*, *-etto-*, *-uccio-*, *-one-* и пр. приобрели функцию маркеров определенного стиля общения (например, с детьми или животными) либо подчеркнутой мягкости высказывания (например, при просьбах или извинениях). Данный тип развития далеко не во всем совпадает с классической грамматикализацией (так, сфера действия дискурсивного слова не сужается, а расширяется от уровня предложения к уровню фрагмента дискурса), поэтому авторы склонны рассматривать подобные примеры “прагматикализации” как близкий к грамматикализации, однако “несколько отличный (под)тип языковых (диахронических) изменений” (с. 99).

Ареальные особенности грамматикализации в изолирующих языках рассматривает В. Бизанг в своей статье “Грамматикализация без коэволюции формы и значения: вид-время-модальность в Восточной и Юго-Восточной Азии”. Согласно известной гипотезе Дж. Байби и ее коллег, для развития грамматических показателей характерна “параллельная динамическая коэволюция (coevolution) значения и формы”: положение грамматизируемого элемента на шкале фонетического развития коррелирует с его положением на шкале семантических изменений [Bybee et al. 1994: 20]; это означает, говоря упрощенно, что чем более обобщенное и абстрактное грамматическое значение выражает показатель, тем более он морфологизуется и становится обязательным. По мнению В. Бизанга, языки Восточной и Юго-Восточной Азии являются в этом отношении исключением: во многих из них имеются видо-временные показатели, значения которых близки к значениям, выражаемым в европейских языках словоизменительными средствами; тем не менее, в изолирующих языках Азии такие показатели не являются ни обязательными, ни частотными, а нередко для них трудно сформулировать определенный “инвариант”, поскольку в зависимости от контекста их значение может быть и временным, и аспектуальным, и модальным. Тем самым, ареальной особенностью рассматриваемых в статье языков является отсутствие “однозначного соответствия между категориями, ассоциируемыми с высокой степенью грамматикализации, и конкретным типом их выражения” (с. 134). Данная ситуация подробно иллюстрируется на примере вспомогательного глагола ‘получить, приобрести’ (‘come to have’), характерного для нескольких языков ареала, а также китайского показателя *le* (точнее, двух

его разновидностей – прилагательного *-le* и конечного *le* в предложении). Так, сочетание с глаголом ‘получить’ в одном и том же предложении может иметь и модальное значение возможности (‘может, способен; можно, разрешено’), и значение прошедшего времени (особенно при отрицании), и подчеркнутое асертивное значение (действительно, точно имело / будет иметь место’). Автор предполагает, что причиной “нестандартного” поведения грамматических показателей в языках Азии является, с одной стороны, слабая корреляция между лексикой и морфосинтаксисом (одна и та же единица может достаточно свободно выступать в разных синтаксических позициях, в том числе в функции модификатора другого слова), а, с другой, характерная “неопределенность” (indeterminateness) языковой структуры – и отсутствие обязательных синтаксических аргументов, и отсутствие обязательных грамматических показателей приводят к тому, что ведущую роль приобретает контекст и прагматическая интерпретация высказывания.

Статья Э. Кёнига и Л. Веццоци “Роль значения предиката в развитии рефлексивности” затрагивает актуальный для “теории грамматикализации” вопрос о том, в каких именно контекстах языковая единица начинает приобретать грамматический статус. В качестве ключевого для развития рефлексивных показателей авторы отмечают противопоставление глаголов, обозначающих “направленные на другого участника” (other-directed) либо “ненаправленные на другого участника” (non-other-directed) действия. Типичными “ненаправленными” лексемами являются глаголы ухода за телом (‘умывать’, ‘брить’, ‘одевать’ и пр.), а также ‘защищать’, ‘прятать’, ‘гордиться’ и т.п. Поскольку для таких глаголов совпадение одного из участников с другим не является максимально неожиданным, рефлексивность для них либо никак не маркируется (ср. англ. *he washed* ‘он умылся’), либо маркируется “легкими” языковыми средствами – глагольными аффиксами (ср. русск. *одевает-ся*) или простыми возвратными частицами (ср. швед. *sig*). “Направленность на другого” описывают глаголы физического воздействия, эмоций, а также такие, как ‘помогать’, ‘влиять’, ‘нанимать’ и пр. и симметричные предикаты (‘встречаться’, ‘целоваться’). Совпадение двух участников в одном лице для таких ситуаций менее ожидаемо, поэтому (вследствие принципа иконичности) рефлексивность маркируется у глаголов данного класса более “тяжелыми” средствами (например, сложными возвратными местоимениями, которые “усиливаются” интенсификатора-

ми типа русск. *сам* или англ. *self*)². На примере германских языков авторы демонстрируют, как противопоставление “направленных” и “ненаправленных” глаголов влияет на различные морфосинтаксические процессы, в том числе не связанные с рефлексивизацией (ср. нейтральную интерпретацию номинализаций в английском языке: *John’s defense* ‘защита Джона себя от кого-либо’ vs. *John’s attack* ‘нападение Джона на кого-либо’). На материале древнеанглийского и среднеанглийского языка иллюстрируется процесс грамматикализации рефлексивных местоимений с интенсификатором *-self* от контекстов с “направленными” глаголами (где интенсификатор использовался для снятия неоднозначности в 3-м лице) к широкому кругу контекстов с глаголами других семантических классов.

Обратимся теперь к работам, в которых в рамках современной “теории грамматикализации” анализируются данные славянских языков.

Две статьи сборника посвящены русскому глагольному виду и тем проблемам, которые возникают при его анализе в рамках “теории грамматикализации”. Ф. Леман в статье “Грамматикализация посредством регулярного словообразования” рассматривает вопрос о том, является ли глагольный вид грамматической категорией в русском языке и, если да, то какие именно параметры грамматикализации на это указывают. По мнению автора, таким параметром можно считать максимальную продуктивность словообразовательных аффиксов, или “дистрибутивное расширение” (distributional extension). Благодаря процессу “расширения” исходное лексическое противопоставление между некоторыми непроизводными основами и их дериватами перешло в грамматическое противопоставление между “всеми” глагольными лексемами русского языка. Развитие русского (и шире – славянского) вида не укладывается в “узкое” понимание грамматикализации: хотя изменение значения следует классическому пути “от более конкретного (пространственного) к более абстрактному (аспектуальному)”, средства выражения остаются неизменными на протяжении многих веков и противопоставление сохраняет свой словообразовательный характер. Тем самым, славянский глагольный вид являет собой пример того, что процесс грамматикализации может состоять лишь в изменении дистрибуции и функции языковых единиц – происходит “переход от лексического к грамматичес-

² См. подробнее об интенсификаторах и их связи с рефлексивами [Лютикова 2002].

тому статусу без какого-либо изменения внешней формы” (с. 169).

В отличие от работы Ф. Лемана, в которой обсуждение ведется на достаточно абстрактном теоретическом уровне, статья К. Бётгера “Словообразовательная грамматикализация: русские видовые приставки *по-*, *за-* и *от-*” носит скорее дескриптивный характер. Большая ее часть посвящена эволюции славянского вида, основой которой послужили, как известно, словообразовательные противопоставления по итеративности (которая выражалась суффиксально) и предельности (для подчеркивания которой использовались приставки). Глагольные префиксы исходно имели чисто пространственное значение, позже приобрели аспектуальное и лишь в последнюю очередь (и то лишь отчасти) – темпоральное. В качестве иллюстрации данного положения автор рассматривает семантическое развитие глаголов с приставками *по-*, *за-* и *от-*, начиная от языка “Повести временных лет” и до современного состояния. В функции “временных ограничителей” эти приставки зафиксированы лишь в достаточно поздних памятниках (начиная с XV–XVI вв.): приставка *от-* приобретает фазовое значение завершенности (ср. совр. *отпеть* ‘закончить петь’), приставка *за-* – начальное значение (ср. *забегать* ‘начать бегать’), а приставка *по-* также начальное, а затем делимитативное значение (ср. *потечь* ‘начать течь’ или *поварить* ‘варить некоторое время’). Заметим, однако, что приводимые на с. 201–202 английские переводы не всегда представляются адекватными: ср., например, неверные толкования современных лексем *закопать* ‘to begin digging’, *заколоть* ‘to begin pricking’, *отстроить* ‘to stop building’, *посеять* ‘to start to sow’.

Статья Б. Ханзена “Модальные глаголы и границы грамматикализации” базируется на данных русского, польского и сербохорватского языков. Различные критерии грамматикализации – например, степень семантической обобщенности, формальная редукция, обязательности, вхождение в парадигматический ряд, сужение сферы действия и пр. – позволяют расположить модальные глаголы разных языков на шкале от полнозначных лексем до грамматических показателей. В целом, однако, для славянских модальных глаголов характерна “средняя” степень грамматикализации (в отличие, например, от германских языков – ср. англ. *can*, *may*, *must* и пр., образующие особый морфосинтаксический класс). Это подтверждает общее впечатление о том, что славянские языки, в особенности русский и польский, в каком-то смысле “сопротивляются” процессам грамматикализации (с. 245). Достаточно подробно описываются так называемые “постмо-

дальные” (в терминах работы [Auwera, Plungian 1998]) значения глаголов, т.е. пути их дальнейшей грамматикализации в видо-временные показатели (например, эвиденциальные, футуральные, условные или императивные). Как правило, впрочем, эти показатели также остаются лишь на периферии грамматической системы. Что касается русского материала в данной работе, то не со всеми интерпретациями автора можно согласиться. Так, понимание фразы *Я хотел было упасть* как ‘I was about to fall’ (т.е. ‘я чуть было не упал’) представляется по меньшей мере сомнительным; напротив, комбинация модальных глаголов в примере *Каждый студент должен мочь перевести газетную статью* выглядит достаточно нейтрально, хотя характеризуется автором как “чрезвычайно редкая” и приводится под знаком вопроса (с. 256, 263).

Статья известного в нашей стране швейцарского слависта Д. Вайса “Возникновение неопределенного артикля: история македонского *еден*” представляет интерес не только для славяноведения, но и для общей типологии в целом. Числительное ‘один’ является диахроническим источником неопределенного местоимения и неопределенного артикля во многих языках мира. В македонском *еден* в роли артикля находится еще только “в начале пути”, и в данной работе типы употреблений этой языковой единицы обсуждаются достаточно подробно (на материале корпуса македонских текстов); при этом проводится сопоставление как с “настоящими” неопределенными артиклями романских и германских языков (типа англ. *a/an*, этимологически также тождественного *one* ‘один’), так и с близкими единицами славянских языков, для которых грамматикализация артикля характерна еще в меньшей степени, чем для македонского. Для установления последовательных этапов грамматикализации македонского *еден* Д. Вайс использует семантическую карту М. Хаспельмата [Haspelmath 1997], на которой отражены функции неопределенных местоимений³; при этом, высказывается мнение о том, что некоторые особенности употребления неопределенных артиклей могут указывать на необходимость пересмотра данной карты. Вместе с тем, один из основных выводов статьи состоит в том, что дистрибуция неопределенного артикля определяется не только референциальным статусом;

³ О методике семантического картирования см. также [Татевосов 2002], где на новом материале обсуждаются поправки и дополнения к карте М. Хаспельмата (к сожалению, в статье Д. Вайса данная работа не учтена).

более “сильным” фактором может оказаться синтаксический, т.е. дополнительная спецификация именной группы за счет определений или относительного предложения. Доминирование синтаксического фактора оказывается характерным не только для македонского языка, но и для балканского языкового ареала в целом.

Завершающая сборник статья Б. В и м е р а “Эволюция пассивов как грамматических конструкций в северных славянских и балтийских языках” является самой большой по объему и, пожалуй, наиболее фундаментальной по замыслу. В ней автор достаточно детально описывает процесс диахронического развития пассивных конструкций в славянских и балтийских языках (основное внимание уделено польскому и русскому, с одной стороны, и литовскому и латышскому, с другой). При этом в качестве теоретической базы для анализа пассива автор использует некоторые понятия референциально-ролевой грамматики (РРГ) Р. Ван Валина и др., прежде всего понятия актора (*Actor*) и претерпевающего (*Undergoer*); см. подробнее [Van Valin, LaPolla 1997]. Последовательно рассматривается эволюция и современное функционирование четырех основных “составляющих” славянских пассивных конструкций: а) возвратных частей/аффиксов, восходящих к **se*; б) результативных/пассивных причастий с суффиксами *-n/-t-* и *-m-*; в) вспомогательных глаголов-связок (прежде всего, польск. *zostać* и латыш. *ikt* ‘стать’); г) средств выражения агентивного дополнения (прежде всего это инструментальный падеж и различные предложные группы). В заключении Б. Вимер, как и авторы ряда других статей сборника, пытается оценить степень грамматикализации славянских и балтийских пассивов с точки зрения критериев, предлагаемых в классической работе К. Лемана. Большая часть критериев оказывается, однако, неприменима, исключение составляет лишь “парадигматическая вариативность”: так, в большинстве языков наблюдается закрепление одного средства выражения агенса (среди нескольких конкурирующих), то же относится и к использованию вспомогательного глагола. Задаваясь вопросом о том, что означает данная ситуация – то, что критериев К. Лемана недостаточно для определения всех примеров грамматикализации, либо то, что пассив вообще не представляет собой пример грамматикализации, – автор склоняется к первому из ответов. Пассив является особой синтаксической конструкцией и для его характеристики недостаточны параметры, ориентированные исключительно на морфологизацию какой-то определенной языковой единицы. Кроме того, пассив занимает осо-

бое положение среди грамматических категорий – он не меняет лексическое значение глагола, но и не является обязательным в том смысле, в котором обязателен выбор определенного падежа или согласовательного показателя. Поэтому для определения степени грамматикализации пассива следует применять дополнительные критерии – например, имеются ли лексические ограничения на образование конструкции, существуют ли конкурирующие морфосинтаксические средства выражения пассива и насколько четко они распределены и т.п.

Подводя итоги, отметим, что как по своей композиции, так и по типу аргументации статьи данного сборника имеют много общего не только между собой, но и со значительной частью других работ последних лет по соответствующей тематике. Авторы рассматривают какое-либо грамматическое явление конкретного языка (или группы языков), которое интуитивно и/или согласно традиционным представлениям относится к ядру грамматической системы. Вместе с тем, формальный анализ явлений в терминах классической “теории грамматикализации” (прежде всего, в русле подхода, сформулированного К. Леманом в его выдающейся работе) нередко приводит к нежелательным или не удовлетворяющим исследователя результатам. Причины этого могут заключаться как в том, что важнее оказывается не общая “сумма” значений параметров, но их больший или меньший “вес” (на что указывал в свое время и сам К. Леман), так и в том, что традиционная “теория грамматикализации” нуждается в обновлении с учетом тех новых идей, которые появились в последние годы. Не исключено, что на новом этапе развития “теории грамматикализации” трудности, связанные с анализом “нестандартного” (в том числе славянского) языкового материала, будут преодолены. Однако, насколько скоро можно ожидать наступление такого нового этапа, покажет будущее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лютикова 2002 – Е.А. Лютикова. Когнитивная типология: рефлексивы и интенсификаторы. М., 2002.
- Татевосов 2002 – С.Г. Татевосов. Семантика составляющих именной группы: кванторные слова. М., 2002.
- Auwers, Plungian 1998 – J. van der Auwers, V. Plungian. Modality's semantic map // Linguistic typology 2.1. 1998.
- Bybee et al. 1994 – J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, as-

- pect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Fischer et al. (eds.) 2000 – O. Fischer, A. Rosenbach, D. Stein (eds.). Pathways of change: Grammaticalization in English. Amsterdam, 2000.
- Giacalone Ramat, Hopper (eds.) 1998 – A. Giacalone Ramat, P.J. Hopper (eds.). The limits of grammaticalization (Typological studies in language. V. 37.) Amsterdam, 1998.
- Haspelmath 1997 – M. Haspelmath. Indefinite pronouns. Oxford, 1997.
- Lehmann 1995 – Ch. Lehmann. Thoughts on grammaticalization: a programmatic sketch. Munich, 1995.
- Lindquist, Mair (eds.) 2004 – H. Lindquist, C. Mair (eds.). Corpus approaches to grammaticalization in English. Amsterdam, 2004.
- Pagliuca (ed.) 1994 – W. Pagliuca (ed.). Perspectives on grammaticalization. Amsterdam, 1994.
- Traugott 1990 – E.C. Traugott. From less to more situated in language: the unidirectionality of semantic change // Papers from the 5th International conference on English historical linguistics. Amsterdam, 1990.
- Traugott 1995 – E.C. Traugott. The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Paper presented at the 12th International conference on historical linguistics (ICHL), Manchester, August 1995.
- Traugott 2003 – E.C. Traugott. Constructions in grammaticalization // B.D. Joseph, R.D. Janda (eds.). The handbook of historical linguistics. Oxford, 2003.
- Traugott, Heine (eds.) 1991 – E.C. Traugott, B. Heine (eds.). Approaches to grammaticalization (Typological studies in language. V. 19.) Amsterdam, 1991.
- Traugott, König 1991 – E.C. Traugott, E. König. The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited // E.C. Traugott, B. Heine (eds.). Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam, 1991.
- Van Valin, LaPolla 1997 – R.D. van Valin, R.J. LaPolla. Syntax: Structure, meaning and function. Cambridge, 1997.
- Wischer, Diewald (eds.) 2002 – I. Wischer, G. Diewald (eds.). New reflections on grammaticalization (Typological studies in language. V. 49). Amsterdam, 2002.

T.A. Маїсак

M.-C. Paris. Linguistique chinoise et linguistique générale. Paris: L'Harmattan, 2003. 172 p.

Книга Мари-Клод Парис¹ “Китайское языкознание и общее языкознание” составлена из статей, опубликованных в период с 1988 по 1996 гг. в журналах, в частности, “Cahiers de linguistique – Asie Orientale”, “Faits de langue” и “Cina”, в сборниках статей, а также в сборниках материалов различных конференций.

Профессор М.-К. Парис преподает в Парижском университете-VII (Дени Дидро). Она – одна из ведущих современных французских китайствов-лингвистов, автор большого числа статей и ряда монографий [Paris, Coyaud 1976; Paris 1979; 1981; 1989; 1997 и др.], член Института Франции (l'Institut Universitaire de France). М.-К. Парис занималась исследовательской работой также и в США.

Рецензируемая книга представляет собой, как свидетельствует сам автор, – и по проблематике, и по методам исследования – продолжение работы “Китайское и общее языкознание: некоторые методы и подходы”, опубликованной в 1989 г. [Paris 1989]. Предмет исследования – современный нормативный об-

щественноязычный китайский язык (le chinois standard, le mandarin). Основным аспектом рассмотрения является взаимодействие синтаксиса и семантики. Каждая из статей посвящена анализу той или иной проблемы грамматики китайского языка (КЯ), проводимому на основе методов общего языкознания.

Автор книги совершенно справедливо отмечает, что в языкознании не существует устоявшейся традиции (как автохтонной, так и неавтохтонной) изучения грамматики китайского языка. Не сформирован сам понятийный аппарат исследования, и с этим сталкивается всякий, кто вступает в эту область. Автор книги выражает надежду, что его работа внесет определенный вклад в формирование такого понятийного аппарата.

В вошедших в книгу работах рассматривается ряд проблем, которые разрабатывались в 70–90-е годы XX в. как в китайском, так и в общем языкознании, а именно, проблема тематизации и фокализации, типы предикации (в частности, противопоставление событийной и несобытийной предикации), статус китайского языка в типологической и когнитивной перспективе.

Книга состоит из введения и трех частей, каждая из которых включает несколько ста-

¹ Конечная буква *s* в фамилии *Paris* произносится (в отличие от конечной *s* в омографичном данной фамилии названии города).

тей, объединенных по тематике. Библиография дается к каждой статье отдельно.

В **первой части**, озаглавленной «**Синтаксис и прагматика: порядок слов**», основное внимание уделяется порядку слов как в простых, так и в сложных предложениях. Общая проблематика этого раздела – топиализация и фокализация. В этой части представлено две статьи: «Синтаксическая позиция и дискурсивная значимость: китайское *ye* ‘тоже’» (1994) и «Подчинение в КЯ: некоторые ограничения на порядок слов» (1996).

Основной тезис первой из указанных статей состоит в том, что нельзя утверждать, что в КЯ синтаксическая позиция и дискурсивная значимость связаны взаимно-однозначным соответствием. В этой статье автор полемизирует с Ф. Цао [Tsao 1990].

Ф. Цао предлагает шесть семантико-синтаксических тестов для определения толика; вводит разграничение первичного и вторичного толика; утверждает, что именная группа, вводимая конструкцией *lian...yeldou* ‘даже... и то...’, относится к наиболее ярко выраженным, прототиписическим топикам. Кроме того, на протяжении всей книги Ф. Цао проводит идею, что в КЯ существует четкая корреляция между синтаксической позицией и дискурсивной ролью: инициальные (превербальные) позиции в предложении являются тематическими (топиковыми), финальные (поствербальные) – рематическими.

Полемизируя с Ф. Цао, М.-К. Парис утверждает, что дискурсивная роль именной группы (ИГ) не может быть установлена без обращения к дискурсу, в рамках одного высказывания. Более надежным способом определения дискурсивной роли ИГ, чем предлагаемые Ф. Цао тесты, является методика постановки вопросов к высказыванию. М.-К. Парис показывает, что структура вопросительного предложения в КЯ может быть различной и коррелирует с дискурсивной ролью компонента, к которому ставится вопрос. Далее М.-К. Парис с помощью методики постановки вопросов и некоторых дополнительных критериев (например, позиция фразовых адverbиалов, возможность/невозможность релятивизации рассматриваемой ИГ) показывает, что конструкция *lian...yeldou* ‘даже... и то...’ является средством фокализации, а не топиализации вводимой именной группы.

Пример конструкции с оборотом *lian...yeldou*, а также ряда других (например, конструкция с оборотом *zhiyou* + ИГ ‘только...’, ср. *Zhi you bai jiu ta bu he* ‘Только водку он не пьет’) показывает, что не всегда инициальные (превербальные) позиции в предложении являются тематическими, а финальные

(поствербальные) – рематическими. Как оборот с *lian...yeldou*, так и оборот с *zhiyou* вводят новую информацию, то есть являются рематическими.

Вторая часть, посвященная типам предикации в КЯ, включает три статьи: «Типы предикации и повтор сказуемого в КЯ» (1995), «Еще раз о ‘еще’ в КЯ: *hai* и *haishi*» (1988), «Обозначение длительности действия в КЯ» (1985/1988).

Гипотеза, объединяющая статьи второй части, состоит в том, что существуют ограничения на употребление синтаксических конструкций, обусловленные типом предикации. Дело в том, что тип предиката связан с определенным аспектуальным значением, которое может не согласовываться с данной синтаксической конструкцией.

В статье «Типы предикации и повтор сказуемого в КЯ» показано, что возможность/невозможность употребить эмфатическую конструкцию с оборотом *lian...yeldou* ‘даже... и то’ в отрицательном предложении (что требует повтора сказуемого) обуславливается не синтаксическими факторами, а семантическими, а именно, типом предикации. Так, в КЯ можно говорить об оппозиции предикации событийной (*prédication événementielle*, *prédication d'événement*) и предикации несобытийной, или характеризующей (*prédication non-événementielle*, *prédication de propriété*). Конструкция с повтором сказуемого возможна только в предложении с событийной предикацией, которая, в отличие от характеризующей предикации, квантифицируема (может быть определено т.н. ‘количество действия’); об этом говорит возможность употребления в предложении конструкции с числительным и глагольным счетным словом).

Поэтому предложения, содержащие событийную предикацию, могут быть подвергнуты эмфатическому отрицанию с помощью конструкции *lian...yeldou*, причем двумя способами: (1) повтор глагола-сказуемого (ср. *Ta lian lai dou mei lai* ‘Он даже не пришел’) или (2) включение в предложение обстоятельства, обозначающего ‘количество действия’, выраженного сочетанием числительного и глагольного счетного слова (при этом отрицается реализация ‘минимального количества’ данного действия, ср. *Ta lian yi ci dou mei lai-guo* ‘Он ни разу не пришел’, *Ta lian yi yan ye mei kan, jiu zou le* ‘Одним взглядом – и то не взглянул, сразу ушел’, *Ta lian yi di jiu dou bu yao he* ‘Он ни капли вина не пьет’).

Предложения, содержащие характеризующую предикацию (ср. *Ta hen gaoxing* ‘Он рад’), не могут быть подвергнуты отрицанию с помо-

цию конструкции *lian... ye/dou* (**Ta lian gaoxing dou bu gaoxing*²).

Различие событийной и характеризующей предикации проявляется и в способе выражения анафоры. Отсылка к характеризующему предикату может оформляться с помощью связки *shi*, в то время как отсылка к событийному предикату такого оформления не допускает и требует повтора предиката. Ср. следующие примеры:

Zhangsan hen gaoxing, Lisi ye shi.

‘Чжан Сань рад, Ли Сы тоже’ (букв. ‘Ли Сы тоже так’³).

*Zhangsan zuotian he le jiu, Li Si ye he le (jiu) (...*Li Si ye shi).*

‘Чжан Сань вчера пил, Ли Сы тоже’ (букв. ‘Ли Сы тоже пил’).

*Zhang San lai le, Li Si ye lai le (...*Li Si ye shi).*

‘Чжан Сань пришел, Ли Сы тоже’ (букв. ‘Ли Сы тоже пришел’).

Работа “Еще раз о ‘еще’ в КЯ: *hai* и *haishi*” опирается на идеи и методы школы А. Кюльоли (А. Culjoli). Эти идеи и методы были освещены в отечественной литературе в обзоре В.А. Плунгяна [Плунгян 1988].

В частности, автор оперирует понятиями операции, следа операции, понятийной области (домена) и квантификации. Анализируя две полифункциональные единицы – *hai* ‘еще; все еще; все-таки; оказывается; лучше бы; или’ – автор стремится выявить единую логическую операцию, лежащую в основе всех типов их употреблений. Сами употребления рассматриваемых единиц являются – в рамках данного подхода – следами (traces) этой операции. Рассматриваемые единицы оказываются полисемантическими лишь постольку, поскольку применяются к разным понятийным областям, или доменам (domains).

В статье последовательно рассматриваются следующие типы употреблений *hai*⁴.

² Поясним, что эмфатическое отрицание в таких предложениях может быть выражено с помощью оборота *yi dianr ye/dou bu* ‘даже чуть-чуть не’, ‘совсем не’, ср. *Ta yi dianr ye/dou bu gaoxing* ‘Он совсем не рад’ (пример наш. - К.А.; *yi dianr* буквально может быть переведено как ‘одна капля’, ‘один пункт’).

³ Связка *shi* происходит от анафорического местоимения *shi* ‘это(т); так(ой)’, которое дублировало подлежащее и стояло между подлежащим и сказуемым (прим. рец.).

⁴ Читателю, который хотел бы сам составить себе представление о значении и употреблении *hai* и *haishi*, можно посоветовать обратиться также к справочникам [Xiandai 1984; Прядохин, Прядохина 1998].

1. *Hai* в сопоставительных предложениях.

1.1. Эксплицитно сопоставительные предложения.

1.2. Имплицитно сопоставительные предложения.

2. *Hai* как показатель аспектуальности.

2.1. Дуративные употребления (“все еще” – действие или состояние продолжает иметь место, вопреки ожиданиям говорящего).

2.2. Итеративные употребления (“еще”, “опять” – действие еще повторится).

3. *Hai* в качестве сочинительного или подчинительного коннектора (connecteur).

3.1. Сочинительные употребления (“не только..., но и...”).

3.2. Подчинительные употребления (“несмотря на..., все еще...”).

В употреблениях типов 2.1 и 3.2 вместо *hai* может употребляться *haishi*. Этимологически *haishi* представляет собой слияние *hai* и связки *shi*. Кроме того, *haishi* имеет еще два значения, которых нет у *hai*: *haishi* может выражать предпочтение (“лучше бы (сделать то-то и то-то)”, “следовало бы”), а также употребляться как союз “или” (это значение развилось в среднекитайском языке, в период с V по XII вв. н.э.).

Мы рассмотрим фрагмент статьи, посвященный сопоставительным предложениям (употребления ти-пов 1.1 и 1.2), поскольку именно они демонстрируют, по мнению автора, основное, прототипическое значение *hai* и дают ключ к пониманию употреблений всех остальных типов.

1.1. Эксплицитно сопоставительные предложения: *Zhangsan bi Lisi hai gao* ‘Чжан Сань еще выше Ли Сы’.

На *hai* в таких употреблениях ложится фразовое ударение.

В рассматриваемом предложении свойство ‘быть высоким’ пресуппонируется для обоих сопоставляемых термов. Если бы в предложении не было наречия *hai*, сопоставляемые термы могли бы и не обладать этим свойством, ср. *Zhangsan bi Lisi gao* ‘Чжан Сань выше Ли Сы’ не предполагает наличия высокого роста у сравниваемых людей.

В эксплицитно сопоставительных высказываниях сравниваются два терма, обладающие тем или иным однородным шкалируемым свойством. *Hai* маркирует дистанцию, разрыв между двумя расположенными на шкале точками, которые к тому же соотносены с некоторой третьей точкой, задающей объективную середину (в вышеприведенном примере – средний рост человека). Оба сопоставляемых терма – старший и младший – обязательно эксплицитно выражены в высказывании.

Старший терм может быть соотнесен с объектом, который является эталонным носителем некоторого признака: ср. *Zhei kuai tang bi fengmi hai tian ne!* ‘Эта конфета еще слаще меда!’

1.2. ИмPLICITно сопоставительные предложения. В высказываниях этого типа эксплицитно выражен только один терм – старший. Фразовое ударение ложится не на *hai*, а на сказуемое: *Zhei dao cai hai haochi* ‘Это блюдо ничего, есть можно’.

Здесь сопоставление также присутствует, но имплицитно. Сопоставлены два качества – ‘быть вкусным’ (*haochi*) и ‘быть невкусным’. Норма оценки здесь не является ни численно выразимой, ни объективной: она субъективна, это личная оценка говорящего.

Имплицитно сопоставительные высказывания утверждают наличие у термина некоторого качества, но показывают, что это качество присутствует не в высокой степени – зона его отсутствия залегает очень близко. Младший (имплицитный) терм совпадает с границей нормативной зоны.

М.-К. Парис подчеркивает, что в употреблении типа 1.1 и типа 1.2 мы имеем дело не с омонимами, а с одним и тем же квантификатором *hai*. Разница только в том, что понятийные области, к которым он применяется, по-разному структурированы.

И в высказываниях типа 1.1, и в высказываниях типа 1.2 *hai* является следом одной и той же операции: помещения некоторого термина в определенную понятийную область в соотношении с другим термом, который не обладает свойством А в той мере, что первый терм.

С одной стороны, *hai* соединяет, соотносит два термина; с другой стороны, *hai* их разъединяет, противопоставляет. В этой особенности *hai* автор видит основу для развития у *hai* функций коннектора (со значением присоединения или уступки), а у *haishi* – функции дизъюнктивного союза ‘или’.

В заключительной части работы приводится следующая сводная таблица употреблений *hai* и *haishi* (с. 85).

Таблица позволяет увидеть, что возможность употребления *hai* и *haishi* связана с модальными факторами. В употреблении, расположенных в левом столбце, в которых возможно только *hai*, речь идет об определенных, реальных ситуациях. В употреблении, расположенных в правом столбце, в которых возможно только *haishi*, – о виртуальных ситуациях. Средний столбец, в котором возможно и *hai*, и *haishi*, представляет собой переходную зону. Однако важно отметить, что если в фактических уступительных предложениях возможно и *hai*, и *haishi*, то в гипотетических уступительных предложениях предпочтительным является *haishi*.

Безусловно, рассмотренная статья М.-К. Парис разделяет черты школы А. Кюльоли в целом, отмеченные В.А. Плулунгом. Стремление выявить инвариант, лежащий в основе разнотипных употреблений языковой единицы, оборачивается чрезвычайной абстрактностью и метафоричностью формулировок. Таким образом, модель оказывается ориентированной более на анализ, чем на синтез [Плулунг 1988: 138]. Заметим, однако, что чрезвычайная абстрактность языка толкований сочетается в работах М.-К. Парис со скрупулезным рассмотрением многочисленных примеров употреблений рассматриваемой языковой единицы в различных контекстах, изучением возможностей замен данной единицы на другие, с исследованием причин, обуславливающих возможность таких замен. Все это дает читателю яркую, точную и полную картину функционирования данной языковой единицы.

Третья часть, озаглавленная “**Общее языковедение и факты китайского языка**”, является по преимуществу типологической. В ней представлены статьи “Указательные местоимения и лицо в современном китайском языке” (1992), “Иконичность: новая догма в изучении китайского синтаксиса?” (1993), “Синтаксис и семантика четырех показателей переходности в КЯ: *ba, bei, jiao, rang*” (1998).

Статья “Указательные местоимения и лицо в современном китайском языке” посвящена

hai/*haishi	hai/haishi	haishi/*hai
сопоставление (тип 1)	длжащееся/повторяющееся действие (тип 2)	альтернатива
присоединение (тип 3.1)	уступка (тип 3.2)	предпочтение
[+определенность (certain)]	[±определенность]	[–определенность]

особенностям китайского дейксиса⁵ и начинается с известной схемы, представляющей соотношение трех лежащих в основе дейктической системы элементов: я (лицо) – здесь (пространство) – *сейчас* (время). На схеме они представлены в виде треугольника, причем элемент “я” занимает главенствующее положение.

Автор выдвигает гипотезу, что в КЯ элемент “я” не является иерархически главенствующим. Скорее речь должна идти о двойной системе отношений: с одной стороны, время противопоставляется пространству и лицу, а с другой – пространству и лицу мыслятся как взаимодополняющие (co-extensif) сущности и, возможно, пространство первично по отношению к лицу.

Что касается времени, то, как отмечает М.-К. Парис, в КЯ маркируется не время, а вид, причем показатели вида в своих исходных значениях имеют пространственное значение. Так, глагол *zai* ‘находиться в’ может употребляться в препозиции к другому глаголу в качестве видового показателя, означающего, что действие находится в процессе совершения. Целый ряд видовых показателей развивается на базе направительных глаголов, выступающих в качестве вторых компонентов сложных глагольных комплексов.

В отношении понятия лица М.-К. Парис выдвигает гипотезу, что в системе дейксиса КЯ выделенным является не изолированный элемент “я” (то есть говорящий), а пара “я – ты” (то есть говорящий и собеседник)⁶. Это доказывается, по мнению автора, некоторыми примерами употреблений указательных местоимений *zhe* ‘это’ и *na* ‘то’.

М.-К. Парис пишет, что если бы элемент “я” был выделен и противопоставлен остальным, то и во всей дейктической системе в целом мы могли бы ожидать соответствия противопоставления *zhe* – *na* противопоставлению *я* – *не-я*: то есть *zhe* – это сфера ‘я / присутствующее’, *na* – сфера ‘не-я / отсутствующее’. Однако такого соответствия нет (или, во всяком случае, оно не всегда выдерживается), что видно из следующих примеров⁷ (с. 123):

⁵ Эта проблематика получила дальнейшую разработку в статье М.-К. Парис “Пространство высказывания в современном китайском языке: куда же делась триада?” [Paris 1997], которая не вошла в рецензируемый сборник.

⁶ Интересно, что исследователь языка суахили Г. Опалка высказывает сходную идею, отмечая, что высказывание не эгоцентрично, а дуоцентрично, т.е. что ориентация задается не только фигурой говорящего, но и фигурой слушающего (цит. по [Апресян 1995: 631]).

⁷ Здесь и далее по тексту сохранена нумерация примеров рецензируемой работы.

(1) *Wo, zhe ge ren, jiu shi zhe yang.*
‘Да, я таков’ (букв. ‘Я, этот человек, как раз таков’).

Употребление *na* в этом предложении невозможно:

(2) **Wo, na ge ren, jiu shi zheyang.* (букв. ‘Я, тот человек, как раз таков’).

(3) *Ni, zhe ge ren, mei liangxin de.*
‘Ты бессовестный!’ (букв. ‘Ты, этот человек, – бессовестный’).

Употребление *na* в этом предложении невозможно:

(4) **Ni, na ge ren, mei liangxin de.* (букв. ‘Ты, тот человек, – бессовестный’).

Пример (3) показывает, что для *zhe* ‘это’ не исключается употребление с местоимением *ni* ‘ты’, что, по мнению автора, говорит о том, что говорящий и собеседник мыслятся не как противопоставленные друг другу сущности (une relation de vis-à-vis), а как участники тандема (une relation en tandem).

Однако этот пример, на мой взгляд, не вполне убедителен; он еще не доказывает общности статусу говорящего и собеседника и их общей противопоставленности “остальному миру”. Даже если бы речь шла о некоем третьем лице, в этом контексте было бы употреблено *zhe*, а не *na* (пример наш. – К.А.):

Ta, zhe ge ren, mei liangxin de.
‘Он бессовестный!’ (букв. ‘Он, этот человек, – бессовестный’).

Если пользоваться моделью китайского дейксиса, предложенной Тань Аошун в монографии [Тань 2002], то можно сказать, что возможность употребления *zhe* в примере (3) объясняется тем, что собеседник в этой ситуации представляет собой предмет рассмотрения и оказывается включенным в личную сферу говорящего, которая не представляет собой некоей застывшей, неизменной сущности, а может быть – в различных ситуациях – различной.

Более того, Тань Аошун отмечает, что в оценочных контекстах происходит нейтрализация форм ближнего (*zhe*) и дальнего (*na*) дейксиса: при этом формы с местоимением *zhe* оказываются более предпочтительными, чем формы с *na*, и приводит следующие примеры:

*Zhe ge (*na ge) Li Ming jintian you chidao le.*
‘Этот Ли Мин сегодня опять опоздал’.
*Zhe ge (*na ge) fuqin bu xiang fuqin de yangzi.*
‘Этот отец ведет себя не как отец’ [Тань 2002: 747–748].

По-видимому, гипотеза М.-К. Парис о выделенности пары “я – ты”, сама по себе, безусловно, яркая и интересная, нуждается в дальнейших исследованиях и требует дополнительных доказательств.

Что касается третьего элемента дейктической системы – пространства, то М.-К. Парис

приводит следующие факты, свидетельствующие о его иерархической важности и тесной связи с лицом.

Во-первых, в КЯ предложения наличия формально-синтаксически устроены так же, как предложения обладания, ср.

Zhuozi shang you shu.

‘На столе находятся книги’.

Zhangsan you shu.

‘У Чжан Саня есть книги’.

Во-вторых, обозначение места может употребляться метонимически – для обозначения населяющих его или работающих там людей, ср.

Ni chang ji qian hui jia, nar dou hen gaoping.

‘Ты часто посылаешь домой деньги, **они там** (букв. **там**) все очень рады’.

Ni jingchang chidao, zher dui ni bu manyi.

‘Ты часто опаздываешь, тобой недовольны’ (букв. ‘**здесь** тобой недовольны’).

В-третьих, в КЯ личное местоимение, как известно, само по себе не может быть употреблено в качестве обстоятельства места: оно должно быть оформлено указательными местоимениями *zher* ‘здесь’ или *nar* ‘там’, ср.

Ni dao wo zher lai!

Приходи ко мне! (букв. ‘Приходи ко **мне-сюда!**’)

В такого рода употреблении понятия лица и места оказываются слитыми и взаимодополняющими: можно говорить о том, что “место” наделяется признаком “одушевленности”.

Все приведенные в данной статье факты позволяют, с точки зрения автора, сделать вывод о том, что “я” (говорящий) не занимает в системе китайского дейксиса иерархический главенствующего положения: выделенным элементом является не изолированное “я”, а тандем “я – ты”; более того, лицо как элемент дейктической системы оказывается слитым с другим элементом этой системы – пространством. (Повторю, что эти выводы, сами по себе очень интересные, носят, на мой взгляд, слишком глобальный характер и требуют рассмотрения на более обширном материале и дополнительной проверки.)

Статья “Иконичность: новая догма в изучении китайского синтаксиса?”, написанная в соавторстве с А. Пейробом (А. Reugebe), также одним из ведущих французских китайистов, посвящена критическому анализу подходов, называемых “иконическими”, в частности, работам Дж. Тая (J.H.-Y. Tai). Эти подходы представляются авторам не соответствующими как экстралингвистическим, так и лексико-грамматическим фактам. Авторы не готовы принять точку зрения Дж. Тая, в соответствии с которой китайский язык объявляется близким к идеальному иконическому типу, а принцип

иконичности – основным принципом организации китайского синтаксиса⁸.

Эту статью мы также рассмотрим более подробно.

Напомним, что иконичностью называется изоморфность плана выражения плану содержания. Р. Якобсон выделял т. н. образную и диаграмматическую иконичность. Ниже речь пойдет о диаграмматической иконичности.

Дж. Тай в работе [Tai 1985] и ряде более поздних работ настойчиво проводит тезис, что именно иконичность является основным принципом организации китайского синтаксиса. Порядок следования синтаксических компонентов соответствует порядку их появления в концептуальном мире говорящего. Это проявляется, например, в порядке слов в сравнительных предложениях (сначала вводятся сравниваемые объекты, затем – параметр, по которому они сравниваются, ср. *Ta bi wo gao* ‘Он выше меня’, букв. ‘он – сравнить с – я – высокий’); в порядке расположения обстоятельств места (обстоятельства, обозначающие исходный пункт действия, располагаются перед сказуемым, а обстоятельства, обозначающие конечный пункт действия, – после сказуемого); в т. н. принципе временной последовательности (ПВП): глагольные синтагмы в сериальных глагольных конструкциях и пропозиции в сложных предложениях располагаются в порядке, соответствующем последовательности реализации обозначаемых ими ситуаций. Некоторые последователи Дж. Тая (например, С.Н.-Н. Chang, см. [Chang 1991]) утверждают даже, что именно принцип иконичности, как обладающий максимальной объяснительной силой, должен быть положен в основу преподавания китайского языка иностранцам.

М.-К. Парис и А. Пейроб приводят ряд примеров, демонстрирующих ограниченность сферы действия принципа иконичности и показывающих, что этот принцип не обладает универсальной объяснительной силой. Упомянем некоторые из них.

Так, порядок слов в сравнительных предложениях в некоторых китайских диалектах, например, в кантонском, не такой, как в общепринятом КЯ (путунхуа), ср. кантонское *Keuih gou guo ngoh* ‘Он выше меня’ (букв. ‘он – высокий – превзойти – я’).

А в древнекитайском все предложения обстоятельством места, независимо от того, обозначали ли они исходный или конечный пункт действия, вводились универсальным предлогом *yu* и располагались после глагола-сказуемого.

⁸ Л.Н. Морев также считает тезисы Дж. Тая излишне категоричными, см. [Морев 1998].

Сравнительная конструкция также обслуживалась универсальным предлогом *уи*, а порядок следования компонентов был не таким, как в современном общенациональном КЯ (ср. *Ji shi fu yu Zhou gong* 'Род Цзи **богаче**, **чем** Чжоугун'). Получается, что китайский язык развивался в направлении вовсе не от иконичности к символичности (так должно было бы быть – в соответствии с теоретической концепцией "иконистов"), а наоборот, от символичности к иконичности.

Что касается последовательности глагольных синтагм в сериальных глагольных конструкциях, то он может быть изменен, например, в результате фокализации. Ср. нейтральный порядок слов (он соответствует ПВП) в примере (12а) и порядок слов в примере (13), где синтагма *zuo gonggongqiche* 'сидеть в автобусе' фокализирована с помощью связки *shi* (такой порядок не соответствует ПВП):

(12а) *Ta zuo gonggongqiche dao zher.*

'Он приезжает сюда на автобусе' (букв. 'Он-сидеть-автобус-прибыть-сюда').

(13) *Ta dao zher shi zuo gonggongqiche.*

'Он приезжает сюда НА АВТОБУСЕ (а не на машине)' (букв. 'Он-прибыть-сюда-связка-сидеть-автобус').

Если же в теорию укладываются только нейтральные, немаркированные высказывания, то как – совершенно справедливо спрашивают авторы – можно считать, что она обладает универсальной объяснительной силой?

Подведем итоги. Книга проф. Парис отличается ясностью, строгостью и доказательностью рассуждений, определенностью постановки задач, предельной четкостью формулировок.

Поставленная автором цель – "увидеть единство Языка за многообразием различных языков... выявить стоящую за самыми повседневными высказываниями языковую деятельность говорящего" (А. Кюльоли) – была, безусловно, достигнута.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды. Т. II. М., 1995.

Морев 1998 – Л.Н. *Морев*. Изолирующие языки материковой Восточной и Юго-восточной Азии через призму иконичности // Китайское языкознание. Материалы IX Международной конференции. М., 1998.

Плунгян 1988 – В.А. *Плунгян*. О работах группы формальной лингвистики Парижского университета-VII // ВЯ. 1988. № 5.

Прядохин, Прядохина 1998 – М.Г. *Прядохин, Л.И. Прядохина*. Краткий словарь трудностей китайского языка. М., 1998.

Тань 2002 – Тань *Аошун*. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя. На примере китайского языка. М., 2002.

Chang 1991 – С.Н.-Н. *Chang*. Verb-copying: toward a balance between formalism and functionalism // Journal of the Chinese language teachers' association. 1991. XXVI (1).

Paris, Coyaud 1976 – М.-С. *Paris, M. Coyaud*. Nouvelles questions de grammaire chinoise. Documents de linguistique quantitative 28. Paris, 1976.

Paris 1979 – М.-С. *Paris*. Nominalization in Mandarin Chinese. The morpheme 'de' and the 'shi... de' constructions. Paris, 1979.

Paris 1981 – М.-С. *Paris*. Problèmes de syntaxe et de sémantique en linguistique chinoise. Institut des Hautes Etudes Chinoises. Paris, 1981.

Paris 1989 – М.-С. *Paris*. Linguistique générale et linguistique chinoise: quelques exemples d'argumentation. Collection ERA 642. Paris, 1989.

Paris 1997 – М.-С. *Paris*. L'espace énonciatif en chinois contemporain: mais où la triade est-elle passée? // С. Fuchs, S. Robert (eds.). Diversité des langues et représentations cognitives. Paris, 1997.

Tai 1985 – J.H.-Y. *Tai*. Temporal sequence and Chinese word order // J. Haiman (ed.). Iconicity in syntax. Amsterdam: Philadelphia, 1985.

Tsao 1990 – *Tsao Feng-fu*. Sentence and clause structure in Chinese: A functional perspective. Taipei, 1990.

Xiandai 1984 – Xiandai Hanyu ba bai ci (Восемьсот слов современного китайского языка). Beijing, 1984.

К.В. Антонян

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

18–19 апреля 2005 г. в Гродно (Белоруссия) в четвертый раз состоялась Международная научная конференция “Современные проблемы лексикографии”, организованная кафедрой общего и славянского языкознания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В конференции приняли участие более 80 человек из Белоруссии, Украины, России, Польши, Словакии.

В ходе работы конференции обсуждались проблемы методологии словарной работы, терминографии, типологии словарей, национально-культурного своеобразия лексикографической практики, проблемы исторической и диалектной лексикографии, были представлены различные словарные проекты. Особое внимание уделялось вопросам создания компьютерных словарей, лингвистических баз и банков данных, корпусной лексикографии.

Конференция была открыта докладом А.А. Лукашанца (Минск), посвященным обзору современных белорусских словарных проектов (Исторический, Этимологический словари белорусского языка, различные славяно-белорусские словари). Также были названы имеющиеся на данный момент лексикографические пробелы (Словарь языка конца XX – начала XXI века, серия грамматических словарей, серия школьных грамматических словарей, серия белорусско-иноязычных словарей).

Блок докладов затронул теоретические проблемы лексикографии. Так, В.В. Дубинский в соавторстве с К.А. Метешкиным (Харьков) отметил диалектическое двуединство лексикографии как науки. Являясь отдельной научной дисциплиной, лексикография представляет собой универсальную методологическую науку. Если собрать все словари воедино, можно говорить о материальном лексикографическом воплощении всей языковой системы как системы систем.

В докладе В.К. Щербина (Минск) было представлено новое лексикографическое направление – концептография, выявлялись со-

став (перечень словарей концептов) и структура (разные группы концептуариев – словарей концептов) данного направления, были проанализированы общие, специальные и комплексные концептуарии.

А.Н. Гордей (Минск) в выступлении “Основания комбинаторной семантики” рассмотрел вопросы разграничения модели мира и языковой картины мира, внутреннего кода, языка и речи. Модель мира (скрытого знания) понимается автором как архитектура стереотипов, т.е. упорядоченное множество стереотипов и упорядоченное множества преобразований одних стереотипов в другие. Языковая картина мира (открытое знание) определена как декодированная посредством языка часть модели мира для сознательного управления интеллектуальной деятельностью.

Доклад Л.В. Рычковой (Гродно) “Нетрадиционные объекты лексикографирования: проблемы или новые возможности?” затронул теоретические проблемы корпусной лингвистики. Обсуждались вопросы выбора источников для словарей и связанная с этим потребность в создании электронного корпуса текстов, а в дальнейшем и гипертекстового словаря-гезауруса; вопросы полноты и мета-языка подобного словаря.

Теоретические проблемы в изучении и описании тропов рассматривались в докладе Е.В. Ничипорчик (Гомель) “Игровые средства формирования смысла: к вопросу об онтологии выразительных языковых средств”.

Ряд выступающих познакомили слушателей с новыми проектами в области словарного дела. В докладе Н.Н. Занегиной (Москва) “Практические проблемы лексикографического описания концептов” был представлен проект “Русского идеографического словаря”, работа над которым ведется в Институте русского языка РАН под руководством акад. Н.Ю. Шведовой. Данный словарь описывает концепты русского языка. На материале словарных статей “Семья” и “Родня” показаны основные лексикографические проблемы, воз-

никающие при создании данного словаря, и возможные пути их решения.

В выступлении И.И. Савицкой (Минск) «“Славянский ассоциативный словарь”: национально-культурные и дидактические аспекты» названный недавно созданный словарь, охватывающий русский, белорусский, украинский, болгарский языки, послужил материалом для лингвокультурных исследований.

К.С. Буркут (Киев) сообщил о созданном в настоящий момент «Словаре компаративных образов поэтического сборника П. Филиповича “Простор”» как части будущей большой работы – “Словаря метафор и сравнений украинской поэзии”. В докладе также говорилось о понимании термина “словесный образ” на современном этапе развития лингвостилистики, о наиболее популярных словарях образов, созданных в последнее десятилетие.

В докладе О.Н. Ляшевской, В.А. Плунгяна, Д.В. Сичинавы (Москва) “Национальный корпус русского языка как инструмент лексикографа”, представленном О.Н. Ляшевской, была дана общая характеристика открытого для всеобщего доступа в Интернете и продолжающего пополняться новым материалом Национального корпуса русского языка: указано назначение Корпуса, его состав и структура, особенности используемых в Корпусе типов разметки. Особый акцент был сделан на инструментах, помогающих лексикографу уточнить и структурировать область поиска языкового материала: задание собственного подкорпуса по метатекстовым параметрам и поиск в корпусе по лексико-семантическим признакам.

Е.Б. Сирук (Киев) “Компьютерные тезаурусы: проекция мирового опыта на украинскую лексикографию” сообщила о создании лабораторией компьютерной лингвистики Киевского университета им. Т. Шевченко формализованного метода составления компьютерного тезауруса украинского языка и самого словаря как информационной и исследовательской системы.

“Новый электронный грамматический словарь русского языка с учетом акцентуации” был представлен в докладе трех авторов: Т.А. Грязнухиной, Т.П. Любченко, И.В. Шевченко (Киев). Рассмотрены принципы создания электронного грамматического словаря (ЭГС) русского языка с учетом акцентуации, разработанного на основе созданного ранее ЭГС в письменной форме. Приведены сравнительные характеристики обеих версий ЭГС (состав реестра, наполняемость парадигматических классов, количество парадигматических классов).

М.И. Конюшкевич (Гродно) познакомил с международным проектом “Славянский предлог в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис”, направленным на комплексную атрибуцию предлогов и их эквивалентов.

Также на конференции были рассмотрены частные проблемы современной лексикографии. В докладе В.И. Беликова (Москва) “Регионализация русской орфоэпической нормы (по данным словарей)” был проанализирован “Словарь правильной русской речи” Н.В. Соловьева (М., 2004), подготовленный в Институте лингвистических исследований РАН и представляющий собой отражение петербургской орфоэпической нормы, хотя последнее нигде открыто не заявлено. На материале толковых словарей Н.С. Гребенщикова (Гродно) рассмотрела особенности представления лексемы “приветствие” и приветственных формул (русских, украинских, белорусских). С.А. Емельянова (Гродно) в докладе “Антонимы русского языка и их лексикографическая разработка” познакомил с принципами составления гнездового словаря антонимов русского языка. Изучению словообразовательных гнезд в структурном, семантическом и стилистическом направлениях на материале создаваемого авторами “Словообразовательного словаря новой музыкальной лексики” был посвящен доклад О.В. Мациевской и С.А. Емельяновой (Гродно). И.В. Денисенко (Киев) представила тезаурус украинского языка, описывающий группу лексем со значением “человек”. Вариант описания «Лексикографических характеристик слов с семантическим компонентом “свобода”» был предложен Т.С. Антоновой (Гродно). “Методика дефиниционного анализа производных глаголов” была применена А.Н. Овчинниковой (Гродно) к лексикографическому описанию семантики ‘деятельность лица’ в русском языке. Создаваемый И.Ю. Самойловой (Гродно) “Частотный словарь глаголов поэзии И. Бродского” описывает динамическую картину мира поэта.

Доклады и выступления, посвященные диалектологической лексикографии, затрагивали как традиционные проблемы, так и новые, связанные с использованием в работе современных технологий. История собирания и словарного описания лексики говоров Гродненщины в XX веке нашла свое отражение в выступлении Н.А. Даниловича (Гродно). Анализировались объем подобных работ, структура, принципы построения словарных статей, представлялись перспективы дальнейшей работы. В.В. Борисюк (Брест) рассмотрела специфику употребления многозначных существительных в говорах Брестско-Пинского Поле-

сья. В.В. Б о р с ю к (Брест) сообщил о подготовленном к печати словаре вядских говоров белорусского языка. А. Ч е с а к (А. Czesak) (Краков) на примере силезских говоров познакомил со способом компьютерного анализа диалектных текстов в лексикографических целях.

Историческая лексикография была представлена докладом Н.В. Н и к о л е н к о в о й (Москва) "Древнерусский и церковнославянский союз", посвященный описанию структуры значения церковнославянских союзов "и" и "же" с учетом их функционирования как текстовых коннекторов. На основе анализа динамики развития значений этих союзов и их стилистической дифференциации предложена модель словарной статьи для исторического словаря.

Кроме того, на конференции затрагивались как общие, так и частные проблемы терминологии. Г.Н. П л о т н и к о в а и З.И. К о м а р о в а (Екатеринбург) на материале неологизмов и терминов-неонимов конца XX века и начала XXI века показали, что взаимодействие терминологизации и детерминологизации в наши дни идет "вширь", затрагивая новые пласты лексики, и "вглубь" – при появлении новых способов и типов контактов терминологической и общенаучной лексики. В докладе И.С. Г а в р и л и н о й (Астрахань) "Корреляция внутренней организации семантики английских и русских терминов" говорилось о соотношении английских и русских терминов по охране окружающей среды в семантико-когнитивном аспекте. В выступлении М.О. Л о й к о (Гродно) "Потенциал юридической лексики (на материале английского языка)" рассматривались проблемы определения статуса специальной лексики в системе языка, взаимосвязь профессиональной лексики с элементами жаргона, способы пополнения и развития юридической лексики на современном этапе.

На конференции также сообщалось о новых компьютерных методах лексикографирования, а также о частных проблемах, возникающих при их использовании. В своем докладе А.Ю. С т а н к е в и ч (Гродно) представил методику автоматической сборки и верификации единиц грамматического фонда системы квазиреферирования, текстовые и позиционные реализации которых связаны с определенной темой научного текста. Даны характеристики эталонного и контрольного текстовых массивов для сборки таких единиц. В. Б е н к о (Бра-

тислава) предложил удобный для использования метод разметки текста словарных статей и показал принципы его применения в нескольких лексикографических проектах, разработанных в Институте языкознания САН в Братиславе. О.А. Ш и п н о в с к а я (Киев) описала процедуру автоматического выделения списка морфологических омонимов украинского языка на основе словаря словоформ, построенного с помощью грамматического словаря, разработанного в Украинском языково-информационном фонде НАН Украины. Рассматривалась возможность автоматического установления типов и моделей омографов с помощью системы автоматического морфологического анализа. В.М. С о р о к и н (Киев) осветил вопросы построения баз данных, структуры таблиц для использования частотного словаря и исходный выбор текстов для исследования лексических явлений (синонимии, гипонимии и др.), исследований структуры текста и семантических связей в нем.

Участники конференции заслушали также доклады о "Вокализации субстантивной основы (морфонологическое описание и лексикографическое представление)" (Н.Н. Гордей, Гродно), об "Использовании электронных лексикографических ресурсов немецкого языка в лингвистических исследованиях и лингводидактике" (С.В. А д а м о в и ч, Гродно), "О новом подходе к исследованию крупных лексических объединений" (О.О. Б у л а й, Гродно), об "Антропониме *Цезарь* в составе латинских изречений" (Н.А. Гончарова, Минск), о "Проблемах межкультурной коммуникации и лингвострановедческих словарях" (Л.М. С е р е д а, Гродно), об "Имени существительном в составе паремий" (М.А. Я к а л ц е в и ч, Гродно).

Конференция показала разнообразие лексикографических проектов в теоретическом, жанровом, методологическом отношении, продемонстрировала высокую частотность обращения к новейшим технологиям при создании словарей. Ценным можно считать также то, что ее участники смогли познакомиться со многими значительными проектами в области лексикографии, обсудить вопросы сотрудничества непосредственно с авторами и участниками данных проектов.

Н.Н. Занегина (Москва)

С 20 по 23 апреля 2005 г. в Петербурге проходила международная конференция “Античная грамматическая традиция в веках”¹. Инициатива проведения конференции в Петербурге принадлежала профессору греческого языка и литературы А. Валтерсу (A. Wouters), который уже больше десяти лет руководит Семинаром по историографии лингвистики (Seminarium historiographiae linguisticae), созданном при Лувенском католическом университете (Бельгия) совместно с Фламандским научным центром “История и историография лингвистики Западной Европы” (F.W.O. Scientific network “History and historiography of western linguistic”). С российской стороны организаторами петербургской конференции стали три учреждения Российской академии наук (РАН): Санкт-Петербургский научный центр, Институт лингвистических исследований и Санкт-Петербургский институт истории². Таким образом, для зарубежных коллег настоящая конференция стала очередным Коллоквиумом постоянно действующего международного семинара по историографии лингвистики³, избравшего на этот раз Петербург местом проведения своих заседаний, а для российских ученых впервые за все время существования этого семинара представилась возможность принять деятельное участие в его работе: русские и зарубежные ученые здесь были представлены в равной пропорции; рабочими языками конференции были объявлены французский, итальянский, английский и немецкий. В конференции приняли участие ведущие ученые Западной Европы (из Парижа, Лиона, Никозии, Неаполя и др. городов – всего 10 человек) и России (из Москвы и Петербурга – 9 человек) –

¹ Конференция поддержана грантом РГНФ (№ 05-04-140-28 г.).

² Большую практическую помощь в подготовке этого мероприятия оказал член Оргкомитета, старший научный сотрудник Института истории РАН, В.И. Мажуга (СПб.), за что все ему были очень признательны. Организаторы конференции также приносят свою благодарность аспирантке ИЛИ РАН С.Д. Клейнер за оказанную помощь.

³ Замечу с сожалением, что Семинар по истории лингвистики, некогда созданный при Петербургском лингвистическом обществе (основан в 1996 г.), до сих пор так и не “оформился” – не стал объединяющим центром для филологов разных специальностей, занимающихся историей языкознания, правда, ведется большая работа по комплектованию фонда библиотеки по истории лингвистики.

лингвисты и историки, филологи-классики и специалисты по истории языкознания. К сожалению, не все из приглашенных, приславших резюме своих докладов, смогли приехать в Петербург, но с содержанием их докладов можно ознакомиться в сборнике тезисов, выпущенном ИЛИ РАН к началу конференции⁴. Если говорить о хронологических рамках затронутой в докладах проблематики, то они охватывают период с XIII в. до н.э. по XVI–XVII вв. н.э. – от памятников микенской письменности до европейской грамматической традиции эпохи Возрождения, включая ее отголоски в ранних русских риториках (доклад Е. В. Маркасова о “Понятии *металлаза* в русской риторической традиции XVI–XVII вв.”; СПб.). Иными словами, четыре дня работы конференции были посвящены обсуждению ключевых моментов развития лингвистической мысли на протяжении тридцати столетий. Все, кто принял участие в этой конференции, и докладчики, и слушатели (среди которых – что особенно отменно отметить – были, например, две студентки МГУ, специально приехавшие на один день из Москвы), получили, в общем, редкую возможность живого обмена информацией, возможность обсудить в деловой обстановке семинара интересующий тебя вопрос с учеными разных стран, прекрасно владеющими “своим” материалом⁵.

Доклад Н.Н. Казанского (С.-Петербург) “Принципы создания и основы использо-

⁴ См. тезисы конференции в оригиналах и в переводах (соответственно на иностранные языки или на русский): Античная грамматическая традиция в веках. Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, 20–23 апреля 2005 / Ред. Л.Г. Степанова, В.И. Мажуга. СПб., 2005 / L.G. Stepanova, V.I. Mazhuga (eds.). Ancient grammar and its posterior tradition. Abstracts of colloquium, April 20–23, 2005, St. Petersburg, 2005. 79 pp. Оргкомитет выражает свою глубокую признательность старшему научному сотруднику ИЛИ РАН Евг.Р. Крючковой, взявшей на себя труд по подготовке оригинал-макета.

⁵ Некоторые из участников Коллоквиума (Ф. Бивилль, Г. Бонне, Ж. Лалло и др.) широко известны в том числе и как издатели и переводчики трудов греческих и латинских грамматиков. У нас, к сожалению, в этой области пока еще сделано очень мало, и единственной хрестоматией, подготовленной ответственными филологами-классиками, остается книга “Античные теории языка и стиля” под общей редакцией О.М. Фрейденберг (М.: Л., 1936).

вания микенской графической системы” был посвящен “грамматике” в самом старинном значении этого термина – умению передать звучащую речь при помощи письменных знаков на примере так называемого “линейного письма Б”. Исследование графической системы этого письма, приспособленного для фиксации самой архаичной стадии греческого языка, позволяет реконструировать некоторые особенности в подходе к анализу языка неизвестного “микенского Мефодия”, а также свидетельствует о “немалой лингвистической изощренности” микенских писцов, овладевших слоговым письмом. Достаточно унифицированный характер этого письма, как с точки зрения использования терминологии, так и с точки зрения самого формата документов, говорит о существовании писцовых школ, которые, несмотря на географическую удаленность друг от друга, могли поддерживать общие стандарты. Характерной особенностью дошедших до нас крито-микенских текстов является тщательная фиксация начального слога и менее подробная пропись окончания слова, которое и без того понятно носителю языка, читающему связный текст на глиняной табличке (сходные явления обнаруживаются и в других письменных традициях, ср. *suspensio* ‘проглатывание букв’ в ранних средневековых латинских рукописях или беглые записи на современном русском языке с недописанным концом слова). Н.Н. Казанский высказал предположение, что микенские писцы едва ли оттачивали свое мастерство только на записях хозяйственного содержания, и постулировал значительный пласт не дошедших до нас текстов иного жанра.

“Дограмматическому” периоду языковой рефлексии был посвящен и доклад Н.П. Гринцаева (Москва) “Лингвистические наблюдения у Гомера и раннегреческих поэтов”. Здесь были выделены два главных типа поэтических этимологий: 1) ситуативный (или контекстуальный), когда однозначное толкование имени дается в тексте *ad hoc* и больше эта этимология не фигурирует в данном произведении; 2) более сложный прием множественных (и часто противоположных по смыслу) этимологических трактовок слов – прежде всего имен собственных (ср. *Одиссей*, который толкуется у Гомера то как ‘гневающийся’, то как ‘объект гнева’). В докладе было подчеркнуто, что приемы “языковой игры” древних во многом превосходят принципы “научной” этимологии античных грамматиков, а кроме того, дают повод обратить внимание на такие языковые оппозиции, как субъект-объект, переходность-непереходность, обозначить такие феномены, как залог, омонимия, эвфемизм и др. Неслу-

чайно, что первые научные размышления о языке (начиная с софистов и затем александрийских грамматиков) строятся именно на поэтическом материале, а не на наблюдениях над живым обиходным языком. То, что филология (т. е. критика текста и толкование литературных произведений) и грамматика представляли в античности не две различных области знания, а два направления в рамках одной дисциплины, называемой *τέχνη γραμματικῆ* (“грамматическая наука”, ср. лат. *ars grammatica*) было показано в докладе С. Маттайоса (S. Matthaios; Никозия) “Толкование текста и грамматическая аргументация в кругу александрийских филологов” на материале анализа филологической работы Аристарха (II в. до н.э.) и его ближайших современников. С. Маттайос коснулся также методологических вопросов, связанных с изучением грамматической теории в процессе ее становления и постепенного высвобождения от контекста конкретного памятника. В сущности та же самая тема – отношение грамматики к определенному тексту, но уже на совсем другом материале – была продолжена в докладе Л. Мунци (L. Munzi; Неаполь) “Библейская экзегеза и грамматический комментарий в раннем Средневековье”. Здесь были проанализированы учебники латинской грамматики, частью неизданные⁶ и в основном относящиеся к так называемой островной традиции докарolingской эпохи, которые до сих пор хранятся в большом количестве в библиотеках крупных монастырей (в Боббио, Сан Галло и др.). На рубеже VII и VIII вв. монастырские школы приступают к своей деликатной миссии по превращению такой дисциплины, как *ars grammatica*, в начальный курс изучения Священного Писания. Грамматика в этот период оказывается всецело подчиненной задаче овладения Библией вплоть до того, что и сама она превращается в “средство спасения” (*instrumentum salvationis*), а Донат провозглашается “библейским грамматиком”. В латинских учебниках и комментариях к Библии происходит полное слияние методов и приемов библейской экзегетики.

Переход от античности к средневековью на примере развития отдельного “жанра” – трактатов по орфографии (*De Orthographia*) – был подробно рассмотрен в докладе Ф. Бивилля (F. Biville; Лион) “Обращение к греческому языку в латинских орфографических тракта-

⁶ Опубликованные тексты анонимных компиляторов см.: L. Munzi. *Multiplex Latinitas. Testi grammaticali latini dell'alto Medioevo // Annali dell'Università di Napoli “L'Orientale”* (AIONfilol). Quaderno nr. 9. Napoli, 2004.

тах VI–VIII вв. н.э.” С самого начала возникновение этого “жанра” греческая грамматика и греческий язык определили и структуру этих сочинений, и методику описания, и соответствующую терминологию – начиная с самого термина *orthographia*. Латинская терминология в этой сфере вырабатывалась с опорой на греческую (путем прямого заимствования или калькирования), широко применялась практика двуязычных толкований, что побуждало авторов к анализу греческих и латинских языковых фактов в их сопоставлении, способствовало выработке средств формальной адаптации заимствованных терминов. Таким образом, руководство по правописанию являются ценным источником по истории греческого и латинского языков. В докладе было показано, что греческий материал, к которому обращаются в своих трактатах Кассиодор, Беда и Алкуин, выполняет в них различные функции и зависит это от того, включаются ли греческие слова в уже сложившуюся традицию трактатов “Об орфографии”, основанную на опыте чтения римских классиков, или же обращение к ним связано с новыми потребностями чтения, понимания и перевода библейских текстов с греческого на латинский в тот период, когда бывшие навыки и умения в овладении языками двух великих культур были уже утрачены.

Что касается собственно грамматики, то на конференции получили освещение такие вопросы, как склонение греческих имен (доклад Л. Бассе), семантика и синтаксис артикля (А.У. Шмидхаузер [Женева] – “Семантика артикля по Аполлонию Дисколу”), грамматическая категория числа имен существительных (совместный доклад А. Гарчеа и В. Ломанто), глагольное наклонение (В.И. Мажуга [С.-Петербург] – “Учение стоиков о глагольных наклонениях и его интерпретация римскими грамматиками I–II вв. н.э.”) и некоторые другие.

В докладе Л. Б а с с е (L. Basset; Лион) “Описание склонений в древнегреческом языке” была прослежена история описания греческого склонения от эпохи эллинизма до XIX в.⁷ Решающую роль в выделении пяти греческих склонений сыграло противопоставление “равносложных” имен “неравносложным”, т.е. таким, которые в родительном падеже ед. числа

имеют на один слог больше, чем в именительном падеже ед. числа. Само это разграничение встречается уже в сочинениях Аполлония Дискола и Геродиана и предопределяет в дальнейшем противопоставление номинатива как исходной “несклоняемой” формы слова (“прямой” падеж) генитиву, за которым закрепляется привилегированная позиция показателя “косвенных” падежей. В византийский период грамматисты пытаются “упорядочить” словоизменение имени, исходя из форм номинатива, и выделяют, таким образом, 56 окончаний греческого имени (35 для мужского рода, 12 для женского и 9 для среднего). Все прочие падежи трактуются как формы, получающиеся в результате различных преобразований (усечений, добавлений, изменений) одного из ранее описанных падежей. Этот подход, как было показано в докладе, исключает морфологический анализ слова, так что вопрос о классификации типов склонения даже не возникает вплоть до конца византийской эпохи. Систематическое описание древнегреческого склонения появляется только в конце XIV столетия в грамматике византийца Мануила Хрисолора, который использует в своей классификации бинарную оппозицию “равносложные vs. неравносложные имена” и учитывает опыт классификации латинского склонения. Особое внимание в докладе Л. Бассе было уделено анализу метода грамматического описания и его потенциальных возможностей, открывающих путь дальнейшим исследованиям. В длительном, растянувшимся на многие столетия, процессе систематизации парадигм греческого склонения были выделены его важнейшие вехи: противопоставление прямой/косвенный падеж, установление парадигмы окончаний, начатки морфологического анализа (деление слова на основу и окончание), выделение предпоследней гласной генитива, т.е. в сущности “тематической гласной” основы.

К одной из фундаментальных философских контrovers, связанных с “установлением имен”, обратился А.Л. В е р л и н с к и й (С.-Петербург) в своем докладе “Конвенционалистская теория языка и учения об общественном договоре: в поисках предшественников Гермогена”, предложив пересмотреть традиционную точку зрения на первоисточники конвенциональной теории языка (поэма Парменида и “Кратил” Платона). По мнению автора, наиболее ранние следы конвенционального подхода к языку относятся к последним десятилетиям V в. до н.э.: они обнаруживаются в аргументации Демокрита (в передаче Прокла) и в одном пассаже из сочинения Гиппократ “О священной болезни”.

⁷ Изучение истории описания одного из аспектов грамматики является характерной чертой французской школы, ср., например, классическую монографию Ж.-К. Шевалье: *J.-Cl. Chevalier. Histoire de la syntaxe: Naissance de la notion de complément dans la grammaire française (1530–1750)*. Genève, 1968.

В совместном докладе А. Гарчеа и В. Ломанто (А. Garcea, V. Lomanto; Тулуза) “Между натурализмом и конвенционализмом: проблема грамматического числа у Варрона и Цезаря” были проанализированы и сопоставлены рассуждения Варрона об аналогии в трактате “De lingua Latina” и Цезаря в “De analogia” в связи с категорией числа имен существительных, в результате чего авторы пришли к выводу, что в подходе Варрона обнаруживается приверженность “естественной” теории установления имен, в то время как Цезарь исходит из конвенциональной теории языка.

В отдельную тему можно выделить доклады, посвященные функции “примера” в грамматическом описании: Ж. Лалло (J. Lallot; Париж) “Названия и использование примеров у Аполлония Дискола”, И. Бём (I. Boehm; Лийон) “Как греческие грамматики иллюстрируют описание глагольного наклонения и залога?” (см. также тезисы П. Юмель “Грамматические парадигмы античного времени и их роль в становлении преподавания классических языков”). Отправным пунктом в рассуждениях Ж. Лалло о “примере” стало разграничение грамматики, наметившееся в александрийской школе, на эмпирическую (или филологическую), занимающуюся изучением языковых употреблений в памятниках греческой литературы, и “техническую”, формулирующую правила греческого языка. Эмблематическими фигурами, олицетворяющими два различных подхода к пониманию “грамматики”, стали Аристарх и Аполлоний Дискол. В докладе было показано, что, в чистом виде, в теории и практике грамматического описания такого разграничения не существует, и в сочинениях Аполлония сочетаются оба этих подхода, что особенно заметно в том, как он использует и осмысляет привлекаемый иллюстративный материал – “пример”. После краткого экскурса в историю слова *пример* за пределами грамматики, были подробно проанализированы термины, используемые для обозначения этого понятия у Аполлония, и их встречаемость (παράδειγμα – 3, ὑπόδειγμα – 38, παράθεσις – 30 раз). Затем было показано, какое место отводит Аполлоний примерам в своей грамматической аргументации и что он считает достаточным для иллюстрации формулируемого правила, а что избыточным. Показательно, что количество примеров Аполлоний ставит в прямую зависимость от уровня теоретического осмысления языковых фактов и от того, насколько они поддаются (или не поддаются) строгой формализации. Понятно, что для описания грамматических категорий имени или глагола нет нужды в использовании различного иллюстративного материала (ср., на-

пример, глагол τὸλτω ‘бить’, неизменно присутствующий во всех грамматиках, начиная от греческих папирусов и кончая современными учебниками, написанными в разных странах на разных языках, или русское слово *стол* – по устному замечанию В.Н. Топорова, в словарную статью на это слово следует добавить значение ‘грамматический пример’), в то время как употребление артикля нельзя сформулировать в виде строгого правила. Здесь грамматик не может обойтись без обращения к эмпирическим фактам, без их анализа он не может показать разницу в значении конструкций с артиклем и без него, и потому Аполлоний обильно цитирует Гомера. Добавим от себя, что этого обстоятельства, вполне очевидного уже для александрийских грамматиков, часто не принимают во внимание современные историки: “грамматика примеров” им представляется хаотическим нагромождением фактов и свидетельствует, по их мнению, о недоразвитости теоретической мысли в ту или иную эпоху. Излишне говорить, что научная история языкознания при таком подходе подменяется изложением отдельных “прозрений”, в чем-либо напоминающих лингвистику нового времени и суммарными оценками (по степени “прогрессивности”) теорий, взятых обычно как имманентное целое, вне связи с историческим контекстом и с эмпирической базой лингвистики (включая актуальное состояние изучаемого ею “языка-объекта”) в ту или иную эпоху. Опыт работы настоящего Коллоквиума убедительно показал, что современная историография лингвистики уже не руководствуется априорными (и зачастую предвзятыми) представлениями о научной ценности, оригинальности, новизне и т.п. грамматических теорий, а видит свою задачу в разыскании, описании и систематизации самых разнообразных памятников лингвистической мысли прошлого, в том числе и элементарных учебников, руководств по орфографии, разговорников, ср. доклад А.И. Солопова (Москва) “Греко-латинские разговорники и отражение в них античной грамматической традиции” и т. п. Этот общий принцип современной историографии лингвистики прекрасно иллюстрирует в частности доклад Г. Бонне (G. Bonnet; Париж) “Грамматическая теория в позднем Риме сквозь призму школьной аудитории”, построенный на анализе типовых школьных учебников латыни. Своеобразным соответствием ему с российской стороны стал доклад Е.В. Антоненц (Москва) “Фрагменты римских грамматиков в научной библиотеке МГУ”, посвященный обзору и исследованию рукописей и старопечатных книг по грамматике в хранилищах Москвы.

В докладе Б. Колумба (B. Colombat; Лион) "Grammatici latini в восприятии Гуманизма и XVI столетия" речь шла о ренессансной грамматической традиции и ее отношении к античному и средневековому наследию. На примере описания имени в латинских грамматиках Перотти (1470), Сульпиция (1475), Альда Мануция (1508), Небрихи (1510), Деспаутерия (1514), Линакра (1524), Скалигера (1540), Рамуса (1564) и Санчеса (1587) было показано, что следование Донату и Присциану сочетается в них с использованием средневековых инноваций. Особенно это касается классификации имен.

Доклад Л.Г. Степановой (С.-Петербург) "Греческая тема в итальянской лингвистике XVI века" был основан на новом и еще не опубликованном материале – маргиналиях к грамматике Пьетро Бембо⁸. Экземпляр первого издания трактата "Prose della volgar lingua" (Венеция, 1525) с многочисленными рукописными пометами современника П. Бембо был обнаружен автором в Отделе редкой книги БАН. Помимо того, что материал этот в целом представляет несомненный интерес для истории итальянского языка, он не менее интересен и для истории грамматики, т.к. случаи обращения к греческому языку в итальянских грамматиках этого времени, насколько это из-

⁸ Л.Г. Степанова. Из истории ранних итальянских грамматик: неизданные пометы современника на полях трактата Пьетро Бембо "Беседы о народном языке" (Венеция, 1525, кн. III). СПб., 2005 (в печати).

23 апреля 2005 г. на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова прошло первое Московское совещание по формальной семантике. Формальная семантика – бурно развивающееся направление, широко известное за рубежом, но лишь в последние годы ставшее приобретать популярность и в нашей стране, в первую очередь благодаря активной деятельности профессора Массачусетского университета в г. Амхерст (США) Барбары Х. Парти, в течение нескольких лет ежегодно читающей курсы формальной семантики в РГГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова. Б.Х. Парти

известно, не зафиксированы, при том, что параллели с греческой языковой ситуацией и некоторые другие "темы" постоянно обсуждаются в лингвистических трактатах XVI в. В докладе были проанализированы некоторые сопоставления анонимного комментатора Бембо с греческим языком, необычное для грамматик рассматриваемого периода использование греческой терминологии, ссылки на античных и современных авторов (в том числе и на Аполлония в связи с трудностями употребления артиклей).

Помимо научных докладов, программа конференции включала посещение Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН, где были выставлены несколько рукописей каролингской эпохи из коллекции Н.П. Лихачева и две рукописные книги – "Эротемата" Мануила Мосхопула и "Эротемата" Мануила Хрисолора (оба кодекса датируются XV в.), об истории которых рассказал В.П. Медведев, и посещение Античного кабинета (Bibliotheca Classica Petropolitana) классической гимназии, где А.К. Гаврилов рассказал о преподавании латинского и древнегреческого языков в средней школе (школа № 610, получившая название "Классическая гимназия") и о создании библиотеки.

Организаторы конференции А. Валтерс и Н.Н. Казанский пришли к соглашению о совместном издании Трудов коллоквиума, о чем было объявлено при закрытии.

Л.Г. Степанова
(Санкт-Петербург)

и была идейным вдохновителем и научным руководителем данного рабочего совещания¹.

Совещание было задумано как неформальное мероприятие, рассчитанное в первую очередь на студентов, аспирантов и молодых ученых из Москвы. Но, несмотря на скромные планы организаторов, совещание оказалось международным: помимо молодых ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, в нем участвовали также лингвисты из Лейпцига и Амхерста. Рабочими языками совещания были русский и

¹ Отчет о совещании, написанный проф. Б.Х. Парти, см. в сети Интернет по адресу <http://www.umass.edu/linguist/about/whisc/whisc-2005-04-28/>.

английский; аудитория, насчитывавшая более 30 человек, состояла в основном из студентов, аспирантов и молодых исследователей, однако среди слушателей были также и лингвисты старшего поколения.

На совещании было заслушано 12 докладов.

Г.К. Бронников (Москва) в своем докладе представил анализ русского кванторного местоимения *всякий* в терминах квантификации видов. Е.Г. Былыгина (Москва) в докладе “Депрециативные неопределенные местоимения в русском языке” провела сравнительный анализ подходов к “пренебрежительным” значениям русских неопределенных местоимений типа *кто попал, кто угодно, неизвестно кто* и охарактеризовала факторы, влияющие на развитие этих значений. Доклад О. Мюллер-Райхау (Лейпциг) “Объектная и родовая референция и пространственно-временная локализация в западной и российской семантике” был посвящен сопоставлению западных и российских подходов к проблеме соотношения денотативных статусов именных групп и семантических типов предикатов и высказываний, а также вопросам разработки единого подхода в рамках теории репрезентации дискурса. Х. Кампа (доклад был прочитан на английском языке). В докладе П.М. Аркадьева (Москва) “Сфера действия аспектуальных операторов и композиционность аспектуальной семантики в адыгейском языке” анализировалось взаимодействие семантических типов предикатов, темпоральных обстоятельств и видо-временных категорий в адыгейском языке в рамках мереологического подхода к семантике события. А.Г. Пазельская (Москва) выступила с докладом “Валентные свойства русских отглагольных имен эмоций”, посвященным характеристике русских отглагольных имен эмоций, допускающих стимул в творительном падеже, с точки зрения структуры события и выявлению связи между их аргументной структурой и акциональными характеристиками. Доклад Ф.И. Дудчук (Москва) “Эффектор в русском языке: диатетический сдвиг и структура события” содержал анализ русских конструкций с субъектом-инструментом, были выявлены связи между аспектуальными свойствами глаголов и агентивностью подлежащего.

Совместный доклад И.В. Азаровой, Е.А. Овчинниковой (С.-Петербург) “Пропозициональное и формально-семантическое описание фактов при обработке текста на русском языке” касался вопросов презентации синтаксического, семантического и

лексического модулей разрабатываемой авторами системы автоматического анализа текста на русском языке. Презентации формального аппарата для описания семантики словообразовательных морфем в рамках системы автоматической обработки текста на русском языке был посвящен доклад А.В. Добрава (С.-Петербург) “Формально-семантическое представление словообразовательных значений (на материале лексикографических описаний морфемике русского языка)”. Ю.А. Ландер, Е.Л. Рудницкая (Москва) сделали доклад на тему “Референтивизация”, изложив гипотезу о связи между типом референции именной группы с рестриктивным относительным придаточным и типом референции мишени релятивизации. В докладе А. Вербук (Амхерст) “Клефт сказуемого и топикализация в русском языке” содержался анализ семантики и прагматики русских конструкций типа *написать письмо она написала, но не отправила* в терминах конвенциональных имплицатур (доклад был прочитан на английском языке). Доклад Д. Форкер (Лейпциг) “Метаязыковое и общее отрицание” был посвящен исследованию синтаксических, семантических и прагматических свойств различных типов отрицания в английском и русском языках (доклад был прочитан на английском языке). А.Б. Летучий (Москва) в докладе “Русские конструкции со значением сравнения ситуаций: *как будто, как бы, как если бы*” проанализировал синтаксис и семантику русских сравнительных конструкций, охарактеризовал факторы, влияющие на их распределение.

Целью данного совещания было не только представление широкой аудитории работ, выполненных в рамках формальной семантики молодыми российскими и зарубежными исследователями, но и попытка интеграции “западных” методов формально-логического анализа и “отечественных” подходов (в частности, Московской семантической школы). По единодушному мнению как организаторов и участников совещания, так и аудитории, обе цели были достигнуты. Опыт первого Московского совещания по формальной семантике показал, что такого рода мероприятия представляют хорошую возможность неформального диалога между исследователями разных направлений, и организаторы надеются, что это начинание станет традицией.

П.М. Аркадьев (Москва)

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПUBLИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
“ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ” в 2005 г.**

Апресян Ю.Д. О Московской семантической школе.....	1
Архипов А.В. К типологии комитативных конструкций. Часть I. Определение и формальная типология.....	4
Аркадьев П.М. Функционально-семантическая типология двухпадежных систем.....	4
Гамкрелидзе Т.В. Об одной лингвистической парадигме.....	2
Ганенков Д.С. “Контактные” локализации в нахско-дагестанских языках.....	5
Гусев В.Ю. Типология нерегулярных императивных форм.....	2
Жолобов О.Ф. ТРИДЕВЯТО АНЕЛО ТРИДЕВА АРОХАНЕЛО (функция и формы числительных в берестяной грамоте № 715).....	3
Зализняк А.А., Торопова Е.В., Янин В.Л. Берестяные грамоты из раскопок 2004 г. в Новгороде и Старой Руссе.....	3
Зеленин А.В. Деаббревиация в русском языке.....	1
Зельдович Г.М. Русское предикативное имя: согласованная форма, творительный падеж.....	4
Иванов Вяч.Вс. Типология языков бассейна Амазонки. II. Числительные и счет.....	5
Касаткина Р.Ф. Московское аканье в свете некоторых диалектных данных.....	2
Керт Г.М., Вдовицын В.Т. Информационные технологии в исследовании топонимии.....	3
Кожевникова Н.А. Синтаксическая синонимия в художественном тексте.....	2
Красухин К.Г. Аспекты и времена праиндоевропейского глагола (часть I).....	6
Кустова Г.И. О семантическом потенциале слов энергетической и экспериенциальной сферы.....	3
Летучий А.Б. Непрототипическая переходность и лабильность: фазовые лабильные глаголы.....	4
Лушикова А.В. Календари Северной Евразии и Сибири как источник для реконструкции древней картины мира.....	5
Нещименко Г.П. Некоторые раздумья над книгой “Языковая ситуация: Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)”.....	6
Николаев А.С. Тох. <i>Ā samantār</i> и индоевропейский претерит с продленной ступенью аблаута в корне.....	5
Нуриева Ф.Ш. Общий взгляд на формирование и функционирование золотоордынского литературного языка.....	6
Падучева Е.В. Еще раз о генитиве субъекта при отрицании.....	5
Подлеская В.И. Русские глаголы <i>дать/давать</i> : от прямых употреблений к грамматикализованным.....	2
Потапова Р.К. Субъектно-ориентированное восприятие иноязычной речи.....	2
Романов Д.А. Психолингвистическое обоснование эмоциональной идентификации.....	1
Рудницкая Е.Л. Особенности синтаксической и информационной структуры (актуального членения) в предложениях со стативными предикатами психологического состояния в корейском.....	4
Руде Р. Предикативное прилагательное и типы предложений в русском языке.....	3
Санников В.З. Об истории и современном состоянии русской языковой игры.....	4
Седакова И.А. Заимствованное слово и его этнокультурное содержание (болг. <i>КЪСМЕТ</i>).....	3
Серио П. К.С. Аксаков: лингвист-славянофил или гегельянец?.....	1
Соболева М.Е. Материалы к истории аналитической философии языка в Германии.....	2
Татевосов С.Г. Акциональность: типология и теория.....	1
Успенский Б.А. О происхождении глаголицы.....	1
Фёдорова О.В. <i>Перед</i> или <i>после</i> : что проще? (понимание сложноподчиненных предложений с придаточными времени).....	6
Шапир М.И. “Тебе числа и меры нет”. О возможностях и границах “точных методов” в гуманитарных науках.....	1
Шапошников А.К. Indoarica в Северном Причерноморье.....	5
О’Шей Н.А. Галльские и лепонтийские формы претерита – традиции, инновации и вопрос диалектного распределения.....	6

Ш и л о в А.Л. Прибалтийско-финская лексика и восточнославянское языкознание	2
Э д е л ь м а н Д.И. Проблемы исторической лексикологии иранских языков и “Этимологический словарь иранских языков”	3

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Б л а г о в а Г.Ф. Николай Иванович Ильминский как исследователь туркменских диалектов.....	6
---	---

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

С о н и н А.Г. Экспериментальное исследование поликодовых текстов: основные направления.....	6
--	---

Рецензии

А н т о н я н К.В. <i>M.-C. Paris. Linguistique chinoise et linguistique générale</i>	6
А л е к с е е в М.Е. <i>М.Ш. Халилов. Грузинско-дагестанские языковые контакты</i>	3
В е р м е е р В. А.А. <i>Зализняк. Древненовгородский диалект</i>	6
В ы д р и н В.Ф. Основы африканского языкознания: Глагол.....	3
Г р а щ е н к о в П.В., Л у к и н О.В. <i>D. Beck. The typology of parts of speech systems: the markedness of adjectives</i>	1
И о с а д П.В. <i>J. Mattissen. Dependent-head synthesis in Nivkh: A contribution to a typology of polysynthesis</i>	2
К а л и м у л л и н а Л.А. <i>Л.М. Васильев. Системный семантический словарь русского языка. Предикатная лексика</i>	4
К о с т а П. Я.Г. <i>Тестелец. Введение в общий синтаксис</i>	1
К о с т ы р к и н А.В. <i>S. Nirenburg, H.L. Somers, Y. Wilks (eds.). Readings in machine translation</i>	5
К о т о р о в а Е.Г. Э. <i>Вайда, М.А. Зинн. Морфологический словарь кетского глагола (на основе южно-кетского диалекта)</i>	4
К у п и н а Н.А., М и х а й л о в а О.А. <i>Л.П. Крысин. Русское слово, свое и чужое: исследование по современному русскому языку и социолингвистике</i>	5
Л а н д е р Ю.А. <i>F. Wouk, M. Ross (eds.) The history and typology of western Austronesian voice systems</i>	2
Л я ш е в с к а я О.Н. <i>S. Jones. Antonymy: A corpus-based perspective</i>	1
М а з у р о в а Ю.В. <i>Representing space in Oceania: Culture in language and mind</i>	2
М а й с а к Т.А. <i>What makes grammaticalization?: A look from its fringes and its components / W. Bisang, N. Himmelmann, B. Wiemer (eds.)</i>	6
М и н о р С.А. <i>K. Hale, S.J. Keyser. Prolegomenon to a theory of argument structure</i>	5
М о с т о в а я А.Д. <i>M. Prandi. The building blocks of meaning</i>	4
Н и к и т и н О.В. <i>А.Д. Дуличенко. Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов</i>	5
П о п о в М.Б. <i>R.O. Richards. The Pannonian Slavic dialect of the Common Slavic Proto-language: The view from Old Hungarian</i>	2
П о т а п о в В.В. <i>Г.В. Колтакова. Семантика языковой единицы</i>	5
Р у с а к о в а М.В. <i>T. Givón. Bio-linguistics: The Santa Barbara lectures</i>	6
С и р к Ю.Х. <i>J. Bradshaw, K.L. Rehg (eds.). Issues in Austronesian morphology: a focusschrift for Byron W. Bender</i>	4
С у м б а т о в а Н.Р. <i>Structures of focus and grammatical relations</i>	2
Т а т е в о с о в С.Г. <i>Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semantics and syntax</i>	3
Т е с т е л е ц Я.Г. <i>Word order and scrambling</i>	4
Х а н и н а О.В. <i>S. Cristofaro. Subordination</i>	3

Научная жизнь

Хроникальные заметки	2, 3, 4, 5, 6
----------------------------	---------------

CONTENTS

K.G. Krasukhin (Moscow). Aspects and tenses of the Indo-European verb; N.A. O'Shay (Dublin). The Gallian and Lepontian forms of the preterit: traditions, innovations, dialectal distribution; O.V. Fedorova (Moscow). Before or after: what is simpler (complex sentences with temporal clauses); F.Š. Nurieva (Kazaň). A general view on the formation and functioning of literary language of the Golden Horde; G.P. Neščimenko (Moscow). Some thoughts on the book "Linguistic situation: Sources and perspectives (Bulgarian–Czech parallels)"; **From the history of science:** G.F. Blagova (Moscow). N.I. Il'minskij and his studies of Turkmen dialects; **Surveys:** A.G. Sonin (Moscow). Experimental studies of multimodal text comprehension: main directions; **Reviews:** V. Vermeer (Leiden). A.A. Zalizniak. The ancient Novgorod dialect. Second revised edition including materials of the 1995–2003 excavations; M.V. Rusakova (St.-Petersburg). *T. Givón*. Bio-linguistics; T.A. Maisak (Moscow). What makes grammaticalization? / W. Bisang, N. Himmelmann, B. Wiemer (eds.); K.V. Antonian (Moscow). *M.-K. Paris*. Chinese linguistics; **Scientific life:** Chronicle features; **Index of articles published in "Voprosy Jazykoznanija" in 2005.**

Сдано в набор 19.08.2005

Подписано к печати 14.10.2005

Формат 70 × 100^{1/16}

Офсетная печать

Усл. печ.л. 13,0

Усл. кр.-отг. 19,1 тыс.

Уч.-изд.л. 15,6

Бум. л. 5,0

Тираж 1442 экз. Зак. 786

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.

в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредитель: Российская академия наук

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,

телефон 201-25-16

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6